КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1926

КНИГА

ШЕСТАЯ

ИЮНЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

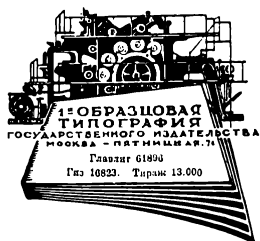
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 6

ИЮНЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД


1-я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА — ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит 61806
Гиз 10823. Тираж 13.000

Беня Крик[1]).

И. Бабель.

Часть первая.

Король.

Под потолком у окна с геранью покачивается в клетке канарейка.

У рояля вяжет старушка в чепце. Спицы быстро ходят в ее руках. Видна часть рояля. Отлакированная крышка инструмента блестит.

Досуги пристава Соковича.

Комната Соковича. Пристав играет на рояле с необыкновенным чувством — он шевелит губами, поднимает плечи, открывает рот.

Клавиатура. По клавишам бегают пальцы пристава, украшенные перстнями в форме черепов, копыт, ассирийских печатей.

В клетке заливается канарейка.

Сокович играет, раскачиваясь, и с ним вместе раскачиваются— комната, канарейка, спицы, старушка.

В глубине комнаты показывается еврей Маранц в затрапезном сюртуке. Маранц покашливает, скользит, шаркает ногами, упоенный пристав не слышит.

Пальцы пристава бурно рвут клавиши. Над ними склонилось унылое, скептическое лицо Маранца.

Пристав переходит к нежному piano. Маранц не выдерживает. В отчаянии обнимает он голову пристава и прижимает ее к груди.

---

[1]) Предлагаемая вниманию читателя вещь представляет собой кино-повесть сценарий для кино. В основу его взяты «Одесские рассказы» И. Бабеля.

Сокович вскакивает. Маранц шепчет ему на ухо или, вернее, куда-то пониже уха:

— Пусть мне не дожить повести дочку под венец — если... если не сегодня...

Маранц отступает, вьется, сучит ободранными ногами, потирает руки, мотает головой. Пристав разглядывает его с величайшей серьезностью. Маранц:

— Король выдает сегодня замуж сестру... «Они» перепьются, и вы можете сделать на «них» дивную облаву...

Сокович захлопывает крышку рояля. Он испытующе всматривается в гримасничающее, дергающееся лицо еврея.

На обочине тротуара, перед домом пристава, сидит молодая цыганка во многих трепаных юбках. Цыганка обвешана лентами, монетами, монисто. Она ест баранки и тянет вино из горлышка бутылки, рядом с ней прыгает на цепи мартышка. Вокруг обезьяны в полном неистовстве скачет детвора.

Дверь приставской квартиры открывается, на улицу проскользнул Маранц. Воровато оглядываясь, он быстро идет вдоль стены.

Цыганка схватила обезьяну, побежала за Маранцем, догнала его. Она умильно просит у него милостыню:

— Подай, царевич... Подай, красавец...

Маранц отплевывается, идет дальше. Цыганка проводила его долгим взглядом. Обезьянка, вскочившая на плечо женщины, тоже смотрит вслед Маранцу.

Улица на Молдаванке. Из-за угла показывается биндюг Менделя Крика. Старик пьян, он хлещет лошадей, клячи несутся бурным галопом, прохожие шарахаются в сторону.

Мендель Крик, слывущий среди биндюжников грубияном.

Мендель Крик размахивает кнутом. Раскорячив ноги, старик стоймя стоит в телеге, малиновый пот кипит на его лице. Он велик ростом, тучен, пьян, весел.

Биндюг несется во всю прыть. Пьяный старик орет прохожим — поберегись!.. Навстречу ему, виляя бедрами, идет поющая цыганка.

Обезьяна деловито лущит орешки у нее на плече. Цыганка подает старику знак, едва заметный.

Вожжи в руках Менделя. Схваченные железной рукой, они с карьера останавливают лошадей.

Лицо Менделя, внезапно протрезвевшего, обращено к цыганке.

Цыганка проходит мимо Менделя. Она скосила глаз и поет:

— *Маранц, матери его сто чертей...*

Цыганка вильнула бедрами, она играет с обезьянкой и поет про себя:

— *Маранц был у пристава...*

Мендель пошевелил вожжами и поехал. Не в пример прежней езде лошади его идут шагом.

Изображение облупившейся вывески: «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и Сыновья». На вывеске намалевано ожерелье из подков и английская лэди в амазонке с хлыстом. Лэди гарцует на битюге, битюг мечет в воздух передние ноги.

Под вывеской у невзрачного одноэтажного дома сидят на лавочке два парня и щелкают семячки. Они хранят важное молчанье и смотрят вперед безо всякого выражения. Один из них — молодой перс с оливковым лицом и черными разросшимися бровями, другой — Савка Буцис. Одна рука у Буциса отрезана, обрубок ее зашит в болтающийся рукав, другой, целой рукой он с необыкновенной ловкостью и ухарством выгребает из кармана подсолнухи и издалека, не целясь, бросает их в рот. Промаха у него не бывает.

К дому подъезжает Мендель Крик. Парни — перс и Савка — в полном безмолвии, не поворачивая голов, отдают старику честь. Ворота перед Менделем раскрываются; человек, раскрывающий их, не виден.

Двор, где живут Крики, обширен, окаймлен приземистыми, старинными строениями, загроможден голубятнями, телегами, распряженными лошадьми. В углу двора девки доят коров.

Три розовых, зернистых коровьих вымени, женские руки, перебирающие соски и струи молока, брызгающие в подойник.

Одна из девок кончила доить. Она разгибает спину, потягивается, луч солнца зажигает рябое мясо развеселого ее лица. Девка зажмури-

вается. Во двор на разгоряченных жеребцах влетает Мендель. Старик прыгает с биндюга, бросает девке вожжи и, переваливаясь на толстых ногах, бежит к дому.

Девка ловко распрягает лошадей, она бьет по мордам играющих жеребцов.

Двухспальная, вернее сказать — четырехспальная, кровать загромождает комнату невесты Двойры Крик. Гигантское это сооружение заброcано несметным количеством расшитых подушечек. К кровати прислонился спиной Беня Крик. Виден подбритый его затылок.

«Его величество король...»

Беня Крик играет на мандолине. Ноги его, обутые в лаковые щегольские штиблеты, положены на табуретку. Костюм Бени носить печать изысканного уголовного шика.

Широчайшая кровать — колыбель рода, побоища и любви. В комнату вваливается папаша Крик. Он стаскивает с себя сапоги; разматывая невообразимо грязные портянки, старик недоверчиво их оглядывает. Как грязно живут люди — приходит ему в голову. Мендель разминает взопревшие пальцы ног и, слегка робея в присутствии сына-«короля», бормочет:

— *Маранц был у пристава сегодня...*

Пальцы Бени, перебиравшего струны, цепенеют. Струна лопается и завивается вокруг ручки мандолины. Мандолина летит на кровать и врывается в подушки.

Затемнение.

С плеча Савки Буциса свисает пустой рукав, заколотый внизу булавкой — рубиновой змейкой.

Улица на Молдаванке. Перс и Савка сидят на лавочке, у входной двери в квартиру Маранца. Они поглощены излюбленным занятием — щелкают подсолнухи. К дому Маранца подъезжает экипаж. На козлах осанистый кучер с патриархальным задом и раскидистой бородой. Кучер отмечен необыкновенным сходством с цыганкой, появлявшейся в первых сценах.

Из экипажа выходит Беня, он звонит у парадной двери. Вырезанное в двери окошечко отодвигается, сквозь него просовывается голова Маранца — хранилище немногих волос, чернильных пятен и перьев из подушки. Ужасный испуг отражается на его лице. Беня с удручающей вежливостью снимает перед маклером шляпу.

Равнодушная морда кучера. Он перебирает от скуки монисто, которое раньше было на цыганке.

Маранц спотыкаясь выходит на улицу. Беня здоровается с ним, обнимает его плечи и дружески сообщает:

— *Есть кое-чего заработать, Маранц...*

Указательный и большой палец Бени трутся друг об дружку. Жест этот обозначает, что предстоит выгодное дело.

Маранц колеблется. Силясь разгадать причину внезапного посещения, он всматривается в непроницаемое Бенино лицо.

Указательный и большой пальцы Бени движутся все медленнее, все загадочней: — Есть кое-чего заработать, Маранц...

Маклер решился. Жена выносит ему из дома сюртук, шоколадный котелок, парусиновый зонтик. Из передней выглядывает куча детей. На измазанных их мордочках чистым бойким блеском горят семитические глаза. Маранц и Беня садятся в экипаж. Жена Маранца кланяется «королю». Длинные груди ее раскачиваются, как белье, развешанное во дворе и колеблемое ветром. Кучер погнал лошадей.

Удаляющийся экипаж. Видна дородная, успокоительная спина кучера, котелок Маранца, панама Бени. Экипаж проезжает мимо постового городового. Городовой отдает Бене честь.

Однорукий Савка подманивает к себе мальчика, сына Маранца. Карапуз, охваченный ужасом и восторгом неизвестности, движется по кривой, путаной линии.

Берег моря. Набегающая волна. Вверху — белые дачи с колоннадами. Экипаж едет по шоссе над самым берегом моря. Беня и Маранц беседуют по-приятельски. Котелок и панама дружелюбно покачиваются. Лошади идут крупной рысью. Местность становится все глуше.

Опасения Маранца сменились чувством умиления перед красотами моря и скал. Он развалился на кожаных подушках, он расстегнул ворот рубахи для того, чтобы загореть немножко. Беня вынимает портсигар, предлагает Маранцу папиросу и говорит небрежно:

— *Люди говорят, что ты капаешь на меня приставу, Маранц...*

Дрожащие пальцы Маранца пристукивают папиросой по серебряной поверхности Бениного портсигара.

Экипаж въезжает в глухое укрытое место на берегу моря. Скалы, кустарник. Кучер останавливает лошадей, поворачивает к седокам бородатое лицо, перекидывает ноги внутрь экипажа.

Беня подносит Маранцу спичку. Еврей в ужасе закуривает. Он переводит глаза с Бени на кучера, перекинувшего ноги внутрь экипажа. Кучер медленно кладет ноги на плечо Маранцу и снимает с него котелок.

Перс играет с маленьким сыном Маранца в излюбленную детскую игру. Малыш кладет свои ладони на ладони перса и тотчас же их отдергивает. Перс, якобы, не успевает ударить, зато маленький Маранц колотит изо всех сил. Мальчик совершенно счастлив.

Берег моря. Волна взрывается под скалой. В воду падает котелок Маранца.

Экипаж едет вдоль берега. На Бене по-прежнему панама, но на Маранце не видно больше котелка. Голова его взъерошена и дергается. Кучер поднимает верх экипажа.

По широким, голубым, тающим волнам плывет котелок.

Вспененные, запрокинутые морды лошадей.

Игра между мальчиком и персом продолжается. Савка неутомимо грызет подсолнухи.

Экипаж с поднятым верхом проезжает мимо постового городового. Тот снова отдает честь.

Савка увидел вдали экипаж. Он потрепал мальчика по щеке, дал ему пятак и ласковым ударом колена по некоей части прогоняет его.

Из экипажа, остановившегося у дома Маранца, выходит Беня, он направляется к парадной двери.

Перс и Савка снимаются с лавочки и, обнявшись, уходят.

«Мадам» Маранц открывает Бене дверь.

— Люди говорят, мадам Маранц, что покойный ваш муж капал на меня...

В переплете двери искаженное лицо женщины.

Из экипажа медленно выползает труп Маранца.

Спины Савки и перса лениво, в развалку, идущих по улице.

Труп Маранца, распростертый на земле.

На земле, у лавочки, горка шелухи от подсолнухов, нащелканных Савкой.

Часть вторая.

Здание полицейского участка. Кирпичная трехэтажная стена. В третьем этаже тюремные окна, переделенные решетками. В окнах лица заключенных. Арестанты, охваченные необъяснимым восторгом, машут кому-то платками.

Улица на Молдаванке. Сбоку здание участка. Старая еврейка сидит на углу и ищет в волосах у внучки. Слышен шум. Старуха поднимает голову и смотрит на приближающуюся процессию.

Налетчики в свадебных архаических каретах направляются к дому старого Крика. В первой карете Савка и перс. В стальных вытянутых их руках по гигантскому букету. Налетчики одеты под масть Бене Крику, но вместо панам на них крохотные котелки, сдвинутые на бок. Кучер украшен бантом и больше похож на шафера, чем на кучера.

Друзья короля едут на свадьбу Двойры Крик.

Вторая карета — черный, колыхающийся, громадный ящик. В карете развалился Левка Бык — один из ближайших сподвижников короля. В руке у него букет, на кучере его бант.

У ворот участка кучка благожелательных городовых. С почтением и завистью следят они за течением пышной процессии.

Третья карета. В ней сидит одноглазый Фроим Грач (левый глаз его вытек, съежился, прикрыт), представляющий разительную противоположность остальным налетчикам. Он в парусиновой бурке, в смазных сапогах. Рядом с Грачом, угрюмым и сонливым — кокетничающее сморщенное личико шестидесятилетней Маньки, родоначальницы слободских бандитов. Она в кружевном платочке. За их экипажем бегут мальчишки и зеваки.

Фроим Грач и Манька, родоначальница слободских бандитов.

Мимо участка медленно проезжает архиерейская карета Фроима и бабушки Маньки.

Арестанты неистово машут платками.

Старуха раскланивается с важностью императрицы, объезжающей войска.

В окне второго этажа сумрачный пристав Сокович.

Кабинет пристава. На стене портрет Николая II. У окна торчит спина Соковича. В широком кресле у стола сидит жирный, с мягким ворочающимся животом, помощник пристава Глечик. Помаргивая близорукими глазами, он сосет леденцы, которых у него целая коробка. Спина пристава являет признаки величайшего возбуждения. Она вздрагивает и ежится, как от укуса блохи.

Глечик вкладывает в рот груду леденцов. Они не сразу входят в отверстие его рта, заросшего опущенными усами. Пристав круто поворачивается, подходит к Глечику, тормошит его.

— Каюк Бенчику... Сегодня на свадьбе мы «их» возьмем...

Безнадежное лицо Глечика. Моргая, он спрашивает:

— А зачем их брать?..

Пристав машет рукой и выбегает из кабинета. Толстый Глечик поднимает раскачивающийся свой живот, он понуро плетется за Соковичем. В оттопыривающемся его кармане лежит кусок курицы, завернутый в промасленную бумагу. Грязная бечевка вываливается из кармана Глечика и волочится по полу.

Пристав бежит вниз по лестнице, за ним бредет Глечик.

Мирное житие во дворе участка. У стены — мордатый городовой стирает в лохани панталоны. В другом углу одесские обыватели — среди них мудрые, старые евреи и тучные торговки — с большой готовностью прощаются за руку с канцеляристом. Рукопожатие длится долго, руки прощающихся ворочаются самым странным образом и после каждого судорожного этого рукопожатия канцелярист прячет в карман полтинник. Мимо мудрых стариков и тучных торговок пробегает на рысях Сокович.

У внутренней стены участка выстроились шеренгой городовые. К ним подходит пристав. Городовые едят начальство глазами. Пристав обращается к городовым с речью:

— Братцы, там где есть государь император — там не может быть короля...

Ряд усатых раскормленных физиономий. По мере того, как...

· пристав продолжает энергическую свою речь...

...лица городовых увядают.

Группа голубей на голубятне. Кто-то спугнул их хворостиной.

Глечик сует в голубятню длинную хворостину, потом он отбрасывает ее. Ничто не может развлечь его. На оплывшем его лице борются страсти и сомнения.

Томление духа помощника пристава Глечика.

Глечик вынимает из кармана записку и читает ее с грустью и тайным каким-то сладострастием.

Изображение пригласительного свадебного билета, увенчанного дворянской короной. В углу надпись чернилами: Его Пре-Восходительству мосье Глетчику. Печатный текст: Мендель Ушерович Крик с супругою и Тевья Хананьевич Шпильгаген с супругою просят Вас пожаловать на бракосочетание детей их Веры Михайловны Крик и Лазаря Тимофеевича Шпильгагена, имеющее быть во вторник 5 июня 1913 года. С почтением — родители.

Глечик с грустью читает билет. Тяжелый вздох колеблет унылую чащу его усов. Сомнения терзают его. Он отворачивается, закрывает глаза и начинает вертеть пальцами.

— Итти или не итти?

Вертящиеся пальцы Глечика. Один палец пришелся против другого. Значит — итти.

От полноты чувств, Глечик бросает собаке свою курицу и убегает.

Глечик бежит по двору. Его чуть не сбивают с ног городовые, волокущие за шиворот арестованного. Арестованный этот Колька Паков-

ский — тот самый юноша, который являлся уже перед нами в образе цыганки и кучера. Колька растерзан, пьян, ноги его подламываются, он волочится за городовыми и сосредоточенно, с пьяной нежностью лижет руку конвоира.

Пристав Сокович, подергивая бодрой ногой, продолжает свою речь:

— *...Сегодняшняя облава должна дать нам в руки всю шайку Бени Крика...*

Потухшие лица городовых.

К приставу подтаскивают упирающегося Кольку.

— *Среди бела дня затеял поножовщину, ваше высокоблагородие...*

докладывают конвоиры. Сокович бросает на Кольку рассеянный взгляд.

— *Посадить до утра... Завтра разберемся...*

Обмен рукопожатиями между обывателями и канцеляристом продолжается.

Конвоиры тащут Кольку по коридору участка. Он неутомимо целует сапоги своего стража.

Городовые открывают дверь камеры, вталкивают Кольку. Он летит кубарем.

Камера. Влетает Колька. Заключенные вскакивают как по команде, принимают гостя в объятия.

Колька покоится в объятиях окружающих арестантов. Он куражится, сползает на пол. Тюремные жители смотрят на него с жадностью, как на пришельца, принесшего благую весть. Над падающим Колькой смыкается их круг.

Снятые сверху лохматые головы, склонившиеся над Колькой. Круг их медленно расходится, Колька встал и все же на полу распростерто человеческое тело.

На полу камеры лежит раздутый резиновый костюм, наполненный какой-то жидкостью и напоминающий по форме водолаза.

Затемнение.

Клубы пара и дыма заволакивают экран. Из тумана возникают два беременных живота, обтянутые полосатыми юбками. Животы лежат рядышком на перекладине плиты.

На плите жарятся индюки, гуси, дымится всякая снедь. Беременные кухарки накладывают пищу на блюда. Над ними царит крошечная восьмидесятилетняя Рейзл. Иссохшее ее личико, обвеваемое клубами пара, полно величия и священного бесстрастия. В руках у Рейзл большой нож: она распарывает им животы у больших морских рыб, мечущихся по столу.

Беременные кухарки с полосатыми животами передают блюда затрапезным еврейским официантам в нитяных перчатках и улетающих бумажных манишках. На лицах лакеев пылают бородавки и в ненадлежащих местах торчат пучки волос. Они схватывают блюда и убегают.

Издыхающие рыбы мечутся по столу и бьют сияющими хвостами.

Свадьба во дворе Крика. Через весь двор протянуты китайские фонарики. Лакеи пробегают мимо стола, за которым сидят нищие и калеки; нищие пьяны, они корчат рожи, стучат костылями, тащут официантов к себе, лакеи вырываются и бегут к главному столу, за которым неистовствует свита «короля». На первом месте новобрачные: сорокалетняя Двойра Крик, грудастая женщина с зобом и выкатившимися глазами; рядом с ней Лазарь Шпильгаген, тщедушное существо с истрепанным лицом и жидкой шевелюрой; тут же Беня, папаша Крик, Левка Бык, Савка, перс и их дамы — хохочущие молдаванские девки в пламенных шалях. Папаша Крик вопит:

— *Горько!..*

Пьяная невеста кладет обширную свою грудь на стол, она тянет вино из горлышка бутылки, чешет себе ноги под столом и лезет за пазуху к мужу, к кроткому Шпильгагену. Гости поддерживают клич папаши Крика:

— *Горько!..*

Налетчики, вскочив на стулья, льют в себя водку прямо из бутылок. Двойра наваливается на упирающегося Шпильгагена, она подтаскивает его к себе, как грузчик подтаскивает по сходням куль муки и терзает его длинным, мокрым, хищным поцелуем. Налетчики бьют посуду.

Поцелуй Двойры и Шпильгагена. Хромой нищий подползает к новобрачным и с тупым вниманием следит за поцелуем.

Городовой тащит по коридору участка ведро с кипятком.

Камера. Городовой вносит кипяток. Колька выхватывает у него из рук ведро и опрокидывает кипяток на голову городового. Обваренный городовой падает.

Колька выскакивает в коридор. Он бросает резиновый костюм на кучу параш, сваленных в углу, делает в нем надрез и зажигает керосин, льющийся из резинового костюма.

Помощник пристава Глечик застыл в нерешительности у ворот дома Криков. Живот его стянут новым мундиром, за ним волочится сабля, на голове большой старинный картуз с лаковым козырьком. Грудь Глечика украшена медалями о-ва спасания на водах, ведомства императрицы Марии, в память 300-летия дома Романовых и проч. Глечик, робея, приоткрывает ворота.

В нескольких шагах от главного свадебного стола — диковинный музыкант. Перед ним турецкий барабан, к ноге музыканта привязана веревка, он приводит ею в движение медные тарелки на барабане, к колену его прикреплена палка, которой он колотит по барабану, верхняя же часть его тела посвящена громадной трубе, похожей больше на свернувшегося удава, чем на трубу. Голубая палка солнца уткнулась в трубу. Музыкант отдыхает.

В глубине двора показался Глечик. К нему бежит Беня, они целуются три раза в обе щеки. Беня подает знак музыканту.

Музыкант вздрогнул и пришел в движение: он дует в трубу, дергает за веревку и палкой, прикрепленной к колену, бьет в барабан.

Беня ведет Глечика к гостям. Восторг присутствующих по поводу прибытия помощника пристава. Невеста в залитом вином подвенечном платье падает Глечику на грудь, папаша Крик колотит его изо всех сил по спине, шестидесятилетняя Манька целует его в лоб материнским поцелуем. Савка летит к Глечику с двумя бутылками водки в руках. Савкина баба пытается отобрать у него бутылку, он разбивает эту бутылку у нее на голове; налетая на Глечика, Савка всовывает бутылку ему в рот, как ребенку соску, тут же рядом хлопочет папаша Крик с огурцом в руке.

Музыкант неистовствует: каждая его конечность движется в направлении, противоположном направлению параллельной конечности.

Развеселые молдаванские бабы водят хоровод вокруг Глечика, которого накачивают водкой, огурцами, фаршированной рыбой, апель-

синами. Бока баб цветут, в середине круга прыгают друг против друга старый Крик и бабушка Манька. Левка Бык, обезумев от восторга, стреляет в воздух. Он расталкивает круг, хватает старуху, вкладывает в ее руку револьвер. Манька сладко зажмуривается, нажимает курок...

Старушечья сморщенная рука, нажимающая курок.

Выстрел. Танец возобновляется с бешеной силой. Папаша Крик останавливается вдруг, он обнюхивает воздух и отводит Беню в сторону:

— Мне сдается, Беня, что здесь пахнет гарью...

Дирижируя танцами, Беня успокаивает отца.

— Папаша, не обращайте внимания на этих глупостей. Прошу вас, выпивайте и закусывайте...

Музыкант в движении, нога его трясется, труба его колышет солнце.

Ухарский молдаванский танец со стрельбой, с битьем посуды, разбрасыванием денег под ноги танцующим.

Край неба, окрашенный пожаром.

Пожарная команда мчится по улицам Молдаванки.

Толпа перед зданием горящего участка. Городовые выбрасывают сундучки из окна, дождь бумаг летит по воздуху. На коне скачет обезумевший Сокович.

Внутри здания в дыму по наклонной доске с страшной быстротой скользят три широких зада.

Стена участка. Из разбитых окон прыгают арестованные. Внизу на земле их принимают в объятия жены.

Музыкант в движении.

Похищение мужей молдаванскими амазонками. Бабы растаскивают арестованных по домам.

Танец во дворе Крика.

Пожарные привинчивают громадный резиновый шланг к водопроводному крану на улице. Они угрожающе направляют шланг в сторону

пожарища, открывают кран и... несколько капель воды с великой натугой изливаются на землю. Кран испорчен.

На фоне неба, охваченного заревом, скручиваются две черные балки и рушатся вниз.

У пристава Соковича обгорел ус. Он смотрит на пожарище. Мимо него проходит Беня Крик и растерзанный, залитый керосином и водой, Колька Паковский. Беня приподнимает шляпу.

— *Ай, ай, ай, какое несчастье... это же кошмар!..*

Беня скорбно покачивает головой. Сокович переводит на него мутные, непонимающие глаза.

Затемнение.

На дворе у Криков. Рассвет. Потухают фонарики. Упившиеся гости валяются на земле, как рассыпанная штабель дров.

Двухспальная кровать Двойры Крик. Новобрачная тащит к постели Шпильгагена, тот бледнеет, упирается, но сопротивление его слабеет, и он падает на кровать.

Музыкант, обвязанный веревками, палками, медными тарелками, спит склонившись на барабан.

Часть третья.

Как это делалось в Одессе.

Много воды и много крови утекло со дня свадьбы Двойры Крик.

Лес знамен. На знаменах надписи: — Да здравствует Временное Правительство.

Грудастая дама в военной форме несет знамя с надписью:—Война до победного конца.

По улицам марширует женский батальон времен Керенского. Он состоит из дам и девок. На лицах у дам печать решимости и вдохновения, у девок — заспанные лица.

Во весь экран — касса. Отделения ее набиты акциями, иностранной валютой, бриллиантами. Чьи-то руки вкладывают в кассу стопки золотых монет.

Рувим Тартаковский, владелец девятнадцати пекарен, определяет свое отношение к революции.

Кабинет Тартаковского. Несгораемая касса во всю стену. Тартаковский — старик с серебряной бородой и могучими плечами — передает приказчику Мугинштейну деньги. Тот распределяет их по разным отделениям кассы.

Вздымающиеся революционные груди женского батальона текут по улице, набитой зеваками и визжащей детворой.

Тяжелая металлическая дверь кассы медленно захлопывается.

— *А теперь, Мугинштейн, пойдем поздравить рабочих...*

говорит старик приказчику — и они выходят из кабинета.

Контора Тартаковского. Дореформенное учреждение, похожее на конторки в Лондонском Сити времен Диккенса. Все служащие без пиджаков, за ушами у них вставочки, а в ушах вата. Они очень толстые или очень худые. На толстых — фуфайки и замусоленные жилеты, на худых — манишки с бантами. Одни покрыты буйной растительностью, другие — безволосы; одни сидят на оборванных креслах, перекрытых подушками, другие взгромоздились на трехногие высокие стулья, но у всех такое выражение лица, как будто они только что проглотили что-то очень горькое. Один только бухгалтер-англичанин соблюдает нерушимое спокойствие. Он грызет трубку, окутывающую его клубами жесточайшего дыма. В углу мальчик вертит пресс, копирует письма. У окошечка с надписью «Касса» — восседает пышная дама, нос с многими горбинками делает ее похожей на гречанку. По комнате проходят Мугинштейн и Тартаковский. Служащие замирают. Мальчик, завидев хозяина, с ожесточением начинает вертеть пресс. Он надувается, багровеет.

Множество сопливых, рахитичных детей свалены в кучи. Полуголые с кривыми ногами, они кишат, как черви на земле.

Громадный четырехэтажный дом на Прохоровской улице, на Молдаванке, где скучилась невообразимая еврейская беднота. Зеленые зябкие старики в лохмотьях греются на солнце, часовой мастер в опорках раскинул во дворе свой столик, лысые еврейки в отребьях стряпают пищу в разбитых ведрах; у ведер этих высажено дно, они заменяют плиты. Тартаковский и Мугинштейн проходят по двору. Оборванные старики поднимаются со своих мест, они устремили на хозяина гноящиеся глаза, залитые кровавой обильной влагой, и кланяются ему. К Тартаковскому подбегает растрепанная еврейка в мужских штиблетах.

— Что будет с клозетом, мосье Тартаковский?—

спрашивает она старика. Тартаковский пожимает плечами.

— А что должно быть с клозетом? —

отвечает он. Еврейка, ухватив хозяина за руку, тащит его к себе в квартиру.

Женщина ведет Тартаковского вверх по лестнице, заваленной отбросами нечистой нищеты, нищеты, которая ни на что больше не надеется. Взъерошенные, одичалые коты носятся по лестнице.

Женщина притащила Тартаковского в свою уборную. Сиденья в этой уборной нет, оно разбито, в цементном полу дыра, с потолка льется вонючая жидкость. Рядом с уборной, почти в самой уборной, кровать, набитая ватными лоскутьями. На кровати лежит горбатая девушка с аккуратно заплетенными косами. Тартаковский молодцевато хлопает женщину по плечу.

— Николку холера взяла, мадам Гриншпун, теперь всем будет хорошо, и вам будет хорошо...

Горбатая девушка смотрит на Тартаковского. По стене, возле её кровати, течет вода.

По земле ползают дети — голые, рахитичные, сопливые дети гетто.

Тартаковский и Мугинштейн идут по двору мимо шевелящейся кучи детей. Старик ищет места, куда бы ему поставить ногу. В глубине двора вход в подвал, в пекарню.

Вывеска над подвалом: «Пекарня и булочная № 16 Акционерного Общества Рувим Тартаковский». Сбоку другая вывеска поменьше: «Принимаются заказы на торты фантази».

Осклизлая лестница, ведущая в подвал, ступени ее разбиты. Мальчик-подручный стаскивает вниз пятипудовый мешок. Он ложится на ступени и поддерживает головой катящийся вниз мешок.

Голые спины двух месильщиков: отлакированная потом спина молодого парня Собкова и кривая, с разбитыми лопатками спина старика. Лопатки эти движутся не в ту сторону, куда им надо. Нескончаемая равномерная игра мускулов на мокрых спинах месильщиков.

Мугинштейн и Тартаковский спускаются по лестнице в пекарню. Они скользят, оступаются, приказчик бережно поддерживает хозяина.

Спины месильщиков. Собков работает и читает газету: «Известия Одесского Совета Рабочих Депутатов», прибитую к стене над месильным чаном. Газета освещена мятущимся пламенем керосиновой лампочки.

Пекарня — смрадный подвал. Скудный свет проникает сквозь запыленные оконца, пробитые у потолка. В углах чадят керосиновые лампы без стекол. Пекаря обнажены до пояса. У пылающей печи возится с дровами истопник — веселый кривоногий мужичонка Кочетков, из другой печи мастер вынимает испекшиеся хлебы, посаженные на лопаты с длинными ручками.

Мастер выдергивает из печи лопаты с готовыми хлебами.

Тартаковский и Мугинштейн входят в пекарню. К ним стягиваются рабочие, похожие больше на духов из подземного царства, чем на людей. Тартаковский разглагольствует:

— Поздравляю вас, господа, с любимой свободой...
Теперь и мы вздохнем грудью...

Тартаковский с жаром пожимает руки рабочих. Дожидаясь очереди, они вытянулись, как хвост у лавки. Пекаря, непривычные к такому обращению, суетливо обтирают руки о передник, они протягивают ладони с жалкой неловкостью и сейчас же после рукопожатия счищают с хозяина налетевшую пыль.

Спина Собкова. Парень продолжает месить тесто и читает свою газету. Тартаковский хлопает его по бронзовому, играющему плечу и протягивает руку. Собков долго вытаскивает руки из тугого теста, он поворачивает к хозяину лукавое лицо с вихрами и медленно, как деньги на блюде, подносит ему пятерню, убранную тестом. Кочетков — веселый мужичонка — кинулся к Собкову, он принимается счищать тесто с пальцев. Смеющийся Собков смотрит на хозяина в упор. Тартаковский понял, он круто повернулся и отошел. Кочетков подмигивает месильщику.

Змейки из теста колышатся на пятерне Собкова — бесформенной, чудовищно увеличенной.

Затемнение.

Кафе Фанкони. Толчея. Деловые дамы с большими ридикюлями биржевые зайцы с тростями, одесская толпа. На помосте, где обыкновенно помещается оркестр, разбитной молодой человек потрясает кандалами. За его спиной сидит унылая личность с несимметричным лицом, с большими ножницами в руках. Ножницы приспособлены для раскусывания железа.

— Граждане свободной России! Покупайте на счастье наследие проклятого режима в пользу геройских инвалидов. Пятьдесят рублей, — кто больше?

У противоположной стены на бархатном диванчике сидят рядом три инвалида, три обстриженных дремлющих болванчика. Они обвешаны медалями и георгиевскими крестами.

Декольтированная девица в большой шляпе с свисающими полями ходит с вазочкой между столиками и собирает деньги «на революцию». «Декольтэ» девицы съехало на бок, башмаки ее истоптаны; от восторга, от весны, от деятельности длинный нос ее покрылся мелкими жемчугами пота. За одним из столиков сидит Тартаковский, окруженный стаей подобострастных маклеров. Стол его завален образцами товаров — зернами пшеницы; обрывками кожи, каракулевыми шкурками. Он кладет барышне в вазу двугривенный.

Аукционист на трибуне потрясает кандалами.

Декольтированная девица вьется между столиками. У окна развалился Беня Крик, он старательно пишет что-то на бумажной салфетке. Рядом с ним пьяный Савка, поедающий одну за другой трубочки с кремом. Барышня приблизилась к Бене. Король с шиком бросает в вазочку золотую монету. Аукционист поспешно снимается со своего места, он преподносит Бене одно звено из кандалов; следом за аукционистом ковыляют инвалиды, они с полной безжизненностью благодарят Беню. Пьяный Савка уставился на это зрелище. Он поднимается на подламывающихся ногах и заглядывает барышне за кофточку в декольтэ.

Декольтэ и сумрачное внимательное лицо Савки над ним.

Мимо столика Бени проходит Собков, принарядившийся ради воскресенья. Беня приглашает пекаря садиться.

— Вот ты и дождался революции, Собков...

Собков усмехается и показывает глазами на посетителей кафэ.

— Революция будет, когда монету у них заберем...

Беня чистит перо полой Савкиного пиджака, мимика его лица чрезвычайно выразительна.

— Насчет монеты ты прав, Собков... —

говорит он и снова принимается за писание. Савка заснул. Собков разглядывает посетителей кафэ.

У столика Тартаковского. Маклер вываливает из кармана груду золотых крестиков и ладанок.

— *Мосье Тартаковский, партию икон за половину даром...*

Тартаковский нехотя рассматривает товар, взвешивает крестики на ладони.

Беня сворачивает записку, подзывает официанта, просит передать записку Тартаковскому.

Товар Тартаковскому не подходит. Он отодвигает от себя «партию икон». Лакей подает ему записку.

Письмо Бени, написанное каракулями на салфетке с цветами:

— *Мосье Тартаковский, я велел одному человеку найти завтра утром под воротами на Софиевской 17 пятьдесят тысяч рублей. В случае, если он не найдет, так вас ждет такое, что это не слыхано и вся Одесса будет от вас говорить.*

С почтением Беня Король.

Тартаковский с возмущением комкает письмо, он делает Бене негодующие знаки, яростно дергает себя за ворот — вот, мол, сдирай последнюю рубаху — и немедленно принимается за писание ответа.

Официант подает инвалидам три бокала с гренадином. В бокалы воткнуты соломки. Безрукие болванчики потягивают гренадин через соломки.

Официант передает Бене ответ Тартаковского.

Послание Тартаковского, написанное тоже на салфетке:

— *Беня, если бы ты был идиот, то я написал бы тебе как идиоту, но я тебя за такого не знаю и, упаси боже, тебя за такого знать, денег у меня нет, а есть язвы, болячки, хлопоты, бессонница.*

Брось этих глупостей, Беня.

Твой друг Рувим Тартаковский.

Беня прячет письмо Тартаковского в карман, расплачивается, будит Савку. Тот просыпается и, страшно выпучив глаза, хватает Беню за горло. Савке почудилось со сна, что к нему ночью нагрянула полиция. Очухавшись, он мгновенно стихает. Беня, Савка и Собков направляются к выходу. Тартаковский все еще дергает себя за ворот — сдирай, мол, последнюю рубаху... Король разводит руками, — дескать, что я могу здесь поделать?..

Екатерининская угол Дерибасовской. Прелестный весенний день. Одесская фланирующая толпа. Беня подзывает лихача — по-одесски штейгера — и, указывая на пьяного Савку, говорит извозчику:

— Покатай его по воздуху, Ваня...

Савка развалился в экипаже со всей пренебрежительностью, со всем шиком, на какой он способен. Лошадь пошла рысью.

Группа цветочниц на углу Дерибасовской и Екатерининской улиц. Игривые бабы с цветами на фоне витрин лучшего магазина в Одессе — магазина Вагнера. В окнах магазина выставлены заграничные товары — щегольские чемоданы, фарфор, безделушки, духи в коробочках, обитых голубым атласом. Среди цветочниц оборванная девочка лет пятнадцати. Король подходит к девочке, покупает у нее фиалки и незаметно для Собкова сует в ее букеты записочки. Девочка с необыкновенным напряжением смотрит на Беню.

Беня и Собков сворачивают к Николаевскому бульвару. Вокруг них кипит одесская толпа. В отдалении на черных, худых голых ногах плетется девочка-цветочница. Завороженная, она не сводит с Бени глаз.

Николаевский бульвар. Беня и Собков подходят к решетке у Воронцовского дворца. За решеткой кусты нераспустившейся сирени.

— Скажи, Собков — кроме монеты, чего еще надо большевиками?—

спрашивает Беня пекаря. Тот вынимает из кармана книжку Ленина — но Беня отводит рукой книгу.

Беня медленно разжимает губы:

— Не надо книги, объясни душой, своди меня к твоим ребятам, Собков, где они у вас?

Собков простирает руку и указывает на доки, на Пересыпь, на фабрики.

— *Вот они!* —

говорит пекарь.

Панорама Пересыпи, судостроительных заводов, дымящихся пароходов. Рабочие производят погрузку. Они обволакиваются дымом, идущим из пароходной трубы.

Затемнение.

Порт. У эстокады группа биндюгов. К мордам лошадей подвешаны торбы с овсом. Полуденное солнце. Под одним из биндюгов спит на земле, на нагретых камнях, Фроим Грач. Из-за угла показывается девочка с цветами.

Девочка пробирается к биндюгу Грача. Она щекочет его букетом. Грач просыпается с таким видом, как будто он и не спал. Девочка сует Фроиму записку и убегает.

Записка:

— *Грач, есть кое-чего говорить с тобой.*

Беня.

Грач вскочил на биндюг, он пускает лошадей вскачь.

Затемнение.

Персидская чайная — чай-хане — на Привозной площади. Грузчики и торговцы скотом пьют чай. За прилавком перс, появлявшийся уже в первой части. Цветочница, задевая одной ногой другую, входит в чайную. Перс наливает ей стакан крепкого чаю, девочка просовывает ему записку:

— *Абдулла, есть кое-чего говорить с тобой.*

Беня.

Перс прячет записку. Лицо его исказилось. Он хватает стаканы с недопитым чаем, выливает их, вопит, суетится, выталкивает клиентов, те смотрят на него с величайшим изумлением. Старик в баках вступает с персом в драку, но, убоявшись страшного лица чайханщика, отступает. Одна только девочка спокойно допивает чай.

Перс заглушает самовар, льет в трубу воду.

Затемнение.

Резник Левка Бык, в халате, с окровавленным ножом, стоит на помосте. Внизу столпились еврейки. Они подают резнику (шойхету) куриц и уток для резки.

Левка перерезывает горло курице.

Старая Рейзл подает шойхету петуха. Петух машет крыльями. Левка заносит нож. В это мгновение в резницу проскальзывает девочка-цветочница. В руках у нее букет цветов, она робко ступает по цементному полу, залитому кровью.

Нож дрожит в руке шойхета, глаза его расширяются. Он застыл, петух бьется в его руках.

Затемнение.

Контора Тартаковского. За главным столом управляющий Мугинштейн. Окутываясь дымом, работает у своей конторки англичанин. Служащий подносит Мугинштейну бумаги для подписи. Мугинштейн подписывает с роскошным росчерком. Форма одного письма ему не нравится, он бросает его на пол и плюет в сторону служащего, принесшего письмо. Тот, нимало не смутившись, тоже плюет. В это время с улицы в раскрытые окна вскакивают четыре человека в масках, с револьверами в руках.

На четырех подоконниках стоят, выпрямившись во весь рост, налетчики в масках.

Часть четвертая.

— *Руки вверх!*

Ассортимент поднятых рук.

Фроим Грач, перс, Левка Бык и Колька Паковский занимают входы. На них смехотворные маски из цветного ситца. Всех можно узнать, особенно Грача, у которого маска каждый раз сползает.

Входит Беня. Он направляется к Мугинштейну.

— *Кто здесь будет за хозяина?*

Трепещущий Мугинштейн:

— *Я... я здесь буду за хозяина.*

Беня берет руки Мугинштейна, опускает их, дружелюбно здоровается с приказчиком, подводит его к кассе.

— *Отчини кассу с божьей помощью...*

Потрясенный Мугинштейн отрицательно качает головой. Беня вытаскивает из кармана револьвер и приказывает Мугинштейну:

— *Открой рот...*

Медленно раскрывающийся рот Мугинштейна, видны его зубы, растущие вкось.

Беня всовывает револьвер в рот Мугинштейна и медленно, не спуская с приказчика глаз, переводит предохранитель на «огонь». Слюна течет из раскрытого рта, руки Мугинштейна тянутся к штанам. Он вытаскивает связку ключей из потайного места, из мешочка, пришитого к кальсонам.

Ассортимент поднятых рук.

Массивные двери кассы расходятся. Богатство Тартаковского предстало пред взорами зрителей. К кассе подплывает искаженное лицо перса, под черными сводами бровей горят его расширенные глаза.

Беня вытирает полой приказчикова пиджака дуло револьвера, забрызганное слюной. Он прячет револьвер, садится в кресло, закидывает ногу на ногу, раскрывает кожаный саквояж. Для начала Мугинштейн передает ему бриллиантовую дамскую брошку. Беня подходит к кассирше, воздевшей толстые руки, прикалывает к ее груди брошку.

Мощная грудь кассирши ходит ходуном.

Дама растеряна. Она переводит глаза с Бени на брошку. Руки ее подняты. На подмышках у нее большие круглые пятна от пота. Грач подходит к женщине, обнюхивает ее и морщится. Маска сползла у него на подбородок. Беня возвращается на свое место.

Передача ценностей началась. Мугинштейн передает Бене деньги, акции, бриллианты. Беня складывает добычу в саквояж. Они работают не спеша.

Общий вид конторы. Левка Бык препирается со стариком служащим, который кричит, что он не может больше держать руки поднятыми.

— *Разбойник, у меня грыжа...* —

вопит старик. Левка очень внимательно щупает живот старика и разрешает ему опустить руки.

Старик подбежал к кассирше и рассматривает ее брошку.

— Дивный двухкаратник... —

говорит он и причмокивает губами.

Передача ценностей продолжается. Она протекает без затруднений, руки Мугинштейна и Бени движутся равномерно.

Левка Бык прогуливается по конторе. Англичанин, страдающий от невозможности покурить, делает ему умоляющие знаки, указывает глазами на трубку. Левка вдвигает трубку в желтые зубы англичанина и зажигает спичку.

Движение рук Мугинштейна и Бени.

Трубка англичанина никак не раскуривается, это происходит оттого, что руки его подняты и бухгалтер не может примять табак. Левка зажигает одну спичку за другой. Вдруг зажженная спичка застывает у него в пальцах.

В окно вскочил пьяный Савка. Он орет, размахивает револьвером.

Левкина спичка догорела до конца. Она обжигает ему пальцы.

Пьяный Савка стреляет, Мугинштейн свалился. Беня, охваченный ужасом и яростью, кричит:

— Тикать с конторы...

Король схватил Савку за лацкан, он встряхивает его, трясет все сильнее.

— Клянусь счастьем матери, Савелий, ты ляжешь рядом с ним...

Налетчики убегают. На полу корчится раненый Мугинштейн. Старик с грыжей ползет к нему под столами.

Агонизирующий Мугинштейн и затем...

Обложка книги: «Гигиена брака».

Кудрявая девица с лицом веснушчатым, незначительным и столь внимательным, что со стороны оно может показаться мрачным — склонилась над книгой «Гигиена брака».

Милиция присяжного поверенного Керенского.

Канцелярия милицейского участка. За столами девицы и чахлые студенты еврейского типа. Среди студентов осунувшийся Лазарь Шпильгаген. У телефона кудрявая барышня, увлеченная вопросами гигиены брака. Она долго не обращает внимания на надрывающийся телефонный звонок (телефон старой системы с наружным звонком) и, наконец, лениво снимает трубку.

— *Шпильгаген, доложите начальнику, что на Тартаковского налет...* —

говорит она соседу, вешает трубку на рычажок и снова погружается в чтение.

Шпильгаген вяло бредет к начальнику. Шнурки его башмаков распущены, он поправляет их по дороге.

Начальник участка присяжный поверенный Цысин.

Кабинет начальника участка. Цысин, брюнет с изможденной и благородной внешностью, неудержимо ораторствует пред тремя инвалидами, теми самыми, в чью пользу продавали кандалы у Фанкони. Инвалиды затоплены красноречием Цысина. Входит Шпильгаген. Начальник сначала не слушает его, потом приходит в ужасное волнение.

Размахивая руками, Цысин летит по коридору.

Старик с грыжей льет из медного чайника воду на кассиршу, упавшую в обморок. Она прикрывает рукой брошку.

Со двора участка медленно выползает танк. Из амбразуры танка выглядывает вдохновенное лицо Цысина.

Пекаря, во главе с Собковым, бегут к конторе Тартаковского.

Тысячная толпа во дворе Тартаковского — женщины, ползущие по земле дети, зеваки, ораторы. С томительной медленностью вползает танк. Из танка выскакивает Цысин. Собков обращается к нему:

— *Дайте мне несколько боевых ребят, и мы возьмем Короля...*

Цысин машет рукой, убегает, за ним устремляется толпа. Один только часовой мастер в опорках остается на своем месте. Он с скучли-

вым видом поднимает к небу глаз, вооруженный лупой; солнце пламенным лучом упирается в лупу.

Комната в доме Криков. На стене в одной раме портреты Льва Толстого и генерала Скобелева. Старушка Рейзл подает суп Фроиму и Бене. Грач мокает в суп большие куски хлеба, он уплетает свою порцию с аппетитом, Беня отодвигает тарелку. Рейзл подкладывает ему пупки и яички, но Беня от всего отказывается, ему не до пупков. В комнату врывается Собков.

— Не надо нам уголовных... —

кричит пекарь и стреляет в Беню. Промах. Грач кидается на Собкова, подминает его под себя, душит. Беня оттаскивает Фроима.

— Отпусти его, Фроим, — чорт разберет этих большевиков, чего им надо...

Грач встает, полузадушенный Собков валяется на полу. Рейзл приносит второе, не удостаивая Собкова взглядом, она переступает через распростертое его тело и раскладывает жаркое по тарелкам. Беня барабанит по столу пальцами.

Затемнение.

Через два дня состоялись похороны Мугинштейна. Одесса таких похорон не видала, а мир не увидит.

Кантор в торжественном облачении. За ним следуют мальчики в черных плащах и высоких бархатных шапках — синагогальные певчие.

Пышная колесница, три пары лошадей, лошади с плюмажами, мортусы в цилиндрах.

Толпа провожающих гроб. В первом ряду Тартаковский и еще один почтенный купец поддерживают старенькую тетю Песю, мать убитого.

Толпа — присяжные поверенные, члены общества приказчиков-евреев и дамы с серьгами.

Красный автомобиль Бени Крика мчится по улицам Одессы.

Тартаковский и сослуживцы покойного, в числе их — старик с грыжей и англичанин, несут гроб по кладбищенской аллее.

К кладбищенским воротам подкатывает автомобиль Бени Крика. Из него выскакивает Беня, Колька Паковский, Левка Бык и перс. В руках у Бени громадный венок.

Тартаковский и еще двое несут гроб. Их нагоняет Беня с соратниками. Налетчики отстраняют Тартаковского, старика с грыжей, англичанина и подводят стальные плечи под гроб. Невыразимое смятение пробегает по толпе. Тартаковский исчезает. Налетчики выступают медленно, скорбно, с горящими глазами.

Во весь экран гроб, покачивающийся на плечах налетчиков.

У кладбищенских ворот. Кучер Тартаковского отлучился по нужде. Широкая его спина маячит у закругления кладбищенской стены. Из-за ограды выбегает Тартаковский; он вскакивает в экипаж и сам погоняет лошадей.

Кантор молится над могилой. Беня поддерживает тетю Песю. Кантор берет горсть земли, чтобы бросить ее на гроб, но рука его застывает. К нему направляются два парня, несущие покойника Савку Буциса. Беня — кантору:

— Попрошу оказать последний долг неизвестному, но уже покойному Савелию Буцису.

Кантор, дрожа и примериваясь, куда ему бежать, переходит к гробу Савки. Налетчики окружили труп. Проверяя кантора — не плутует ли он, не сокращает ли панихиду, они внимательно слушают молитву. Толпа тает, люди, отойдя шагов на десять от могил, обращаются в бегство.

Тартаковский нахлестывает лошадей. Кучер бежит за экипажем.

Кладбищенская аллея. Памятники — молящиеся ангелы, пирамиды, мраморные щиты Давида. Бегство смятенной толпы.

У гроба Савки заикается кантор, разливается в три ручья тетя Песя, и молятся по заветам отцов налетчики.

У кладбищенских ворот толпа сметает все преграды: экипажи, трамвай, даже грузовые площадки берутся приступом.

Обессиленный кучер Тартаковского, отчаявшись догнать экипаж раскрывает полы ваточного армяка и садится на землю, чтобы передохнуть.

Поток дрожек и телег. Люди стоят на телегах, их качает, как н корабле во время бури.

Две разряженные дамы на телеге из-под угля.

Красный автомобиль врезывается в толпу бегущих и исчезает.

Затемнение.

Голые спины Собкова и его длинного соседа. Движение мускулов на спинах.

В пекарне. Кочетков подбрасывает дрова в пылающую печь. Мастер вынимает готовые хлебы. Входит Беня. Он отзывает Собкова в сторону.

Кладовая. На полках остывают хлебы, длинные ряды хлебов. Входят Собков и Беня.

— Своди меня к твоим ребятам, Собков, и, клянусь счастьем матери, я брошу налеты...

Собков поглаживает корку дымящегося хлеба.

— Наливаешь, парень... —

вскидывает он глаза на Беню и тотчас отводит их. Король подходит к нему вплотную и кладет маленькую руку в перстнях на голое грязное плечо пекаря.

— Клянусь счастьем матери, Собков... —

повторяет он с силой.

Длинные ряды хлебов остывают на полках, хлебный дух зеленой волной ходит по кладовой, солнечный луч раздирает туман. За изгородью отлакированных хлебов — лица Бени и Собкова, склонившиеся друг к другу.

Часть пятая.

Конец короля.

На черном фоне извивается телеграфная лента.

Телеграфная лента ползет из аппарата.

Лето от рождества Христова тысяча девятьсот девятнадцатое.

Телеграфист принимает в аппаратной комнате депешу по прямому проводу. Военком Собков склонился над ползущей лентой. На столике рядом с аппаратом лежит буханка черного хлеба, изрезанного жилами соломы, и мокнут в миске с водой пайковые селедки. Телеграфист в шерстяной шапке, какую зимой носят лыжники и конькобежцы, рванoe его пальто стянуто на животе широким монашеским ремнем, за плечами у него котомка с провизией; он, видимо, собрался уходить.

Буханка хлеба, мокнущие селедки. Пальцы телеграфиста ковыряются в буханке.

Собков читает ленту, ползущую на пулемет, поставленный рядом с аппаратным столиком. Он так же, как и телеграфист, залезает пальцами в самую сердцевину буханки и выковыривает оттуда мякоть.

Телеграфная лента:

> *Военкому Собкову тчк ввиду ожидающегося нажима неприятеля выведите Одессы и обезоружьте под любым предлогом...*

Пулемет, обмотанный телеграфной лентой. В уголку, поодаль Кочетков чинит худой свой башмак. Не снимая его с ноги, Кочетков проволокой связывает отвалившуюся подошву.

Продолжение телеграммы:

> *...обезоружьте под любым предлогом части Бени Крика тчк.*

Башмак Кочеткова — у ранта во всю длину подошвы правильно закрученные, откусанные узлы проволоки.

Собков сунул в карман ленту, он оторвал от буханки кусок и жует его на ходу. Военком и Кочетков выходят из аппаратной.

На черном фоне извивается ослепительная телеграфная лента. Конец ее...

Вползает в открытый, без капота, автомобильный мотор.

Во дворе телеграфной станции. Кладбище грузовиков и походных кухонь. Одна походная кухня действует. Кашевар-красноармеец стряпает щи. Он топит котел своей кухни деревянными колесами, отбитыми от других походных кухонь; их во дворе неисчислимое множество. Тут же

бьется над ободранным, разболтанным автомобилем шоффер Собкова. На моторе нет капота, шоффер старается наладить машину, но толку от его усилий мало.

Мотор автомобиля — перевязанный проволокой и ремнями, латаный, дымящийся, мотор девятнадцатого года.

Во двор спускаются Собков и Кочетков. Они садятся в автомобиль.

— *В казармы, живее...* —

говорит Собков шофферу, тот вертит ручку, но завести мотор невозможно. Шоффер растирает струи пота по багровому лицу, он с ненавистью следит за потугами мотора, перебирает какие-то клапаны и вдруг изо всей силы плюет в самое сердце мотора. Кашевар и Собков приходят ему на помощь, они тоже вертят ручку, но впустую. Кочеткову удается, наконец, завести машину. Шоффер вскакивает на сиденье, дает газ, гигантское облако дыма вылетает из машины, с кряхтеньем она трогается.

Автомобиль выезжает из ворот. Шоффер судорожно работает у руля. Облако дыма все разрастается, оно заволакивает экран, из желтого тумана возникают с необыкновенной резкостью:

замусоленные игральные карты, раскинутые веером. Их держит жилистая рука. Один палец на этой руке сломан, искривлен. Луч солнца пронизывает карты.

N-ский «революционный» полк готовится к решительным битвам.

Казармы «революционного» полка Бени Крика. На веревках, протянутых во всю длину казармы, развешано сохнущее солдатское белье. На белье казенные клейма. Под веревками, где особенно густо нанизаны кальсоны с клеймами, идет азартная игра в карты, игра блатных. Партнеры — лупоглазый перс и папаша Крик, нацепивший на себя крохотный картуз с красноармейской звездой. Вокруг стола — толпа мазунов-налетчиков, знакомых нам по свадьбе Двойры Крик. Перс, убежденный в том, что победить его козырей невозможно, сдает карты с торжеством, со страстью. На лице папаши Крика написано кроткое уныние. Он долго размышляет, морщится, закрывает один глаз и, наконец, «убивает» первую карту перса.

Залитые солнцем карты в руке старого Крика.

Старик с грустью «убивает» вторую карту перса. К нему придвигается голая спина Кольки Паковского.

Рядом с Менделем, на высоком стуле сидит обнаженный до пояса Колька Паковский. Старый китаец производит над ним операцию татуировки. Он наколол уже на спине Кольки у правой лопатки мышь и теперь загибает за плечо длинный и гибкий мышиный хвост.

Мендель бьет одну за другой все карты партнера. Лицо перса омрачилось. Он платит проигрыш новыми часами из вороненой стали. На столе возле него гора нераспакованных ящиков с новыми, только что из магазина, часами.

Казарма, забитая сохнущим бельем. В дальнем углу у окна Левка Бык в кожаном переднике, измазанном кровью, рассекает недавно зарезанного вола. Он и в казарме занимается прямым своим делом. Его окружили «красноармейцы», ждущие порций. За окном виднеются головы торговок, выстроившихся в очередь: они тоже ждут раздачи. Левка наделяет красноармейцев кровоточащим мясом, изредка он накалывает на нож чудовищные куски мяса и, не оборачиваясь, швыряет их за окно, как укротитель швыряет конину в клетку с тиграми.

Игра продолжается. Настал черед перса торжествовать. Дергаясь, хохоча, дрожа от возбуждения, он бьет карты старика и требует выигрыш. Папаша Крик платит новенькими кредитками, которые он вытаскивает из пачки, перевязанной как в банке. Две кредитки оказываются без оборота — одна сторона напечатана, на другой ничего нет. Старик подзывает одного из мазунов, отдает ему негодные кредитки.

— Скажи Юсиму, что он у меня умоется юшкой за такую работу... Пусть допечатает...

Мазун прячет кредитки и уходит. В дверях он сталкивается с Тартаковским и пропускает его в казарму. На Тартаковском сломанный солдатский картуз; лицо его носит следы удивительного маскарада — усы сбриты, а борода оставлена, как у голландского шкипера.

Тартаковский пробирается на цыпочках вдоль стены. В руках у него бархатный мешочек с неизвестным содержимым. Старик перекрасился и одет соответственно духу времени — на нем рваный сюртук, на ногах опорки, только живот величествен по-прежнему. Следом за ним скользят еще два почтенных еврея. На одном из них кепи велосипедиста, сюртук и краги, на другом кепи поменьше и куртка с бранденбурами.

Командир N-ского «революционного» полка.

Двор в здании красноармейских казарм. На одной из внутренних дверей вывеска — Пехотный имени французской (тут от руки мелом дописано — и германской) революции полк. Беня в фантастической форме верхом на лошади. Фроим Грач стоит посредине двора и щелкает кучер-

ским кнутом. Беня мчится карьером и описывает по двору правильные круги, как в манеже.

Низкая дверь. Три живота с трудом протискиваются сквозь узкую щель.

Скачка продолжается. Тартаковский и трепещущие его спутники проникают во двор. Они кланяются Бене, неутомимо описывающему круги. Командир N-ского «революционного» полка дает лошади шпоры, взвивает плеть, подскакивает к толстякам, те приседают. Тартаковский протягивает Бене бархатный мешочек с неизвестным содержимым.

Вышитая цветами надпись на бархатном мешочке: «От революционных кустарей города Одессы».

Беня разворачивает дары. В бархатном мешочке оказывается свиток Торы, пергамент намотан на лакированные резные палки. Беня передает Тору Фроиму Грачу. Тогда Тартаковский подступает ближе, он гладит дрожащей рукой морду лошади и начинает речь:

— *Революционные кустари просят вас...*

Бесстрастное лицо Бени, руки его, величественно сложенные на луке седла. Подальше — Фроим, разматывающий свиток. Тартаковский продолжает:

— *...просят вас защищать революционную Одессу в самой революционной Одессе и...*

Фроим разматывает Тору и вынимает из нее одну за другой царские сторублевки.

Беня скосил угол глаза в сторону Фроима. Тартаковский продолжает:

— *...в самой революционной Одессе и не выступать на какой-то там фронт...*

Гром распахнувшихся ворот, столб дыма, влетевший во двор — прервали речь революционного кустаря. Вслед за струей дыма тройка пожарных лошадей вкатывает во двор испортившийся по дороге автомобиль Собкова. На одной из лошадей восседает красноармеец в войлочных туфлях на босу ногу. Военком и Кочетков прыгают на землю, бегут к казарме. Шоффер подходит к дымящемуся мотору, долго в него всматривается, поднимает к небу затуманенные глаза и задумчиво, несколько раз под-ряд, плюет в магнето.

Собков и Кочетков пробегают рысью калитку, сквозь которую с таким трудом проходили животы революционных кустарей.

Голос Тартаковского опустился до шопота, он все веселее и любовнее треплет морду лошади, два других делегата поглаживают ее бока. Беня наклонился к ним ближе; в другом углу Фроим скатывает пергамент.

Игра в казарме ведется с неослабевающей страстью. У противоположной стены, недалеко от Левки, расшвыривающего мясо, мылит себе щеку парень с грубым лицом, подстриженными усиками и забинтованными ногами. Тут же на койке спиной к зрителям спит коротковатая пухлая женщина в модных башмаках до колен. В казарму вбегают Собков и Кочетков. Военком вскакивает на трибуну, поставленную под перекрещенными знаменами.

— *Товарищи!*

Новоявленные «товарищи» лениво стягиваются к военкому. Левка обтирает о передник нож и идет к трибуне. Сюда же собираются мазуны, парень с намыленной щекой, китаец, Колька Паковский, обнаженный до пояса, и другие. Только перс и папаша Крик не встают с места, не прерывают игры — они по-прежнему обмениваются новыми часами и новыми кредитками.

— *Товарищи!* —

повторяет Собков. «Товарищи» устремили на него тусклые взоры. Они видны со спины, все как по команде чешут одной босой ногой другую.

— *Рабочая власть, простив прежние ваши преступления, требует честного служения пролетариату...* —

говорит Собков. Парень с намыленной щекой стоит к нему в профиль, лицо его уныло, большие пальцы играют. Левка Бык натирает нож до блеска. Военком продолжает:

— *Доверяя вам, Исполком решил образовать из вашего полка заградительные продовольственные отряды...*

Собков прерывает речь для того, чтобы проследить, какое впечатление сделало на налетчиков неожиданное его заявление. Налетчики аплодируют. Веселая эта работа — аплодисменты — нравится им, они хлопают все горячее. Распаленный военком лезет в карман за платком, рука его уходит все глубже, все дальше, не встречая никаких препятствий. Карман вырезан.

Превосходно вырезанный карман Собкова.

Военком застыл с раскрытым ртом. Ребята расползаются по своим местам... Парень с грубым лицом, подстриженными усиками и забинтованными ногами мылит вторую щеку, дама его шевелится, просыпается, поворачивается к Собкову мятым лицом с кудряшками. Сбитый с толку военком переводит глаза с налетчиков на зевающую женщину, спустившую с койки жирные ножки в модных башмаках.

По казарме бежит мазун, вернувшийся с допечатанными деньгами. Он отдает их папаше Крику.

Собков, опомнившись, вытаскивает револьвер. Колька Паковский, растянувшийся в кресле, поворачивает голову в полоборота и снова отводит ее. Китаец все возится над его плечом, он расцветил красками мышиный хвост, обвившийся змеей вокруг Колиного соска. Кочетков схватил военкома за руку.

Пальцы военкома, схваченные Кочетковым, слабеют, выпускают револьвер.

Часть шестая.

Пустынная улица в Одессе. Лавки заколочены досками, болтами, крюками. К двери нищенской лавчонки прибито изображение греческого короля, под ним надпись: «Здесь торгует иностранный подданный Меер Гринберг». Одинокая собака сидит посредине мостовой. Порванные телеграфные провода лежат у ее ног. Они склонились перед собакой, как знамена перед военачальником. Тучный хромой человек быстро уходит вдоль улицы, он тяжело налегает на ногу, выгнутую колесом. Далеко в пролете вымершей улицы в красной пыли солнца видна уходящая его спина.

Соблазненный «продовольственными» перспективами полк Бени Крика решил выступить из Одессы.

Из-за угла выезжает на кровной лошади Беня Крик. Множество ленточек вплетено в гриву его коня. Рядом с ним едут Собков на лохматой сибирской лошаденке и одноглазый Фроим Грач в галифе. Остальной костюм Фроима — парусиновая бурка, смазные сапоги и кнут — остался без изменений. Тут же шагает Кочетков. Отваливающиеся его подошвы раззевают унылые пасти. За всадниками следуют музыканты, восседающие на мулах. Мулы эти остались от времен оккупации Одессы цветными войсками. Мулы прядают длинными ушами; седел, стремян на них нет, они перекрыты семейными коврами. Впереди оркестра движется свадебный музыкант, поднявший к небесам сияющую свою трубу, о которой было уже сказано, что она походит больше на удава, чем на музыкальный инструмент.

В далекой перспективе, в запылившемся огне заката, спина уходящего хромца. Он подошел к посудной лавке, единственной не заколоченной лавке, и повернул к зрителю красное, вспотевшее, доброе лицо.

Вслед за оркестром выступает орда Бени Крика. Бывшие налетчики в касках, они обмотаны пулеметными лентами, штаны носят навыпуск; одни идут босиком, на других разношенная, правда дырявая, но лакированная обувь. В толпе Бениных сподвижников — детские коляски, провожающие жены, матери, невесты. Все это визжит и путает ряды. За Колькой Паковским, не поспевая, семенит мать, маленькая старушка, она несет его ружье и ранец. Левка Бык толкает коляску годовалого своего сына. Рядом с ним жена — задорливая молдаванская баба, завороченная в пурпурную шаль. Левка Бык и его семейство выходят из рядов, он с тоской окидывает взглядом длинный ряд заколоченных лавок.

Показалась «артиллерия» — тачанки с пулеметами. Следом за «артиллерией» движется биндюг, на котором сооружено что-то вроде балагана. На биндюге надпись громадными буквами: «Труппа Политпросвета при N-ском имени французской революции пехотном полку». В глубине балагана — матрос с лентами и выпуклой грудью играет на ободранном пианино. Лилипуты — мужчина и женщина, одетые в бальные платья — протягивают к публике кружки с надписью: «На украшение казармы».

В единственной незаколоченной лавке. Товары — фаянсовые унитасы, канализационные трубы, сиденья для ватер-клозетов. Длинный мальчик, с зелеными веснушками и тонкой шеей, поливает пол из медного чайника. Он описывает на полу затейливые фигуры, рисует водой человечков и буквы. Хозяин лавки — хромой немец, вытирает полотенцем беспомощное широкое лицо. Он устал от быстрой ходьбы. На раскаленных отваливающихся его щеках кипит обильный пот, пот доброго толстого человека. Обтерев лицо, он лезет с полотенцем за пазуху, в это мгновенье дверь открывается и в лавку вламывается Левка Бык в сопровождении своего семейства.

Чайник дрогнул в руках мальчика. Изящные петли прервались, вода льется на пол безо всякого порядка.

Ряд фаянсовых сверкающих унитасов. Над ними склонилась испытующая рожа Левки. Он видит, что взять нечего, он колеблется, уходит, возвращается, захватывает с горя унитас, особенно пышно расписанный розовыми цветами, швыряет его в коляску сына и уходит. Немец застыл с полотенцем за пазухой.

На углу Дерибасовской и Екатерининской. Кафэ Фанкони заколочено, цветочниц нет на углу. Босая девочка в мешке, та самая девочка,

которая разносила записки Бени — прижалась к пустой витрине магазина Вагнера. Первый ряд колонны — Беня, Фроим и Собков — поравнялись с нею. Торопясь и дрожа, она вытаскивает из-за пазухи розу, завернутую в газетную бумагу; путаясь между лошадьми, оборвыш бежит к Бене и протягивает ему розу.

Порт. Причальная линия так называемой Арбузной гавани заставлена дубками. Закат золотит грязные паруса, воду, усеянную корками, и груды арбузов, мириады арбузов. Суденышки набиты ими до краев.

Выгрузка арбузов из дубка. Хозяин судна грек бросает арбуз грузчику, стоящему на берегу, тот передает арбуз другому грузчику, и так по всей линии до вагона. Расстояние между грузчиками — два-три шага.

Движение арбуза, перебрасываемого из рук в руки.

Несколько Бениных ребят наблюдают с каменными лицами погрузку арбузов. В рядах их происходит едва уловимое движение. С непостижимой быстротой бросают они в море грузчиков и образуют свою цепь от дубков до вагона. После мгновенной заминки выгрузка арбузов продолжается с прежней точностью.

Движение арбуза, перебрасываемого из рук в руки.

Грузчики, бывалые ребята, барахтаются в воде. Греки — хозяева дубков — наставляют паруса, готовятся к бегству. Вечер. В порту зажигаются огни.

Полк Бени Крика грузится в теплушки. Будущие «продовольственники» натаскали в вагоны груды мешков.

У дверей классного вагона, первого от паровоза, дежурит Кочетков. Беня и Фроим входят в вагон. Кочетков запирает за ними дверь на ключ. Фроим услышал визг ключа в замке, он обернулся, прыгнул, уставился на скуластого простоватого Кочеткова, постучал в стекло:

— *Пусти до ветру, Кочетков...*

Кочетков приставил винтовку к ноге:

— *Какой там ветер на войне?..*

Фроим внимательно осмотрел Кочеткова и скрылся в глубине вагона.

Дубки, круто скосив паруса, уходят в море. Мокрые грузчики карабкаются на берег. Вечер.

На перроне зажгли газовые фонари. Левка Бык тащит к вагону кучу мешков. Его встречает Собков и спрашивает:

— Зачем столько мешков, Левка?

Левка, согнувшийся под своей ношей, смотрит с удивлением на недогадливого военкома.

— Для того, чтобы бороться с мешечниками, нужны мешки...—

отвечает он и бежит дальше. За ним с корзиной в руках поспешает старая Манька — патриарх слободских бандитов.

Беня стоит в окне вагона. К нему подбегает запыхавшаяся Манька. Она вынимает из корзины четверть спирту и мандолину и подает их командиру.

Паровоз дает свисток.

Ребята Бени Крика катят по путям вагон с арбузами; они прицепляют его к своему поезду.

Полк погрузился. Красноармейцы из регулярных частей закрывают двери теплушек. Медленно, неотвратимо движутся двери на железных роликах. Пасти теплушек закрылись все сразу. Красноармейцы вскочили на тормозные площадки.

Паровоз дает последний свисток и трогается.

Красноармейцы, спрятанные за пакгаузами, прыгают на тормоза, лезут на крыши вагонов.

Дальние паруса в ночном море. Изрезанная луна в обвалах туч.

Поезд набирает скорость.

Уходящая Одесса — витая линия огней в порту, мигающий глаз маяка, отблески луны на черной воде, колыхающиеся тела шаланд и дыры парусов, пропускающие звезды.

В салон-вагоне. Ободранное просторное купэ хранит следы недавнего великолепия. В углу, ввинченная в пол, золоченая ванна с орлами. На столе целый поросенок и четверть спирта. Собков разливает в разбитые черепки водку. На пиршестве присутствуют лилипуты, одетые в бальные

туалеты. Не заметно ни вилок, ни ножей. Фроим разрывает поросенка руками.

В передней. Домовитый Кочетков устраивается у закрытой двери купэ. Он поставил винтовку между ног, разостлал на столике грязный платок, высыпал табак и гильзы, обстругал палочку для набивки папирос.

Собков, Беня, Фроим и лилипуты чокаются посудинами разнообразнейшей формы и размеров — у черепков отбиты края, донышки перевязаны проволокой. Все выпили, кроме Собкова, вылившего свою водку за воротник. Беня и Фроим заметили его маневр, они переглянулись, подложили револьверы под карту-двухверстку, брошенную на стол.

Кочетков набивает папиросы, руки его движутся неторопливо. Он складывает папиросы аккуратными стопками.

Фроим разливает водку. Не спуская глаз друг с друга, компания чокается. Под картой-двухверсткой топорщатся револьверы. Одни только лилипуты пьют весело, с жадностью.

Мчащийся поезд. Ночь. По крышам, у сцеплений, у тормозов, мелькают ползущие силуэты красноармейцев. Последний вагон отрывается от поезда и катится назад. Искра бежит по рельсам вслед за оторвавшимся вагоном.

В купэ. «Комсостав» пьет. На этот раз Беня и Фроим вылили свою водку, но сделали они это искуснее, чем Собков, ни для кого не заметно.

Кочетков в передней набивает папиросы.

В купэ все притворяются пьяными. Собков целуется слюнявым размягченным поцелуем с Беней и Фроимом. Лилипуты, действительно пьяные, порываются танцовать. Фроим поднимает их на вытянутых руках и, выкидывая ноги в больших сапогах, отплясывает неведомый, сумрачный, старательный танец.

Второй вагон отрывается от состава и бежит обратно в ночь. Искра, подпрыгивая на рельсах, летит за ним.

Низко опустив голову, не меняя выражения лица, Беня играет на мандолине. Развалившись в кресле, Собков, вдребезги якобы пьяный, хлопает в ладоши. Фроим пляшет с лилипутами. Маленькая женщина обвила короткими ручонками кирпичную шею Фроима и целует его в губы.

Под столом течет струйка вылитой водки.

Кочетков набивает папиросы.

Пьяные лилипуты свалились. Они обнялись и заснули.

Беня швырнул мандолину в сторону, он разливает водку. Фроим, Собков и он сплели руки для того, чтобы выпить на брудершафт.

На брудершафт.

Все трое подносят черепки к губам. В это мгновение поезд остановился. От резкого толчка расплескалась водка, руки пивших на брудершафт медленно расплетаются. Собков подбегает к окну и открывает штору. Ночь залита пламенем гигантского костра. Багровые лучи ложатся на лица Бени и Фроима.

Поезд остановился в поле. В поезде остался только паровоз и салон-вагон, остальной состав отцеплен. Вагон Бени увешан вооруженными красноармейцами — они на крыше, на подножках, у тормозов, у окон. Костер пылает в пятидесяти шагах от полотна железной дороги. Два чебана варят мирную похлебку в закопченном котелке. Из созревших хлебов выползают красноармейцы — кудлатые, низкорослые, босые мужики и с ружьями наперевес бегут к вагону. Пламя костра вытягивается на дулах их ружей.

Собков отошел от окна, он бросил в золоченую ванну стакан с водкой.

— Не серчай, Беня...—

сказал он и выскользнул из вагона. Беня переводит глаза с Фроима на ванну, с ванны на спящих в углу, обнявшихся лилипутов. Фроим складывает из топорных иссеченных своих пальцев фигу и подносит ее к лицу «короля».

Кочетков, стоя на подножке вагона, раздает папиросы кудлатым мужикам. Они вперебивку суют руки в его шапку.

Беня показался у окна.

Толкающиеся руки мужиков в шапке Кочеткова.

Беня обводит взглядом красноармейцев, облепивших вагон, дула ружей, устремленные на него, босого мужика, усевшегося на крюке, где сцепление, и Собкова, застывшего перед окном с телефонным аппаратом в руках.

В купэ. Фроим с бешеной поспешностью разбивает пол вагона. Он рассчитывает ускользнуть через дыру в полу. К нему подкрадывается Кочетков и стреляет в голову одноглазого биндюжника. Фроим повернул к Кочеткову залитое кровью, притихшее, укоризненное лицо.

Собков не сводит глаз с открытого окна. В руках его аппарат полевого телефона. Беня медленно опускает штору.

Лилипуты, разбуженные выстрелом, вскочили. Кочетков подносит палец к губам. «Т-с-с», делает он, подходит к Бене, берет его за руку.

— *Жили, не ссорились...* —

говорит Кочетков и поворачивает Беню вокруг своей руки. В дверях вагона показались красноармейцы с ружьями на изготовку.

Подбритый затылок Бени. На нем появляется пятно, рваная рана кровь брызгающая во все стороны.

Затемнение.

· В кабинете председателя одесского исполкома. Под мертвой пышной электрической люстрой горит керосиновая лампа. Председатель, сонный человек в папахе, в белой рубахе на выпуск и с обмотанной шеей наклонился над диаграммой: «Кривая выработки кожевенных фабрик за первую половину 1919 года». Инженер из ВСНХ дает ему объяснения. Звонит телефон, председатель снимает трубку.

В поле у костра. Лежащий на земле Собков говорит по телефону. Рядом с ним прикрытые рогожей трупы Бени и Фроима Грача. Босые их ноги высовываются из-под рогожи.

Председатель выслушал донесение, положил трубку. Он поднимает на инженера сонные глаза.

— *Продолжайте, товарищ...*

Две головы — одна в спутанной папахе, другая расчесанная — склоняются над диаграммой.

Разин Степан.

Роман.

А. Чапыгин.

(Продолжение).

VII. В Хвалынском море.

Чертя белесыми полосами безграничную сплошную синеву, слитую с синим небом, идут струги, волоча за собой челны по Хвалынскому морю. Ревут и скрипят уключины. Паруса на низких смоленых мачтах подобраны и кое-где на черном треплются флаги. Караван Разина растянулся далеко, хвост судов исчезает в мутной дали. Спереди назад и сзади наперед изредка идет перекличка.

— Неча-ай!

— Не-е-ча-а-й!..

В синей дали чернеют точки островов.

— Ладно ли идут струги?

— На Всток идут, есаул!

— Острова зримы, островов тут не должно быть?

В глубоком чреве большого струга, на нижней палубе, устланной ковром, лежит атаман с названным братом Сережкой Кривым. В трюме, мотаясь, горят свечи, падают, гаснут и, вновь зажженные, вспыхивая и оплывая, горят. Узкие окошки в трюме затянуты пузырем, в окошки бьет волной, барабанят дробно брызги. Названные братья пьют из глубоких чаш, разливая на кафтаны хмельной, переварный мед. Боярский сын Лазунка чернобородый в зеленом полукафтанье с серебряными ворворками и петлями поперек груди возится в сундуках плотнее, составляя медные кувшины с вином. В углу трюма болтыхаются смоляные боченки с медами, вывезенными Сережкой в дар атаману с родины — «Переварный крепкий» да «Тройной косатчатой», связанные в рогожах веревками, чтоб море не катало их по трюму.

— Чаяли меня, брат Степан, воеводы не пустить в море, да на Карабузане я таки с робятами шатнул одного — стрельцы от бою раскочились, а голова ихний еле душу уволок... я же к тебе сшел с людьми да подар-

ками... — Говоря, Сережка, вытягивая шею, вслушивается в плеск волн — блестит в его правом ухе крупное золотое кольцо с яхонтом.

— Чего, Сергей, как будто конь к погоде — голову тянешь?

— Чую я и мекаю, Степан, что не острова углядели на море наши — то каторги с Гиляни.

— Очи есть у дозорных, пей!

— Пью — пошто не быть? да море я гораздо знаю и слух к ему у меня не человечий... будто скрозь сон битву чую голоса?

— Пей же! не плещет море, а то ко рту не донесешь... скажи! ты, как видок на моей свадьбе, должон все доводить про жонку — что там моя Олена?

— Взялся, знаю... батько хрестной, Корней атаман, с любовью к ей лезет, дары дарит...

— Сатана! ну, она как?

— Да ништо! держится тебя, дары берет, а держится... робята у тебя — ух! Старшой Гришка удал и ловок, хоть в море бери, а малой крепыш буде козак... ну, Фрол твой, брат, баба старая... ничего ладного... домрой бренчит песни, по свадьбам ходит... пра, Степан! во заговорило, чую то каторги!

— Пьем!.. ухо мое тож дальне чует... не векоуша — и я чую.

— Должно наверех?

— Пей, идем!

Вверху в синеве и черном по бокам стругов машутся черные головы, скрипят уключины, им невпопад подпевает море. По синей ширине, смутно белея, крутятся кольца волн и кудри пены. Порой, на темном пологе качаясь, вскипает светлая голова, в серебряной кике с алмазными перьями. Явственны в дали черные точки. По-звериному на высоком носу струга, лежа на животах Разин с Сережкой глядят в даль, втягивая грудью запахи моря и ветра — иногда несет на них жилым.

— Чуешь?

— Чую, Сергей!

— И дух жилой?

— Чую и слышу! — Разин встает, по каравану гремит: — Не-ча-а-й!

— Не-ча-а-й!

— Соколы! где есаулы?

— Батько! ясаулы в переднем стру-у-гу. На энтом един спит крепко — Мокеев Петра и добудитца боязно, со сна дeретца, а бой его сам ведашь? ужо коли спробую.

— Не шевели Петру — пущай, кличь иных! — Казак, стоявший в синеве и ветре черный, двинулся вдоль борта, тычась в головы гребцов. Разин, тронув за плечо Сережку, сказал:

— Сила брат, Сергей, у того Петры едино, как веком у запорожца Бурляя — коня с брюха здынет!

— Э, брат, — отколь такой?

— Сшол от воеводы на Волге, в бой идет, как домой — и младень умом — всему рад, седни дал ему атаманскую насечку — медь золочена, так он чуть не в землю зачал кланяться... робенок, а сила страшная.

— Добро! силу почитаю...

Раздался длительный разбойный свист. Свистел казак, сзывая есаулов — свист заглушил скрип уключин. На свист послышались крики:

— Идем!

На струг к атаману полезли: мутно белея головой Иван Серебряков, за ним человек ниже ростом и голос Ивана Черноярца:

— Где атаман?

Волоцкий, привычно щелкая в ножнах саблей, Рудаков на кривых тонких ногах, высокий и тощий. Последней поднялась на борт стройная фигура, в черном от сумрака полукафтанье — Федор Сукнин.

Есаулы обступили Разина. Разин, повернувшись к хвосту каравана, подал голос и по всему длинному ряду судов загремело:

— Ге-ге-й! заказное слово, заронить — итти тихо, на глаз!

— А-а-а-з! — ответил отзвук.

— Приказывай, Степан Тимофеевич!

— Я лишь спрошу, браты, что зримо впереди?

— Мнится, быдто струги?

— Пошто! — то островы.

— Галеры ясаулы — ей бо!..

— Бусы от Гиляни! они?..

— Да, браты, то не островья — струги! указать казакам лезть в челны... как и доводили лазутчики, стретят нас бусы кизылбашски... В челны не брать пушек, брать винтовальны пищали — в нужде бить пулей... Оглядеть ладом веревки у железных кошек! Для приметыванья огню взять, топоры коротки, не бердыши, багры тож! На Всток, но итти стороной, для отдоха гребцам сбавим стругам ходу — челны забегут вперед. Ждать челнам боя пушки, тогда приступать к каторгам — рубить брюхо кораблей пониже верхней волны и еще — всяк десяток челнов идет с есаулом, в одном же будут стрельцы. Я и Серебряков Иван!

— Добро!

— Так, батько, — идем!

Снова свист и голос:

— Козаки! ладь челны в ход.

По свисту и голосу рассыпалось по синему сверкающее черное; голос атамана умолк.

В сгибе с Востока к Северу Гилянского берега в глубоководной бухте, обставленной невысокими горами с мелкорослым кипарисом, сгрудился большой караван судов Гилянского хана. По приказу хана суда ждут рассвета. На большом судне с бортов, украшенном коврами, хан собрал военный совет. На судне для хана невысокий светлый дом из пальмовых досок с полукруглыми окошками в узорчатых решетках рам-стекла.

Внутри ханская палата по стенам и полу крыта коврами. В глубине возвышение, похожее на большое широкое ложе, устланное золотыми фараганскими коврами. На него вели три золоченых ступени. Плотно к стенам высокие резные черного дерева подставки, на них горят плошки с нефтью. Две плошки горят близко к хану на верхней ступени. Лицо хана в мерцающих отсветах огней смугло-бледное, покрытое на щеках и лбу красноватыми пятнами, длинная черная борода переливает синевой. Хан сидит, подогнув ноги, перед ним цветной кальян, но хан курит трубку слоновой кости с длинным чубуком с золотыми украшениями. По правую руку хана юноша, как и хан, одет в голубой плащ, юноша курчав, черен волосом, смуглый, с выпуклыми карими глазами, под голубым плащом юноша одет в узкий шелковый зипун — по розовому зипуну пояс из серебряных аламов [1]) с кинжалом. Юноша сосет кальян. На ложе у сосуда кальяна лежит серебряная мисюрка, такая же как у хана на голове, мисюрка хана с золотым репьем на макушке. Перед ханом в длиннополых бурках, мохнатых и черных, в панцырях под бурками, с кривыми саблями сбоку — в мисюрских без забрала шлемах, стоят вожди горцев и родовитые гиляне. Впереди седой визирь без шлема с желтым морщинистым лицом — седые усы, бурые от куренья табаку, по коричневому в шрамах черепу визиря вьется седая коса, выдавая его горское происхождение. Старик в плаще вишневого цвета, под плащом синее заправленное в голубые широкие вверху и узкие книзу штаны — голубое и синее разделено широким желтым кушаком, за кушаком пистолет. Военачальник и все тюфянчеи [2]) в башмаках с медными загнутыми вверх носками. Зная, что хан не любит унылого вида подчиненных с опущенной головой, а потому начиная с визиря все другие глядят, подняв лицо. Хан молчит. Молчат все. Вынув из рта трубку, хан плюнул в огонь ближней плошки, задымило и затрещало. Хан сказал, как говорят в Исфагани по-персидски:

— Шебынь! сын мой, без панцыря которого так не любишь ты — будешь сегодня отослан в Гилянь. Ты испросил у меня слово — взять тебя в бой, но вижу твое упорство и еще скажу — без панцыря в бою не будешь!

Юноша, кинув мундштук кальяна, встав, поклонился хану, приложив пальцы правой руки к правому глазу, сказал:

— Чашм! так хочет шериф хан, иду надеть панцырь. — Прыгнув, не сходя по ступеням резвой походкой, вышел.

Хан, обводя глазами стоящих, заговорил:

— Шериф Иран! [3]) ко мне прислал отборных воинов; горский князь Каспулат Муцалович, правоверный сын пророка, предупредил, что к Гиляни идут морские разбойники, ход их к нам от острова Чечны, где стояли их бусы, они требовали от князя, стоя у острова, вина, женщин и оружия.

---

[1]) Аламы – серебряные бляхи.

[2]) Тюфянчей – по-русски боярский сын.

[3]) Благородные персы.

Князь, чтоб оберечь берега свои от войны, послал им вина, после того они уплыли к нам. Мы же не ради славы, славы не может быть от победы над сбродом воров! — мы дадим бой и сокрушим навсегда чуму, блуждающую по Кюльзюм-морю — иншалла! [1] — хан перевел глаза на седого визиря.— Али Хасан! хочу знать твои мысли о войске и кораблях моих?

Военачальник приложил руку к глазу.

— Чашм! шериф [2] хан. Люди гор, позванные тобой, в море, воины смелые на суше, привычные к бою в горах и долинах — в море же люди гор, шериф хан, похожи будут на кошку в воде...

— Я, повелитель Гиляни, отвечу тебе вот: — сам великий шах Абас ду [3] позволил мне брать лишь того, кто храбр, и я взял достойных воинов.

— Шериф хан! он гневается на старика, но приказывай умолкну, с непокрытой головой пойду в бой и поведу твои бусы — я не боюсь, не боялся войны.

— Бис иор хуб! [4] говори еще?

— Шериф хан! не по моей, но твоей воле, повелителя Гиляна должно разгрузить от войска бусы, оставить на них низких людей мало, дать бусы на разграбление гяурам. Вместо воинов нагрузить суда тем, что запрещено правоверному кораном: вином нагрузить суда! На берегу же из лучших стрелков сделать засаду — во все годы моей жизни на вино были жадны приплывшие с Севера грабители... потом, когда они овладеют добычей, той, что мутит ум человека и глаза воина делает слепыми к бою из карабина, пустить для приманки на берег перед галерами негодных женщин — они увлекут серкешь [5] туда, куда им укажем и там уничтожим их, иншалла! [6].

— Али Хасан! ты советуешь как гяур, а не сын пророка, ты велишь предать поганым женщин Гиляна?

— Шериф хан! негодных женщин.

— Мне смешно тебе, почтенному сединой, говорить, что негодных женщин в Персии нет! в стране правоверных нет негодной женщины, которая бы пала в объятия необрезанного гяура, и такой нет, которая бы презрела закон, открыв лицо поганым?

— Шериф хан! сколь понимаю я — опасность велика. — С грабителями идет к Гиляни древний вождь, имя его воодушевляет их, как правоверного имя пророка — имя того вождя шериф хан — «Нечаи-и». Еще в юности моей помню — он грабил берега Стамбула, сжег Синоп, как чума пугал и опустошал селения Ирана — пока он с ними, грабители, что идут к нам, непобедимы!

---

[1]) Иншалла — если захочет бог.
[2]) Шериф — благородный.
[3]) Ду — по-персидски два или второй.
[4]) Очень хорошо.
[5]) Серкешь — неподчиняющийся, гордоголовый.
[6]) Если захочет бог.

— Бисмилляхи рахмани рахим! [1]) мы победим, и Кюльзюм-море поглотит их, как падаль.

Выдвинулся вперед один из горских вождей — распахнув бурку, колотя по груди, звеня панцырем, он взмахнул смуглой рукой, сказал также по-персидски:

— Шериф хан! нам, вольным кумычанам, знакомы козаки с далеких рек Танаида — где живут они! Мы в горах много раз побивали их на Куре и Тереке, отсюда проходят они в Кюльзюм. Без числа в горах гниют козацкие головы! Твой же визирь Али Хасан, да простит ему пророк — слаб и стар, он горец, но забыл про свой народ и не верит уже тому, чем славны горцы.

Хан поглядел на молодого вождя — высок ростом, худощав, — на узком, желтом лице горят смелые глаза. Хан встал:

— Бисмилляхи рахмани рахим! будет, как сказал я — и готовьтесь к бою... скоро заря! Я считаю врагов презренными! Имея много храбрых кругом — стыдно говорить о ворах отважным. Выводите в море корабли! Тебе же, Али Хасан, скажу — не ты будешь военачальник в бою — сам я!

Все приложили правую руку к правому глазу, ответив в голос:

— Чашм [2])... шериф хан.

Синее мутно голубело. Корабли, погромыхивая железом якорей, теснились из бухты в голубое, начавшее у берегов зеленеть. На кораблях звучал предостерегающе крик:

— Хабардор! [3]).

На носу челна с гребцами Разин стоит в черном кафтане, левая рука, топыря полу, уперта в бок, правая держит остроносый чекан на длинной рукоятке. Гребцы почти не гребут, многие, схватив пищали и топоры, ждут, когда будет пора стрелять, рубить. — Высокий чужой корабль медленно идет, распустив паруса, по его черному боку отливает синим блеском, и грянул страшный голос:

— Пушкари, трави запал!

На голос Разина со стругов, собранных на море клином, ответили гулом по воде пушки:

— Сарынь на кичку кораблям!

— Алла!

— Мы победим — иншалла!

— Секи днища!

Из голубого неслышно выдвинулись черные челны, как акулы с рыжей спиной из запорожских шапок — нос каждого челна плотно ушел под выпуклые бока вражих кораблей — топоры начали свою работу — в прорубленные дыры в желтом свете запылавшей зари полезли внутрь

---

[1]) Во имя бога милосердного и милостивого.

[2]) Чашм — глаз.

[3]) Берегись!

кораблей казаки в синих куртках; стук, грохот, звон цепей на кормах судов и крики:

— Дуй конопатчиков вражих!

— Приметыва-ай им огню к пороху-у!

— Гей, соколы! плотно держи у кораблей челны.

Боевой челн с атаманом проходил медленно вдоль всего каравана. Разинцы сцепили крючьями персидские суда. На корме челна атаманского среди растопыренных пищалей согнулась в рыжей шапке фигура Серебрякова. Есаул зорко наблюдал за боем на судах, выискивая начальника, найдя прикладывался к очередной пищали, вспыхивали два огня, один освещал лицо, другой на конце дула и редко какой гордоголовый горец или перс оставался в бою — пуля есаула била метко.

— Добро, Иван!

Серебряков кидал в челн разряженную пищаль, брал другую. Стрелец на дне челна заряжал пищали.

— Беру, батько, крашеные головы тараканьим мором!

— Ты — молодец!

Между сцепленными судами шнырял челн, появляясь то с одной, то с другой стороны каравана. В челне на носу с зажженным факелом в одной, с коротким багром в другой руке на поворотах, сверкая кольцом в ухе, мелькала фигура Сережки, среди выстрелов и воя слышался его резкий как по железу ножом голос:

— В брюхо галер — дай огню!

— Чуем!..

— Ладим огонь, ясаул!

— Эге, гори-и!

Над ухом сонного бывшего головы Мокеева кто-то крикнул:

— Ну-тко, Макарьевна! — Хлупнула, сотрясая воздух, пушка.

Мокеев сел.

— Эк-тя убило! Проспал бой?

— Не бежи коза в подмогу — волк наш! — успокоил Мокеева голос.

На корме мотаются две головы; дюжий казак в синем и седой без шапки, Рудаков Григорий — ветер шалит серыми космами старика. Рудаков сказал помощнику:

— Крени, козак, руль во сюды! — закричал, мотнув головой старчески, но задорно: — Гребцы-молодцы!.. Ворога схапили, не шевели веслом.

Мокеев, сидя, шарил оружие, в голове шумело, трезвонило, ухало. Рядом лежали пищаль и топор. Пощупал на груди даренную Разиным атаманскую насечку — успокоился, взяв топор встал.

По голубым волнам плескало парчей зари. Пошел мимо гребцов — те разминают плечи и руки, от голов пар, рубахи черные прилипли к телу, мокрые. Ржавые кошки прочно въелись в дерево больших кораблей, сце-

пленный караван кажется чудищем — иные корабли на боку, на ту и другую сторону щетинятся обрушенные мачты. В дырья на боках кораблей лезут синие куртки. Те корабли, что стоят, — светлеют мачтами, пестреют цветным зарбафом флагов в узорах непонятных букв, и кажется Мокееву, что не люди, ревет сам голубой, желтеющий рассветом, воздух:

— Нечай!

— Секи-и!

Вспыхивают огни и огоньки, трещат, бухают знакомо пищали. В уши лезет родная, многоголосая матерщина и рвется снизу от самой воды стук топоров, хряст дерева.

— Топят? Днища секут!

С тяжелой головой, но привычно спокойно переваливаясь от качки с ноги на ногу, есаул шел вперед, напоминая большого зверя, что идет к сваленной добыче. Мокеев перелез на высокую корму чужого корабля, увидал, что казаки режутся с кизылбашем в «притин» [1]).

— Тихий Дон!

— Бисмилляхи рахмани рахим! [2]).

— Дай подмогу я?

Впереди от воды резнул голос Сережки:

— Гори — чорт!

Внизу корабля страшно бухнуло: вверх полетели клочья, якоря и звенья цепей — персы, кинув резню, побежали на другой корабль, иные срывались в море.

— Конопатчиков бей!

— Еще огню в порох! — звенит голосом Сережка.

— Ио алла! [3]).

— Ио! [4]).

— Мать твою в подпечье — бой проспал!

Зацепив топором высокую корму в золотых закорючках, Мокеев перелез на другой корабль. На палубе судна зеленый, как большой жук с рыжей головой, в полукафтанье, с красным кушаком, утыканный кругом пистолетами, от мачты к мачте перепрыгивал Лазунка, стрелял не целясь — пуля его пистолета била персов под мисюрские шлемы [5]) — промаха не было. Ближе к носу корабля высокий перс с бородой, крашеной в огненный цвет, кричал своим, махал кривой саблей, тыкал ею в сторону Лазунки, видимо злясь, что персы прятались от выстрелов:

— Педар сухтэ! [6]).

— Пожар зришь? Я-те вот! — Мокеев шагнул к персу.

---

[1]) Впритычку, вплотную.

[2]) Во имя бога милосердного и милостивого.

[3]) Боже мой.

[4]) Худо!

[5]) Мисюрский шлем без забрала с металл. подвесками. Миср — Египет.

[6]) Отец твой сожжен в аду! (площадная брань).

— Педар..! — крикнул перс и в трех шагах от Мокеева упал без движения — Лазунка пулей сбил с него шлем, разворотив череп.

— Ох, и меток чорт!

Перешагнув перса, Мокеев забрался еще на корабль.

— Проспал!

Мохнатый с левого плеча, из-под палубы вывернулся горец, сверкнули глаза и огонь пистолета. Мокеева тяпнуло в грудь, пуля, встретив препятствие, взвизгнула прочь.

— Педар сухтэ! — желтая рука сверкнула сталью. Мокеев как бы отпихнулся резко и коротко наотмашь лезвеем топора, не взглянув вниз под ноги, звеня подковами, скользя в крови, пошел. Горец, лежа на палубе, сучил ногами, мелькали медные носки башмаков, его лицо, брызжущее мозгом и кровью, было разрублено поперек.

— Мать твою! Где ж бой? — шагнул еще и, привычно сгибаясь, пряча руки с топором назад — остановился. Поперек палубы, раскинувшись как хмельной, лежал Черноярец, светлые волосы запеклись в крови, наискосок веселого лица застыла кровавая лента.

— Такого парня? а, дьяволы!

— Соколы — кру-у-ши!

По зеленеющему, дышащему влажными искрами, несется голос и как бы в ответ атаману пуще треск, звон железа и запахи моря, смешанные с запахом крови.

— Ихтият кон, султан-э Гилян! [1])

— Живы — иншалла!

— Ио! Шериф хан [2]).

Мокеев слышит рокочущие чужие слова, корабль завален казацкими трупами — по мертвому и мягкому лезет мимо пальмовой палаты... На носу корабля рубятся казаки и стрельцы. Там же не далеко к золоченому носу корабля, окруженный мохнатыми в шлемах, отбиваясь и нападая, бьется с разинцами чернобородый в голубом, под голубым, сверкая, звенит кольчуга — казаки отступают от кривой сабли — сабля чернобородого брыжжет кровью, голубой рукав до локтя мокрый, в крови.

— Алла — шериф Иран [3]).

— Пусти-ко, робята? — Мокеев взмахнул топором: — вот те блин с печи!..

Сабля чернобородого, взвизгнув, сверкнула кусками в море.

— Редко гостишь? — ешь!

Второй удар — резкий и рушащий, как молния; от него из-под голубого белым огнем брызнули кольца панцыря, светлый шлем запрокинулся, чернобородый осел, голубое на нем быстро мокло, чернело — туловище расселось от левого плеча до пояса.

---

[1]) Опасайся, повелитель Гиляна.

[2]) Худо, благородный хан.

[3]) За бога, благородные персы.

— Ио алла! [1])

— Шериф хан? [2])

Мокеев повернул назад, выругался крепко. Впереди горцы, сбросив бурки, падали в море, казаки рубили их. Назади, куда шел Мокеев, кроме своих живых и убитых никого не было — море заливало палубы вражих кораблей.

— Бражник! Черноярца проспал и бой тож.

Мокеев швырнул топор. Еще бегали люди, кричали, где-то сказали чужие:

— Иншалла! [3])

Свои кричали:

— Кто ен? Пестрой, как кочет!

— Брат хана, али сын! — перст его знает!

— А, хан?

— Самого хана Петра Мокеев посек до пят!

— Бою не видал, а хана убил? — лгут!

— Мы-то живы, Волоцкого с Черноярцем уходили.

— У хлеба, брат, не без крох!

— Эх, Петруха! Двух есаулов проспал...

Грянуло в воздухе:

— Соколы-ы! В челны забирай рухледь и ясырь.

— Чуем, ба-а...

— Велит! тащши ханское из избы корабля...

— А ну и кораблик! Хоро-о-ш.

Стали слышны всплески волн — шум боевой улегся. Из тумана смутно желтеющих берегов доносило пряным запахом неведомых растений. Перекатываясь, зелеными всплесками искрилась вода.

— Эх, брат! Да тут и помереть не жаль — не то что на Москве... хорошо...

VIII. В Персии.

Рыжий, длинноволосый, с маленькой огненного цвета бородкой клином, в полосатом — по серому белым кафтане без кушака, с медным крестом, нательным, под ситцевой рубахой, по базарам, площадям и кафам ходит человечек по Исфагани с утра до поздней ночи. Встречаясь с персами, почему-либо знакомыми, весело с оттенком шутовства на веснущатом лице кричит, машет синим, плисовым колпаком.

— Салами алейкюм! — и, не слушая ответа приветствию, лезет в ближайшую гущу людей, везде болтает по-персидски бегло, иногда говорит по-арабски и, протараторив мусульманскую молитву, незаметно отплюнется, скажет себе: А, чирей-те на язык, Гаврюшка!

[1]) Боже мой!

[2]) Благородный хан.

[3]) Если захочет бог.

Если б не его бессменно русский киндяшный [1]) кафтан и колпак московский, так издавна знакомый персам, да вместо тупоносых исфаганских малеков (башмаков) рыжие сафьянные сапоги, то по говору, изученному юрким странником в совершенстве, его бы всяк принял за перса, хотя петушиной фигурой он мало похож на тезика. Перед православными, редкими часовнями рыжий истово бьет поклоны, ставит свечи и, попросив у монаха деревянного масла, мажет им ладони рук и волосы. Вид рыжего глуповато-кроткий, только черные, крысьи, узко составленные глаза зорки и таят не редко затаенную злобу. Смеясь он шмыгает глазами по сторонам. Персы торговцы, сидя на своих прилавках, шутят с ним и охотно дают курить кальян — он знает их поговорки и молитвы. Забравшись в гущу базара в грохот и шум, где ничего не слышно кроме извозчиков с возами на быках или верблюдах, увешанных узлами, не смолкая орущих во всю глотку:

— Хабардо́р!

Рыжий лезет по каменным лестницам, извилистым, пахнущим чесноком, лимоном и потом, забирается в каменные лавки, расписанные яркими красками, где делают чернила, сундуки и продают книги, перебирает арабские, персидские книги, особенно любит книги с «кунштами [2]) фряжскими», торгуется, часто повторяя:

— Бис йор хуб! [3])

Проходя по пыльным, жарким от горячего камня улицам, извилистым с уклонами в гору, под гору, где непременно во втором этаже каменных плоскокровельных домов устроены для проходящих отхожие, откуда жидкий навоз течет поперек улицы, смешиваясь с пылью до поры раннего утра, когда приедут в фурах огородники подбирать унавоженную землю. Рыжий, шагая через жужжащих мух и вонючие лужи, шутит:

— Аллах возлюбил бусурмана, вишь угораздил не ниже, как с колокольны кастить! — оглянется, непременно прибавит: — За то и вера их поганая?..

Завидев проходящую персиянку в чадре и штанах, бежит за ней, думая на бегу:

— Авось с энтой поговорю?

Сорвав с головы колпак, потушив на худощавом лице крысьи глаза, шепчет внятно:

— Курбонат шавам! [4]) курбонат...

Персиянка, покосясь на него из-под чадры, ответит:

— Отойди, гяур!

Рыжий отстав ворчит:

---

[1]) Киндяк — бумажная ткань.

[2]) Иллюстрации.

[3]) Очень хорошо!

[4]) Я жертва твоя!

— У бусурман, Гаврюшка сын Колесников, — тебе не мять бабьих телесов!

К ночи побывав везде где можно, Рыжий залезал в свою каменную конуру. Перед окном без стекла и рамы с одной лишь нанковой, синей занавеской, сдвинутой на сторону, вместо стола гладкий, большой ящик, повернутый верхом в бок, перед ним табурет черного дерева. Усевшись, ощупав табурет, Рыжий, найдя табак, начинал курить, медленно присасываясь к чубуку из желтого рога, трубку с кабаньей головой. Лицо его, беспечное днем, делалось другим, как будто бы куря Рыжий собирал в памяти все виденное им за день. Покурив, густо отплюнувшись на каменный пол, лез в ящик, тащил оттуда склеенные листы бумаги, нащупывал медную чернильницу, гусиное перо — клал. Зажигал стуча в темноте по кресалу две свечи, иногда плошку с нефтью, начинал писать о всем, что видел, слышал во столице шаха Абаса.

Сегодня, как всегда — в тайном приказе узнал, что с торгового двора едут в Астрахань за государевой недочетной по товарам казной целовальник и приказчики. Сунув трубку, упер острые глаза в бумагу, сухая рука привычно побежала по листам, написал подьячий в Москву по неотложному делу:

«Я доброжелатель мой, государев боярин, большой, Иван Петрович, дожидаючи маюсь, а воровских посланцев к величество шаху Абасу нет и должно не будет в скорости — шаха Абаса В-ыспогани нету и мекаю я — воры тож в том известны. От тутошных послышал, молвь тезиков много понимаю, что Стенька Разин с товарищи шарпают по берегам Гиляни и крутятся — то тут, то зде... где что приглядят — я же всеми меры жду их не упустить, а как будут, пристану к ним «что де толмачем вашим буду!» инако к шаху мне пути нет с ними же дойду шаха, скажу ему слово великого государя, как и указано тобой мне милостивец, боярин, и я чего для, государевой службы, рад хоть голову скласти. А чтоб не вадить время в пусте такожде по твоему приказу, боярин Иван Петрович, в междудельи делом малым промышляю и нынче я холоп твой пошел к людям тайного приказу, что на государев двор кизылбашкой товар прибирают, глядел у их книги записные, да лаял меня малого человека, а твоего боярин и государева холопа стольник Федор Милославской, а как я ему, боярин, твой тайной лист вынул, то и тебя милостивец заедино лаял же, ногой топтал, а кричал: «что де он государев шурин и никого не боитца, сыщиков де зачнет ужо по хребту ломить!» одначе я того мало спугався распросил целовальников, что с князь Федор посыланы: Ваську Степанова да с ним ту В-ыспогани в целовальниках Терченин Митька Яковлев, а сказал и убоясь имени великого государя и твоего тайного листа «что де проезжаючи Тевриз город, покрали у их на Кромсарае из лавки русских товаров:

Перво — собольих пупков три сорока по семи рублев — итого 21 р.

Другое — шесть сороков по шти рублев — итого 36 р.

Третие — одиннадцать сороков по пяти рублев — итого 55 р.
Четверто — шесть сороков по четыре рубли — итого 24 р.

А хто те товары крал, тот вор поймался на Кромсарае ж и отведен к базарному Дараге с краденым и по приводу того вора целовальники: Васька Степанов да Митька Яковлев приходя к хану и иным тевризким владетелем о сыску тех пупков били челом и против их челобитья у того вора сыскано и отдано целовальникам только пол осма сорока ценою по три рубли с полтиною.

Всего же великому государю Алексею Михайловичу всея великие и малые и белые Русии самодержцу учинено убытку от служилых людей небреженья — сто двадцать два рубли.

И еще, боярин милостивец, Иван Петрович, есть у тех служилых людей порухи, да о том плотно не дознался — всеми меры буду дознавать. А сказывали мне целовальники, «что де когда крали собольи пупки на Кромсарае, были де мы хмельны гораздо от тевризского вина, а тое вино ставил нам стольник Федор Милославской за послугу» какую послугу делали ему — о том не сыскал да сыщу.

Боярин милостивец! кои вести соберу о ворах испишу без замотчанья лишь бы попутчая на Москву чья пала. Такожде ты о кизылбашах любопытствуешь много, то о их свычаях и поганой вере, о зверях и кафтанах их и челмах обо всем особо испишу. Жалованное от тебя и великого государя из тайного приказу мне за подписом моим дали — пять рублев, десять алтын, три деньги.

Не осердись, боярин милостивец, что не все прознал! — кладу к тому многое старанье и докуку. Подьячей, а твой холоп, милостивец боярин, Иван Петрович,

Гаврюшка Матвеев, сын Колесников».

Разин молча пил. Кроме Лазунки никто не смел приступиться к нему, даже Сережка и тот, издали взглянув на атамана, уходил прочь. На стругах тихо говорили:

— О Волоцком да Черноярце батько душой — жалобит?

Грозный ко всем Разин был ласков с Лазункой и даже хмельной иногда слушал его:

— Батько, а закинь пить!

— Э-эх! пришол я в окаянную Кизылбашу за золотом, да чует душа — растеряю свое узорочье — вишь вот Лазунка — два камени пали в море, два диаманта!

— Ой, батько! хватит на тебя удалых.

Скрипя зубами, Разин углубился в трюм атаманского струга, не раскрывая даже узких окошек на море, не зажигая огня, пил, спал и вновь пил. Иногда, крепко хмельной уставя дикие глаза, куда-то тянул из кармана красных штанов пистолет, стрелял в стену трюма, пуля отскочив барабанила по боченкам и яндовым.

— Наверху — море, солнце, ветер — прохладись, батько!

— Лазунка! к чорту — в тьме душе светлее... Иван, Иван! Михайло...

На корме атаманского судна сидели курили двое седых: Иван Серебряков и Рудаков Григорий.

— Беда, как пьет атаман!

— В породу... — отвечает Рудаков и, припоминая бывальщину, скажет: — Много Тимоша Разя пил, больше других пил, ой больше! иной раз приникнет душей, голову уронит, а спросишь: «пошто так, козак?» скажет: — «хлопец! сердце щиро [1]) — зато горе людское крепко чует...».

Струги проходили медленно, в виду берегов повернувшись назад к острову Чечны. На носу всегда стоял за атамана Сережка, он почти не велел грести, рассматривал берега, поселки и города, будто изучая их. По берегам ездили на вьючных верблюдах купцы с товарами, казаки говорили:

— А кинуться ба в челны, да пошарпать крашеных?

— Тут крашеных мало, больше лезгины!

Сережка слышал говор казаков, но молчал, вперяя зоркий глаз в даль.

В мимо медленно проплывающих городах шумели базары, их шум покрывал всплески моря, рев верблюдов и надоедливо пилящий уши крик ослов, а когда перемежался, стихал к вечеру шум, слышался с мечетей монотонный, тягучий говор муллы, виднелась его фигура в чалме и борода, уставленная вверх.

— Алла...а...а...ху...у...ак...бар!..

Утром струги медленно плыли мимо большого прибрежного города. Все в городе четко и ясно — город белый из белого камня. В море стоит на половину затопленная башня, за ней, начиная с берега, лежат торчмя и стоят большие плиты с надписями, а что на плитах сечено, никто не разбирает — древнее христианское кладбище. К плитам отгороженные рядами камней приткнуты могилы мусульман, виднеются покосившиеся каменные столбы, обросшие мхом с чалмами каменными. За кладбищем серая мечеть, за мечетью поперек города стена, за стеной круче в гору белые плоские дома и в глубине узких улиц опять белая стена, также поперек — за ней домики города тянутся в горы. Перед горами две башни белых, на вершинах гор лед, облака курчаво копошась вьются перегоняемые ветром среди хмурых отрогов.

Сережка стоит пригнувшись, запорожская шапка на затылке — его глаз по орлиному ушел в глубину улиц белого города.

За ним по палубе звон подков и ленивая, как будто волочащая ноги походка. Голос трубой:

— Глянь, атаман!

Сережка оглянулся. Есаул Мокеев Петр тыкал себя в грудь:

---

[1]) Искренне.

— Вишь, батько дал мне золочену насеку...

— Знаю, Петра! хошь быть по чину насеки атаманом, тогда сойду с атаманского места, без спору? — ставай!

— Нет? так што надо?

Сережка снова воззрился на город.

— Не то ты говоришь, атаман!

— А, што? насека атаманска!

— Глянь пуще! ту насеку чорт мохнатой дунул из пистоля, изломил в ей все узорочье... я таки пихнул его топоришком.

— Пихнул? ха, маненько?

— Чорт с ним — пал он! а дар атамана изогнул окаянной, не спрямишь век.

— О-то безумной! да кабы не угодил в насеку, прожог бы тебя скрозь горец, как Волоцкого?

— Може, и не прожог бы... вишь, бой я тогда проспал... рубанул одного черну бороду с пятнами на роже, да и топор со зла кинул — сечь было некого...

— Ты Гилянского хана посек, честь тебе изо всех, — лихой боец был хан, наших он положил много!

— Ну, плевать, честь! а вот не гневается ли атаман, что я тогда хмельной мертво дрыхнул?

— Всяк бился и кажиному на долю бой пал... ты же, говорю, пуще всех! ой, дурной ты — уйди ко, мешаешь только.

— А, нет, не уйду! чуй, атаман, бою мне на долю мало и вот вишь — этот бы городишко нынче взять да разметать? учинил бы я любое Тимофеичу-то, а? давай, Сергеюшко! робята справны, заедино винца шарпонем — кумыки близ... от Гиляни мы в зад пошли, а горцы без вина не живут... кои мухаммедовы и не пьют, да купцам вино держат... продают.

— Свербит, Петра, и меня тая ж дума, только боюсь — батько осердится... сказывал, давать себя будет в подданство шаху, а город тот шахов и тезики в ем живут...

— Ну, чорту в подданство! шах Москву гораздо любит, бояре да сыщики завсе живут В-ыспогани... с шахом миру у нас не бывать! — помни слово.

— А все ж без батьки как зачинать бой? охота, право слово, — к ему же не итти? — спит и пьет...

— Пошто ему сердчать? полно, Сергеюшко! коли в городу бобку найдем, скорее есаулов смерть забудет, а бобка та, что ясырка може сыщется баская? — уж я не упущу, голову складу, а не упущу! ты подумай — чужой город, что вор — у огня взять нече, у вора коли чего краденого с собой нет, хоть шапка худая сыщется, так зачинать?

Сверкнуло кольцо в ухе — Сережка кинул о палубу шапку, крикнул скаля зубы:

— А, ну зачнем!

— Гей, робята-а!

По стругам прокатилась дробь барабанов...

Вечером в городе догорали пожары. От разрушенных строений вилась и серебрилась пыль. От белого города остались лишь поперечные стены, плиты на могилах, да три башни — одна в воде, две у подножия гор и мечеть. На струги по брошенным сходням казаки тащили вьюки шелковой ткани, скрученные ковры, утварь — серебро и медь. Катали боченки с вином и бочки с пресной водой. Потускневшие от ночи цвета голубые, серые, малиновые, иногда оживлялись радостным оскалом зубов, блеском золота и драгоценных камней.

На корме по-прежнему — не принявшие участия в грабеже — сидели курили двое седых Серебряков с Рудаковым. Серебряков сказал:

— К Чечны острову понесло струги?

— Надобно заворотить к Гиляни, да ужо что скажет новой атаман? — справим путь...

— А город-то ладно пошарпали!..

— Винца добыли, а ино чорт с ним.

На носу струга в мутно синем стоял Сережка, его голос резал звонкую даль:

— Гей, бабий ясырь не вязать, едино лишь мужиков скрутить!

— Есть что хрестятся, атаман!

— Хрещеных не забирать, браты-ы!

— Кой смирной — не тронем!

На берегу бубнил голос:

— Робята-а! кинь плаху-у...

Мокеев Петр стоял, держа в могучей лапе узел — при луне фараганский ковер отливал блестками.

— Клеть медну с птичей вишь сыскал?

— Оглазел ты с бою? — велика птича-т, зри баба в узле!

— Робята-а! худы сходни — кинь пла-а-ху...

— Чижол слон! — кидай двойной сходень.

— Давай коли — подмоги-и!

Накидали толстых плах. Струг задрожал. Мокеев перешагнул борт.

Не меняя узла в руке, откинув только часть ковра, подошел к Сережке.

— Глянь, атаман!

Сережка оглянулся и свистнул:

— Добро, Петра!

В ковре сидела полуголая женщина, косы сверху вниз пестрили нежное, как точеное, тело, на правой холеной руке женщины от кисти до локтя блестел браслет, в ноздре тонкого носа вздрагивало золото с белым камнем. Женщина, качая головой сверху вниз, слезливо повторяла:

— Зейнеб, Зейнеб! но, Зейнеб!

— Должно, мужа кличет?

— Петра, толмач растолкует, кого она зовет?.. и чорт боди, где ты уловил такую?

— Хо! я, атаман, как приметил ее на верблюда пихали, кинулся — вот, думаю, утеха Тимофеичу? крепко за ее цеплялись. Аж покрышку с головы сорвали у ее, каки-то бородачи, зрю много их, да бегут еще — сабли востры, сами в панцырях — и давай сечь, кто не отскочил, лег! топор о кольчуги изломил, бил обухом, потом кинул, а с остатку бил что чижолое в руку попало — взял свое... поцарапали мало, да ништо-о!

— Эх, добро, добро!

Сережка встал на нос струга выше, подал голос·

— Дидо Григорей! заворачивай струги в обрат к Гиляни-и.

— Чуем, атаман!

— Ге-гей, козаки! вертай струги-и.

Город, мутно дымящийся туманами пыли и дыма пожаров, разносимых ветром из ущелья гор, казался большим потухшим костром. Над развалинами зеленоватые при луне одиноко белели башни да торчала серая мечеть. Из одной дальней башни с вышины кто-то закричал:

— Серкешь [1])!

— Азер, Азер [2])! — ответило снизу.

В развалинах еще иногда вспыхивал огонь.

— Серба-а-з! шахсевен [3])! — где-то ныло слезно.

Над башнями высоко на горах все ярче разгорались льды — будто невидимый кто-то поливал медленно жидким серебром гигантские гребни. И еще в смутном гуле моря, в стоне, слабо уловимом, в развалинах внизу проговорило четко:

— Вай, аствадз [4])!

Темнело. Рыжий Колесников, обычно приглядываясь ко всему, шел мимо лежащих на земле больших пушек в сторону ворот шахова дворца. Ухмыльнулся, погладил верх пушек рукой.

— Мало от них бою — вишь землей изнабиты, а пошто без колод лежат ржавят?

Над воротами, одна над одной возвышаясь, белели тускнеющие от сумрака раскрашенные с золотом палаты послов и купцов — «сговорные палаты». За палатами и туннелью под ними, пространных сводчатых ворот, сады — оттуда слышался плеск фонтанов, прохладой доносило запах цветов. У начала ворот с золоченой аркой с изречениями из корана синим по золоту, два начальника дворцовых сербазов в серебряных

---

[1]) Ах, господи! (армянское).

[2]) Персидск.: гордоголовый, неподвластный; иногда: бунтарь.

[3]) Огонь.

[4]) Солдат, любящий шаха.

колонтарях [1]) с кривыми саблями. Почетные сторожа стоят по ту и другую сторону ворот. Рядом с ними на мраморных подстаментах в цилиндрических узорно плетеных из латуни корзинах горят плошки, налитые нефтью с фитилями из хлопка. Серебро на плечах караульных золотеет от бурого отблеска плошек. Бородатые смуглые лица, неподвижно приподнятые вверх, отливают на рельефах скул бронзой — от того караульные кажутся массивными, как изваяния.

Рыжий покосился на крупные фигуры персов, подумал:

— Что из земли копаны — медны болваны! Беки шаховы? — и торопливо свернул в сторону от суровых, неподвижных взглядов караула.

Снизу голубоватые, пестрые от золота изречений пелястры мечети, верх мечети плоскими уступами тонет в сине-черной вышине. У дверей мечети справа ярко красный ковер «шустери» [2]) с грубыми узорами, по углам ковра горят на глиняных тарелках плошки с нефтью — недвижимый воздух пахнет гарью и пылью. Спиной к мечети с дальнего краю ковра сидит древний мулла седой в белой широкой чалме — за ним к углам ковра сбоку того и другого два писца в песочных плащах без рукавов, в голубых халатах — один в белой аммаме [3]) ученого, другой в ярко-зеленой чалме. В вишневых плащах без рукавов, в черных халатах под плащами к ковру почтительно подходят мужчины парно с женщинами в чадрах, узорно белеющих в сумраке. По очереди каждая пара встает на колени на песок, стараясь не тронуть ковра. На колени муж с женой встают, держась за руки, встав отнимают руки прочь друг от друга. Мужчина говорит:

— Бисмилляхи рахмани... [4]).

— Рахим! [5]) — прибавляет мулла, не открывая глаз.

— Отец! та, что преклонила колени здесь, рядом со мной, не жена мне больше.

— Нет ли потомства?

— Отец! от нее нет детей

— Бисмилляхи рахмани... — говорит женщина.

— Рахим! — не открывая глаз, прибавляет мулла.

— Тот, что здесь стоит, не желанный мне — хочу искать другого мужа...

— Нет ли от него детей у тебя?

— Нет, отец! он не любит жен — любит мальчиков...

Мулла открывает неподвижные глаза, говорит строго:

— По закону пророка надо пяти правоверных свидетелей о грехах мужа. Без того — твои слова ложь, бойся! — Помолчав и снова закрыв

---

[1]) Доспехи из металл. досок, связанн. кольцами.

[2]) От названия города, где делают эти дешевые ковры.

[3]) Чалма, но более обширная.

[4]) Во имя бога милосердного.

[5]) И милостивого!

глаза, продолжает бесстрастно: — Бисмилляхи рахмани рахим! когда муж и жена уходят из дому, не сходятся к ночи и не делят радостей своего ложа, то идут к мечети, платят оба на украшение могил предков великого, всесильного шаха Абаса, йек абаси [1]) — тогда они не нужны друг другу и свободны...

Пара разведенных встала с земли. Муж уплатил деньги писцу в ученой аммаме, жена писцу, с левой руки муллы, в зеленой чалме. Рыжий сказал про себя:

— У нас бы на Москве по такому делу трое сапог стоптал, а толку не добился! — Он подвинулся в сторону, желая наблюдать дальше развод персов, но от угла мечети, мелькнув из синего сумрака в желтый свет огней, вышел человек, одетый персом, на рыжего вскинулись знакомые глаза, и человек курносый, бородатый спешно пошел в сторону шахова майдана.

— Сэг [2]), стой! — мешая персидское с русским, закричал рыжий, догнал шедшего к площади, уцепил за полу плаща: — ведь ты это, Аким Митрич?

— Примета худая — рыжий на ночь! откуль ты, московская крыса?

— Не с небеси... морем плыл.

— И еще — кто из нас сукин сын? неведомо! мыслю, что ты, Гаврюшка Колесников, сын сукин!

— Эк, осердчал? думал о кизылбашах, а с языка сорвалось на тебя!

— Срывается у тебя не впервой — сорвалось иное на меня, что из посольского приказу дьяка Акима Митрева шибнули на Волгу!

— Уж это обнос на меня, вот-те, Аким Митрич, святая тройца!

— Не божись! не злюсь на то — Волга, она вольная...

— Пойдем в кафу, подьячему с московским дьяком говорить честь не малая!

— Был московской, да по милости боярина Пушкина и подьячего Колесникова стал Синбирской, стольника Дашкова дьяк!

— Все знаю! государево царево имя и отчество в грамоте о ворах пропустил?

— А ну вас всех к матери с отчествами-то!

— Ой, уж и всех, Аким Митрич?

— Да, всех! — курносый сердился.

— Ужли и великого государя?

— И великого царя всея белые и малые Русии самодержца, патриарха, бояр сановитых, брюхатых дьяволов к матери в подпечье!

— Ой, да ты В-ыспогани живучи опоганился, Аким Митрич?

— Чего? коли к поганому в дружбу лезешь? крыса!

Шмыгнув глазами в сумраке, рыжий засмеялся:

— Вот осердился? я сам, глядючи на здешнее, сильно хаю Москву.

---

[1]) В XVII в. туман перс. — 25 р., абаси в 1 тум. — 50.

[2]) Сукин сын.

— И царя?

— И великого государя!

— И патриарха?

— Патриарха за утеснение в вере и церковные суды неправые!

— Ну, коли так, пойдем в кафу, о родном говоре соскучил много!

— Давно пора, Акимушко! чего друг друга угрызать?

— То правда!

Кафа обширная под расписной крышей на столбах, кругом ее деревянные крашеные решетки. У входа за решетку на коврике, поджав ноги, сидел хозяин с медным блюдом у ног, между колен, кальян. Оба — рыжий и его приятель, входя за решетку, сказали:

— Салами алейкюм [1])!

— Ва алейкюм асселям!

— Зачем сегодня плата ду шаи [2])?

Хозяин кафы толкнул изо рта мундштук, щелкнул языком:

— Два хороших мальчики, новы... хороши бачи!

Посредине кафы из белого камня фонтан, брызги его охлаждают душный воздух. Около на коврах красных из хлопка сидели персы, курили кальян — ближе к наружным решеткам в железных плетеных цилиндрах, делая воздух пестрым, горели плошки. Убранные в блестки с нежными лицами, как девченки в голубых с золотом шелковых чалмах, увешанные позвонками с бубнами в руках, голых до плеч, украшенных браслетами, кругом фонтана плясали мальчики лет тринадцати, четырнадцати. На поясах у них вместо штанов висели перья голубые, желтые, с блестками мишуры. По коврам дробно легко скользили смуглые ноги. Часто в пляске перья крутились, мелькали смуглые зады. Иные из персов, выплюнув мундштук кальяна, скалились, хлопали в ладоши.

— Сэг! [3]).

Сквозь решетки кафы со всех сторон глядели с черной улицы бородатые лица, зеленели, голубели чалмы, изредка белела пышная аммаме ученого, но белого среди зеленого и голубого было мало. Когда пляшущие мальчики крутили в воздухе цветными перьями, голоса с улицы рычали:

— Азер! Азер [4])!

— Вай [5])!

Если же, взявшись за руки, плавно, волнисто, сверкая мишурой, смуглым телом и браслетами, колыхались, по толпе бежало слово — тут, там и еще:

— Абан [6])!

---

[1]) Здравствуй.

[2]) Абаси делится на 4 шаи, ду—два.

[3]) Сукин сын, но ласково, хвалебно.

[4]) Огонь! Перс.

[5]) Ах! Армянское.

[6]) Вода. Персидск.

Смуглые ноги, стройные, как девичьи, не уставая мелькали, все больше и больше казалось, что танцуют девочки. Дым кальяна медленно густел, отливая свинцом, уплывал, гонимый прохладой фонтана за решетку в черную даль.

— Винца ба, Аким Митрич?!

— Оно ништо, ладно винца, только по-моему наряду того и гляди не дадут?

— Дадут крашеные черти!

— Наши московиты хуже их, Гаврюшка!

— А все ж таки худ-лих, да свой!..

Потребовали кувшин вина. Хозяин от входа долго глядел на московских, потом махнул рукой. Мальчик, ставя на ковер вино, сказал:

— Хозяин спрашивает — оба гяуры, или кто из вас правоверный?

— Скажи, бача, московиты! — вот он пойдет в Мекку, станет правоверным, — рыжий указал на приятеля, а по-русски сказал: — и пошто ты, Аким Митрич, вырядился тезиком [1])?

— Дело мое...

— Поедем в Москву, придется киндяк таскать?

— Таскай! мне и в шалах с челмой ладно.

— О родном соскучил, ой, ладно ли?

— Чуй, крысий зор! будто не знаешь, что, явясь в Москву, я прямо попаду на Иванову, на козло к грановитой палате и царь с окошка будет зреть мою задницу! Велик почет царя видеть, да только глазами, не задом... здесь вольно — какую веру хошь исповедать, — запрету нет, книгу чти, какая на глаза пала, а в Москве?

— Да... не божественно чтешь, гляди, еретиком ославят и... сожгут...

— Здесь же будь шахсевеном [2]), в вере справляй намаз, ведай две-три суры из корана и не надо всякому чорту поклоны бить... низкопоклонство любит Москва!

— А тут на стрету шаху не пошел, на майдане брюхо вспорют и собакам кинут!

— Будь шахсевеном, — сказал я, — выдти раз два в год, пошто не выдти, даже людей поглядеть?

— Каково живешь-то, Акимушко?

Бывший дьяк размяк от вина, но еще не доверял подьячему:

— Ты, Гаврюшка, здесь не по сыску ли? боярин Пушкин хитер, как сотона, не глядя что видом медведь — бойких служилых в сыск прибирает, а нынче время такое, что сыщики плодятся!

— Не — я с тайным приказом, учет веду государевым товарам...

— Не терплю сыщиков! сыщик едино, что и баба лиходельница блудом промышляет, противу того сыщик.

Бывший дьяк не заметил, что рыжий поморщился.

[1]) Тезик по-московски XVII в. перс., иногда кизылбаш.

[2]) Любящий шаха.

— Живу ладно! дьяческая грамота здесь не надобна — я промышляю ясырем, пойдем коли до меня?

— Ой, друг! пойдем, — вскинулся рыжий.

Черный воздух бороздили мелкие молнии — будто в воздухе висели серебряные невода — везде летали крупные светляки. Пошли мимо каф и лавок. На шаховом майдане горели плошки и факелы, копошились бородатые люди — иные посыпали песком и щебнем майдан, а кто поливал из ведер майдан водой — трамбовали.

— То от конского праху?

— Да... без пыли чтоб, выйдет должно тут шах теши всякие творить, тогда робят из каф созовут плясать перед шаха, змей огненных селитренных летать пустят по майдану... Музыку, что коровы ревут, трубы затрубят...

— Вот энтого я еще не видал, Акимушко!

— Узришь — поживешь...

По узким улицам, забредая иногда в жидкий навоз, — в сумраке, особенно черном от множества летучих светляков, пришли к воротам одноэтажного плоского дома. В доме горели плошки, окна распахнуты, светляки, залетая в окна, меркли! вылетев на улицу, долго тускло светили, потеряв прежний блеск. В узких каменных сенях — в углу горел факел; по-персидски на стене висела надпись: «Посетивший дом наш найдет радость». Дом не запирался. В первой от сеней комнате, застланной по полу красными «шустери», на белых стенах висели плетки, и тут же на крючьях в чехлах по нескольку в одном торчали кинжалы, ножи и ножички, поблескивая от огня плошек на глиняных тарелках у стен. Висели щипцы, щипчики, связки костяных иголок. В углах рядом с горящими плошками на табуретах, резных и черных, стояли бутыли с голубыми и розовыми примочками.

— Уж не лекарь ли ты, Акимушко?

— Да... лечу только одно женское место от лишней руды! [1])

— Какое место?

— Много любопытствуешь! Не соскучал бы я, Гаврюшка, о родном русском — во веки не показал тебе дом.

— Опять сердишься? норов мой такой — все знать.

Прошли в другую комнату. Тут на таких же ярких «шустери» с подушками в пестрых грязных наволочках, раскиданных в беспорядке среди дымящихся кальянов и плошек, горящих у стен, сидели девочки десяти-одиннадцати лет. Иные, лежа в коротких белых рубашках, болтали голыми ногами, посасывая кальян, иные возились с тряпками, крутя подобие кукол, некоторые, прыгая в коротких рубашках по подушкам и ковру, с визгом ловили залетающих в окна светляков. Две смуглых дразнили зеленого попугая в медной клетке на тумбе деревянной в углу —

---

[1]) Руда — кровь: заговор. «ты, руда, не теки, не кань?» Слово от персов - Сефид-Руд, Белая река.

не давали попугаю дремать, водили пером по глазам, птица, ловя клювом перо, сердито картавила:

— Пе-с-дар сухтэ! [1])

Девчонки, когда ругалась птица, гортанно хохотали. Увидав хозяина с чужим, девочки быстро скидали подушки в ряд и будто по команде повернулись лицами к ковру на подушках, выставив до пятнадцати худеньких ягодиц.

— Вот-те, гость дорогой, тут вся честь!

— За здоровьем, Акимушко, — обучил бы ты их хором к энтому виду сказывать мусульманскую суру? — посмеялся рыжий.

Курносый дьяк был серьезен, он обошел всех лежащих на подушках, одной сказал:

— Принеси воды!

Девочка сковырнулась с подушки, юркнула бегом и бегом принесла кувшин с водой.

— Обмойся! — строго сказал хозяин.

Также по-персидски прибавил, махнув рукой:

— Играйте!

Потянув рыжего за рукав киндяка, сказал московским говором:

— Ляжь, Гаврюха!

Рыжий, пригибаясь к полу, ворчал:

— Ой, ой! обусурманился, Аким Митрич — ни стола, скамли, ни образа — рожу обмотать не на што?

Хозяин подвинул ему кальян с угольком в чашечке.

— Штоб-те стянуло гортань, родня, — кури!

Откуда-то вошли, видимо ждавшие продавца ясыря, два старых перса в вишневых безрукавых плащах, в песочных узких халатах с зелеными кушаками с бахромой, под халатами, белые полосатые штаны, низко спущенные на тупоносые малеки.

— Саламн алейкюм!

— Ва алейкюм асселям!

Взяв за руку двух смуглых девочек, стали торговать их. Покуривая кальян, не поворачивая на стариков головы, бывший дьяк сказал:

— Джине. Э! [2])

— Сэ, туман! [3])

— Чахар туман!

— Бис йор хуб! — сэ... [4])

— Сэ, туман...

Девочки боязливо глядели на бородатых стариков. У одного за зеленым, широким кушаком блестел желтой ручкой кинжал, у другого за

---

[1]) Чтоб твой отец сгорел в аду! Заменяющ. наше матерное.

[2]) Хороший товар!

[3]) Три.

[4]) Очень хорошо — три.

таким же кушаком — ручка пистолета. Когда сторговались, один из стариков подошел снова к девочке, выпущенной из рук во время торга, завернул на голову ее короткую рубашку, оглядел тело, что-то сказал тихо курносому. Хозяин ясыря кивнул головой, взял девочку за руку, увел в другую половину, где висели кинжалы, вернулся, — девочка плакала.

— Вот хэльва [1]) — кушай! — сказал старик, спросил: — Справна ли?

— Справна для ложа! — ответил хозяин.

Девочка, жуя клейкую сласть, не могла кричать, только всхлипывала и ежилась, перебирая ногами. Отдав деньги, старики увели девочек — одну из них в окровавленной рубашке. Хозяин, пряча серебро, проводил покупателей до сеней. Когда вернулся рыжий, встретил его словами:

— Знаю теперь, Акимушко, какой ты лекарь!

— Кури, сотона крысья!

— Накурился! а знаешь ли, ссуди мне девченку, в обрат верну скоро! энтим промышляешь — зрю?..

— Сказывал — чего еще? пробовал бачей промыслить, ценят дорого, да, вишь, мальчишку на грабеже трудно ловить, девку проще... тебе пошто девку?

— Место проклятое — лиходельных баб вовсе нету, а плоть бес бодет!

— Персам пошто лиходельницы? чай сам видал — у шаховой мечети кейша дает развод кто прожил с женой не менее полгода... люблю тутошние порядки — все просто и скоро! домов не запирают, вор редок, а попал вор — конец. На старом майдане, где дрова продают, — палач заворотит вору голову на колено, пальцы в ноздри сунет и раз по гортани булатом... ясырем торговать? торгуй — просто! а на Москве указы царские — да годи, — девка денег стоит? — вишь тезики за двух дали, считать на московские — полтораста рублев! Сам я под Бакой у шарпальников Стеньки Разина купил не дешево товар...

— Самого зрел Стеньку?

— Не козаки да есаул были, а добирался хоть глазом кинуть на него, не видал!.. есаул матерой, московской, вишь, стрелец был Чикмаз — удалой парень!

— Где нынче, думаешь, шарпальники?

— Тебе пошто?

— Морем поедем в обрат, чтоб не напороться — беда!

— Сказывали назад к Теркам идем...

— Та-а-к, пошли, Дербень взяли... девку я прошу на ночь, не навсегда...

— Даром все одно не дам!

— Ну, чорт! а каки указы царевы по ясырю?

— Я вот нарочито списал, еще когда в посольском приказе был, хо-хо! указ тот для памяти вон где висит... я кизылбашам чту его, тол-

---

[1]) Сласть, арабское слово.

мачую тезикам московские запреты, ругают много царя с боярами... не знал коли? — чти!

Рыжий быстро встал, глаза забегали по стенам. Подошел ближе к стене, двинул пылавшую плошку, прочел вслух крупно писанное на желтом, склеенном по-московски, листе: «Приказать настрого чтоб к шахову послу на двор никакие иноземцы не приходили и заповедных никаких товаров и птиц и кречетов и соколов и ястребов белых не приносили и татарского ясырю крещеного и некрещеного жонок, девок и робят не приводили, да и руские служилые и жилецкие люди к шаховым и посольским людям не приходили ж и вина и табаку не курили, не покупали и даром не пили, не курили, огней бы на дворе посольские люди в день и ночь не держали».

— А, знаешь что, Аким Митрич?

— Што, Гаврюшка?

— То приказ тайной стрелецкому голове и ты тайную грамоту шаховым людям чтешь и тем чинишь роздор межу величество шахом и великим государем!

— Блядословишь ты, Колесников, сын сукин!

— И теперь девку мне должон безотговорно отпустить, инако доведу я на тебя большим боярам и царю государю доведу же!

— Чую, что сыщик ты?

— Что с того, что сыщик?

— Тьфу, сотона! и завел же я, худоумной, волка в стойло — вином поил... ну, коли ошибся я — давай торги делать, только совесть твоя гнилая, скажешь, не сполнишь?

— Ежели дашь девку — сполню! вот-те святая троица.

— Выбирай — и убирайся до завтрева, завтра верни!

Рыжий выбрал русую девочку, она лепетала по-русски.

— Вот энту! а приведу, запаси вина, напой меня и табаком накури.

— Вишь совесть, говорю, гнилая — за товар с тебя приходится!

— А с тебя за мое молчание и измену мою великому государю!

Рыжий повел девочку, остановился в сенях.

— Чого еще?

— А, вот! ты бы ее чирнул ножичком по своей вере?

— Не старик — чай, без моей помоги управишься!

Рыжий пошел медленно и осторожно. Бывший дьяк сказал себе:

— Коего сотону спугался я? чорта со мной царь да бояра сделают тут!

Ухмыльнулся, спрятав в усы маленький нос, кинулся к открытому окну, закричал:

— Чуй, Гаврю-у-шка-а!

— Ну-у? — донесся вопрос из тьмы.

— Одно знай! по шаховым законам ежели девка помрет или что случится с ей худое — привяжусь я, то палач тебе сунет пальцы в ноздрю-у!

— О, чорт! время к полуночи, а ты держишь.

Рыжий вернулся, сунул на порог девочку, она радостно встряхнулась, как птица, посаженная на подоконник — убежала.

Рыжий, уходя, ворчал:

— Не больно лаком на такое... не баба, робенок!

Курносый, лежа на окне, прислушивался к шагам Колесникова, из темноты шли мимо дома двое черных в куцых накидках, одно остроносое лицо освещалось трубкой, белело перо на черной шляпе.

— Може зайдут немчины? О торге судят! — Служа в посольском приказе, бывший дьяк знал немецкий язык.

Один сказал, идя медленно, тоже раскуривая трубку:

— Ist wol der Armenier reicher denn der Perser? [1]).

Другой ответил:

— Der Perser im Handel kommt gen denn nit auf! [2])

— Всем ведомо, что армянин ловче перса — не ленив... персы с жонами долго спать любят!

Курносый отошел от окна. Его богатство беспорядочно разметалось на подушках. Он лег в середину девочек, стал курить, подумал, гася плошки и запирая окна:

— Лихоманки бывают?.. — поправил на девчонках завернутые рубашки, прикрыл их тонким ковром, удобнее разместив на подушках, и перекрестил.

— Твои бояра ни што мне сделают, крыса? обрежусь, иное имя приму, заведу жон — шах правоверных не выдает, там хоть в стену башкой дуй!

Рыжий поднялся в свою каменную конуру — сел против окна. Не зажигая огня, нащупал бумагу, перо, чернило, стал курить. Его каменный ящик лепился над плоскими террасами. Дом, где жил Колесников, стоял на высоком плоскогорье, перед домом город лежал внизу. Когда шел подьячий, луна стояла за горами с боку, теперь же месяц, выйдя, встал вдоль горных хребтов — его свет на всю шахову столицу накинул светлую чадру. Рыжий глядел с вышины на клинообразный город, положенный, как узорчатые ножны гигантского прямого меча, усаженные алмазами блеска фонтанов во дворах и кафах, редкими пылающими огоньками плошек и факелов.

Рыжий охотно любил глядеть на город. Недоступный ему внутри, город будил сладостные мысли о женщинах востока, зная, что эти женщины для него недосягаемы.

— Курносому Акимке веру, что портки сдеть! меня от чужого претит..

Ближе всего к конуре Колесникова высокие ворота с часами, украшенные золотом, знал рыжий, что часы заводит мастер из русских, что

---

[1]) Армянин богаче перса?

[2]) Да, торгуют ловчее персов!

он же огонь за стеклом в светелке с часами зажигает ночью и гасит днем. За воротами в мутных узорах пестрых красок ряды и лавки купцов— армян, бухарцев и персов. Еще дальше справа и слева верхи каф круглые — золотыми змеями ползут по ним украшения. Там, где кончаются кафы, немного вперед снова ворота — арка ворот без затвора, но поперек снизу их отливает сизым блеском железная цепь — она мешает конной езде на шахов майдан. За ровным и пустым, поздней ночью, шаховым майданом, золоченые ворота в сады и дворцы шаха. У ворот по ту и другую сторону сверкают пятна колонтарей караульных беков — их обнаженные сабли горят, как литое стекло. С боков караульных с подстаментов крупные бурые точки огней... Лунный свет яснеет, ширится, мутносеребристая чадра сдернута с Исфагани. Свет луны, разливаясь в загороженных гранитом и мрамором фонтанах, бродит отсветами по узорчатым дверям, по расписным аркам, пестрит яркой синевой на очертаниях влажных от водяной пыли платанов, кипарисов. Тупые, ломаные тени лежат по узким улицам.

— Гаврилка — буде! ум гляди потеряешь в бусурмании, против того как дьяк Акимко...

Рыжий задвигался, выколотил трубку, вынул кресало, добыл огня и свечи зажег. При огне упрямые мысли не оставляли подьячего. Вон у огня свечи за чернильницей много раз читанная арабская книжка, писанная на пергаменте. В ней ученый толмач перетолковал на арабский с какого-то иного языка поучение женщинам востока: «как быть всегда незаменимой господину своему и располагать своим телом, бесконечно зажигая кровь многоженца любострастием». В книжке были сделанные в красках великим искусником соблазнительные куншты. Рыжий закурил снова, куря припоминал книжку, глядел на город, и ему казалось, что в белом домике, где алмазами отсвечивают фонтаны, собрались в тонких одеяниях жены, прилипли к седому персу в зарбафном халате... счастливый многоженец читает им поучение «о бесконечных утехах любви» и водит пальцем по соблазнительным кунштам. Подьячий, как в полусне, протянул руку к арабской книжке, чтоб еще раз оглядеть колдовские страницы — упала горящая свеча, приклеенная к столу, обдавая огнем пальцы. Рыжий отдернул руку, сказал:

— Так-те и надо?.. бодет Гаврюху бес!

Успокоясь немного, стал писать:

«Жонки тезиков, боярин, милостивец, Иван Петрович, ходют закрывшись в тонкие миткали, на ногах чюлки шелковые аль-бо бархатные. У девок и жонок штаны, а косы долги до пояса, ино и до пят. Косы плетут по две, по три и четыре. Иножды в косы вплетают чужое волосье, в ноздрях кольца золотые с камением и с жемчюги, а платье исподне кафтаны узки. По грудям и около шеи и по телу на нитках низан жемчюг».

— Ой, еще не отлепися бес — мутит! бабье на ум ползет, а пошто трус? давал курносый девку, грех! — девка-т вишь робенок... бусурманам тем ништо! ну, коли дай о звере испишу?

«А милостивец боярин, государев, большой Иван Петрович! есте тут величества шаха город Фарабат, так в том городу, послышал я, кормятца шаховы звери в железных клетях слоны и бабры [1]), а бабр зверь, боярин Иван Петрович, долиной больше льва, шерстию тот зверь — едино что темное серебро, а поперег черное полосье и пятна. Шерсть на бабре низка, у того зверя губа, что у кота, и прыск котовой тот лишь прыск по росту, бабр сможет, боярин милостивец, сказывают, прыснуть сажен с пять. Видом тот зверь черевист гораздо, ноги коротки, голосом велик и страшен, а ногти что у льва».

— Эх, на Москве бы тебе, Гаврюшка, за такое письмо кнутобойство в честь было?..

Рыжий встал, набил еще раз трубку, покуривая долго ходил по комнате, отодвинул дальше арабскую книжку, закрыл ее колпаком. От запахов ночных, сырых и цветочных завесил нанковой синей занавеской окно. Сказал:

— Вот-те все! — отодвинул исписанные листы взял чистый, сел и написал особенно крупно и четко:

«Боярин милостивец, Иван Петрович, сея моя отписка к тебе, а зачинаю с того, что величество шах В-ыспогань оборотил и на стрете его были все тезики, армяне, греки, мултанеи (индейцы), жидовя, я тож был, потому немочно не быти — казнят, не спрося какой веры? Город В-ыспогань, боярин милостивец, стоит меж гор, все едино как в русле каменном».

— Эх, не так зачинаю, — ну, да и спишу узрю — ладно ли? нынче о ворах неотложно:

«Боярин Иван Петрович! вор Стенька Разин с товарищи разнесли по каменю шахов величества город Дербень, и в том городу послышал я от сбеглецов, что утекли с Дербени В-ыспогань, воры убили шахова большого бека Абдулаха с братом и сынами и дочь того бека, зовомую Зейнеб, поймали ясыркой — шаху то ведомо, нет ли, не знаю!.. Допрежь оного воровства Стенька Разин с товарищи и с Сергунькой Кривым, сойдясь на Хвалынском море, посекли суды Гилянского хана и сына ханова в полон увели, а хана убили. Посеча топоры, суды все сокрушили едино, лишь три бусы урвались в целости и то с малыми людьми. Еще, боярин милостивец, сыскался тут Синбирской дьяк князя стольника Дашкова, что допрежь служил в посольском приказе на Москвы и по государеву цареву указу смещен в Синбирск без кнутобойства за подложной лист... и тот дьяк Акимко Митрев сын Разуваев писал о ворах же Стеньке Разине отписку стольника Дашкова во 175 году великому государю, да в той отписке имя государево с отчеством великим пропустил, а повелено было его сыскать за то воровство и на Москву послать. Он же от кнутобойства чтоб, бежал в шаховы городы и нынче В-ыспогани — ясырем, девки малые промышляет. Про великого же государя, святейшего патриарха тож,

[1]) Барс.

говорит скаредно хулительные слова, послушать срамно! да еще, боярин Иван Петрович, межу государем царем и великим князем всея Русии и величество шахом тот сбеглой вор дьяк Акимко чинит раздор и поруху. Исписал тот вор, Акимко, государев приказ стрелецкому головы — имя головы не упомню, а был тот голова у караула ставлен на шахова посла дворе из Москвы, и тот исписанной тайной приказ я зрел очима своима — висит исприбитой к стене его хижи В-ыспогани, тот тайной лист вор, Акимко, чтя тезикам толмачует и бусурманы ругают, плюют имени великого государя всея Русии... Окромя протчих дел укажи, боярин милостивец, как ловче уманить ли, аль бо уловить вора Акимку за тое, великое, мною сысканное воровство?»

(Продолжение следует).

Ночь.

Рассказ.

Всеволод Иванов.

У Афоньки Петрова умер старший брат Филипп. Умер в первый день своей женитьбы. К свадьбе Филипп готовился долго, тесть его был состоятельным мельником, зятя брал к себе в дом и на хозяйство требовал много денег. Филипп вначале мотался по волости, но волость была бедная, деньги не шли, и к тому же Глафира, его невеста, была близко — и тогда он ушел в город. Жил он там год с лишним, а когда вернулся, то ничего не мог рассказать, кроме того, что вывески там черные с золотыми буквами,— может быть, потому, что у Глафиры под соломенными волосами цвели ржаные глаза. Пожалуй так, — оттого-то в те немногие часы, что приходились ему на сон в городе, его ноющее тело всегда видело эти ржаные глаза. И вот, накануне свадьбы добро свое он привез к тестю на собственной тройке с золоченой дугой и с бубенцами. Народ сбежался смотреть на Филиппа, мельник обнял его на крыльце, растроганный, со слезами на огромных близко поставленных глазах — и немного пьяный. Позже приехали на таратайке Филипповы старики: Александр Ильич и Марья Егоровна, тоже пьяные и разговорчивые; все они сидели за столом обнявшись и неустанно хвастались. Старики Петровы говорили, что сын их Филипп упрямый и своего места в жизни добьется, а мельник хвастался красавицей дочерью и гулко, на всю пятистенную избу кричал, что у Глафиры глаза, — что твой колодец и что в молодости и он своими глазами десятки баб завораживал. А глаза у Глафиры, действительно, были как в ружье смертное дуплище, — и она не подымала их на жениха. Филипп сидел рядом с ней, прямой, крепкий, немного бледный, но спокойный, и только в сердце у него словно летала пчела, и редко-редко ощущалась игольчатая боль.

Запрягли опять тройку и поехали в Совет, хотя ходу до Совета одна улица. Записались быстро, и председатель, тоже веселый и без шапки даже, сел с мельником рядом, и тогда весь поезд направился в цер-

ковь. А было начало весны — ленты, которыми были убраны лошади, сыро мотались под ветром; через гривы коней ямщику виднелось ясное небо — и ямщик прогнал тройку по всем улицам села. Воробьи, выбиравшие из заваленок чистые соломинки, любовались на мчащийся поезд; мальчишки гнались за синими комьями грязи, летящими, как облака, из-под копыт и из-под колес; мальчишки быстро устали, лица их стали напряженными, но они никак не могли отстать от поезда, от гремящих весенних бубенцов — и от пьяных лошадиных и человеческих глаз.

Свадьба, вернувшись на мельницу, опять стала пить, кричать песни и хвастаться. Председатель орал, что, если б ему волю, он бы перекричал любого попа — и, действительно, голос у него был необычайно дикий и пронзительный. Филипп сидел также прямо и строго; он только под скатертью схватил невесту за руку и мял руку так, словно хотел выжать всю свою силу, накопленную за полтора года — и не умел. Глафире было больно и приятно, рука немела, и немота переходила на сердце — и все еще не могла она поднять ржаных глаз. Потом молодых проводили до кровати, и мельник долго и неумело плясал перед дочерью, неустанно подмигивая огромными и близко поставленными глазами. Гости совсем было расходились, но как-то замешкались у стола, и вдруг опять начали пить и плясать. Уснувший было гармонист ударил по ладам, а после вышло и солнце и тоже ударило в пальцы гармониста, — и гости свалились кто куда мог.

Матушка Филиппа, Марья Егоровна, пила мало, но ей было веселей и радостней всех, и особенно она была довольна, когда гости все свалились, — тогда она, крестясь, обошла всех и накрыла шубами кого могла. Афоньку, уснувшего во дворе, на телеге, она накрыла двумя тулупами и еще пологом и с радостью подумала, что старость ее будет добрая и легкая и что младшему сыну (а был он пожиже Филиппа и не такой строгий) невесту надо выбрать веселей и свадьбу устроить еще лучше Филипповой, чтобы любовь была крепче. Потом Марья Егоровна вернулась в избу, но спать ей не хотелось, — и удумала она подоить коров. Она взяла подойник и вышла было в сени, но опять радость охватила ее, и она вернулась. Тихо, дабы не греметь, поставила она подойник среди объедков и разбитых тарелок на полу, подошла к дверям горницы, где спали молодые, медленно перекрестила двери — и прослезилась, а прослезившись опять перекрестила. Глухой стон послышался в это время за дверьми, и Марья Егоровна таким же голосом, каким она увещала рожавших коров, проговорила: «ничего, милая, ничего... потерпи». И медленно, подхватив подойник, пошла. А на крыльце она услышала дикий вопль, — и подойник задребезжал на ступеньках. Выбежала в одной исподней растрепанная Глафира, упала старухе на плечо. «Плоха с Филиппом-то, плоха!» — крикнула она. Старуха оглядела ее всю и ласково накрыла ее своей шалью и затем ласково же сказала: «Ничего, милая, пройдет, это у ево от заботы». Она взяла ковш воды, перекрестила его и пошла в горницу. А Филипп, такой же прямой

и строгий, как всегда, лежал на кровати, и только лицо у него было такое, словно он удивился, что за все его муки и терпение он смог получить все-таки обещанную награду.

Его схоронили, и с кладбища уже шли другими. Началось с того, что мельнику показалось — могила будто не так глубока, как нужно, что его и здесь хотят надуть,—он слазил и сам смерил могилу. А идя с кладбища по самым грязным местам, бормотал: «Девку-то как охаял. Теперь по всей волости смех пойдет, разломана жись у девки!..». Старику Петрову, шедшему рядом с ним, хотелось утешить его, и он не знал как — и стыдно было врать, что Филипп не дотронулся до жены. «Ноне все быстро заживат», — сказал он и сам испугался своих слов. А по лицу Глафиры нельзя было понять, что она думает и даже знает ли, отчего умер Филипп, и только один Афонька, нечаянно встретивший ее в сенях, когда в избу вносили крышку гроба, увидал ее глаза и матовый влажный рот. Она остановилась у косяка и так провела рукой по глазам и рту, словно замыкала в себе на всю жизнь ту радость, которую получила в одну ночь. Холодная роса упала на сердце Афоньки, и неожиданно, вбежав в избу, он закричал со слезами: «лучша б мне подохнуть!». Марья Егоровна удивленно посмотрела на него и раздельно, будто на весь мир, сказала: «о, восподи, жисть-то как переклубилась».

На поминках, за блинами, отец Филиппа повел разговор, что тройку-то надо вернуть, — тогда мельник, как будто ожидавший такого разговора, закричал и даже ложкой стукнул:

— Что ж, позор на мою дочь — трех лошадей не стоит? На всю волость смех теперь пойдет — колдун, мол, мельник и дочь колдунья. Кто ее теперь возьмет, — вековушей сдохнет, а то солдаты измусолят...

И неожиданно Глафира тряхнула головой и, обведя всех своими огромными ржаными, так же как у отца близко поставленными глазами, протяжно сказала:

— Видно, от бога так мне... — и не докончила, что ей суждено, и никто ее не переспросил.

Все же старик Петров, подпив, осмелел и начал торговаться и под конец выторговал у мельника одну лошадь из тройки, с упряжью, — а деньги, внесенные Филиппом, мельник наотрез отказался вернуть.

Выторгованную лошадь привязали к оглобле, она бочилась, не шла, а глаза у нее были такие же веселые, как и в день свадьбы. В эти несколько дней в поле многое изменилось. На пригорках выступила зелень, земля пахла травой, и только в оврагах кое-где лежал конопатый изгрызанный ветрами снег. Чуть заметный туман стоял над оврагами. Сразу же старик Петров заговорил о посевах, и что весна, надо думать, будет теплая. Слова у него были такие же, как и в прошлую весну, но теперь Афонька им не верил, и ему тяжело было их слушать. В двух верстах от деревни дорога разветлялась — одна, поуже, шла в родное Афонькино село, другая, пошире и погрязней, вела к станции. Несколько подвод, груженых бревнами, уныло брели; лошади увязали по животы, и тощий мужи-

ченко, необыкновенно искусно свистя кнутом, кружился подле обоза. Рыжая собака визжала, кто знает на что. Афонька посмотрел на них, сердце его защемило еще больше, он спрыгнул с таратайки и сказал, что приедет домой по чугунке. И хотя до родного села железной дорогой было верст сорок, а проселками все шестьдесят, а то и больше, — всегда удивлялись, если кто ехал чугункой. Удивился и теперь старик Петров, но ничего не сказал, а только покрепче натянул вожжи и бочившего Филиппова коня вытянул хворостиной.

Афонька так спешил на станцию, словно там его ждал поезд, а прибежал — и вдруг оказалось, что и спешить-то не стоило, да и, пожалуй, не стоило ехать чугункой. В станции курили мужики, привезшие бревна; два солдата, возвращавшиеся с побывки в казарму, читали вслух «Крестьянскую Газету» и непрестанно прерывали чтение разными деревенскими новостями. (Афоньку в солдаты не брали, грудью как-то не выходил, хотя с лица и был ловок — рот лишь был очень пухлый и длинный.) Афонька позавидовал веселым солдатам, попросил у них кусок газеты, но разговориться не мог. Окна грязные и холодные еле пропускали свет,— и скоро стало смеркаться; до поезда оставалось четыре часа. Сторож, гремя зажатыми в одной руке ключами, стал подметать пол. «Подбери ноги-то!» — неожиданно сердито закричал он Афоньке. И тогда Афонька, махая газетой, тоже закричал и требовал составления протокола. Сначала и мужики и красноармейцы поглядели на него с интересом; думая: или пьяный, или будет драться, а потом отвернулись как-то по-обидному и заговорили о своем. Ссора несколько ободрила его, но вскоре стало опять скучно и начало казаться, что стоявший у печки сторож в грязном тулупе и с грязной метлой в руке выдумывает такую каверзу, которая позволит ему на всю жизнь опозорить Афоньку. И когда сторож вдруг во все горло, так что газета выпала из рук красноармейцев, заорал, что поезд опаздывает на три часа, — Афоньке стало непереносно муторно, и он вышел, сильно прихлопнув громадную дверь. Дул сырой ветер, мелкими каплями неумелого дождя брызгая в косой фонарь подле станционного колокола. Особенная, пахнущая керосином, станционная скользкая слизь блестела под ногами, и словно отражалась в ней вся мерзость сегодняшнего дня; весь этот хриплый шум дождя, простуженный храп железа на крыше, чахоточный свист проволок. Сразу же за станцией, по обе стороны полотна, начинался лес, сосновый, высокий, но теперь тоже какой-то чужой — без гула и запаха, словно укутанный тиной.

Афонька повернул обратно. И тогда-то к станции, медленно и со скрипом, подкатил товарный поезд. Впереди шли теплушки, а в конце темнели широким треугольником две платформы, груженые каменным углем. И то, что уголь везли как песок, не прикрывая и без стенок, — очень удивило Афоньку. Тот же сторож, теперь уже в башлыке и рукавицах, прошел мимо теплушек, освещая все площадки фонарем. Платформы с углем он не стал осматривать. Афонька обежал кругом

паровоза; лысый машинист быстро тянул папироску за папироской — словно воровал огонь. Афонька, ухватившись за плаху, поставленную на ребро и служившую стенкой, прыгнул на уголь. Папироска машиниста, до этого мелькавшая у него в глазах, вдруг потухла, и он вспомнил, что на нем новая стежоная, крытая бобриком серая тужурка, а уголь пачкается. Но плечи его качнулись вперед, и уголь заскрипел под плахой, за которую он держался. Оказалось, что сидеть очень неловко, доска шаталась, тело скатывалось, а уголь мелкий и сырой лез в рукава, за голенища, в носу щекотало, и никак не удавалось нащупать большую глыбу угля, чтобы ухватиться. Вскоре уголь стал подкатываться под него, и казалось, что Афонька будет сидеть сейчас выше плахи, платформа как-нибудь шатнется по-особому — тогда Афонька со всей силой ухватился за плаху.

Золотая кукла искр прыгала в темном небе — выпрыгнет и погаснет. Колеса с грохотом и шипом гнались за куклой; откосы отвечали свистом вдруг проснувшихся сосен, — и когда однажды Афонька наклонился — рельсы блеснули как рога. А доска шаталась все больше и больше, холодела и скользила из рук. Попробовал было Афонька обнять ногами доску, но она совсем скренилась, и тогда он, не помня себя, рукой и ногой начал разгребать уголь. Попалась острая, чем-то напоминавшая льдину, глыба. Но тогда золотую куклу искр остановил разъезд — и начальник разъезда попросил у машиниста папироску. Афонька хотел было вспрыгнуть, но вспомнил свою выпачканную углем тужурку, — и здесь ему пришло в голову, что наверху, на угле ему легче будет удержаться. Он полез. Машинист кинул докуренную папироску, и теплушки опять понеслись вперед.

Афонька увидал, что на угле, в аршине от него, едет еще человек. Когда Афонька, разглядывая его, наклонился, человечек сказал что-то, Афонька, прикрывая ладонью, зажег спичку и поднес ее к лицу человечка. Он увидал большие добрые глаза, костлявое старушечье лицо и боязливо сжатый рот. Афонька прокричал: «бабка, куда едешь?» — И от его крика старуха боязливо и молча оправила за плечьми котомку. Она сидела, охватив валенками большой кусок угля. Места наверху было мало, к тому же под тяжестью двух человек начал сыпаться мелкий уголь, и скоро Афоньке пришлось притиснуться плечом к старухе. Она легонько, варежкой, должно быть, тронула его за бок, а затем осмелела и тронула сильней. Афонька хотел было выбраниться, но в это время свистнул паровоз, а после свистка браниться не хотелось, да и старуха затихла, а вскоре котомкой своей легонько прислонилась к Афоньке. Котомка была жесткая, как будто деревянная, наверное, с сухарями, — и Афонька вспомнил, что будто на поминках брата он видал эту старуху. И он спросил: «Много на Филипповых поминках-то наскребла?» — И опять старуха пробурчала что-то непонятное и жалобное. Вскоре спина у Афоньки заныла, сидеть вдвоем было очень неудобно; и когда поезд задержался на разъезде, Афонька подумал было перебежать на другую платформу, но ведь и там

могли сидеть люди — в темноте соседняя платформа походила на развороченный стог сена. К тому же с фонарями прошли мимо кондуктора, разговаривавшие о непромокаемых плащах. Один из них нехотя сказал что-то о сыпящемся с платформы угле, и тогда из тьмы вдруг раздался злой и басистый голос: «складывают, тоже, лодыри». В голосе было такое презрение и такая власть, что кондуктора молча пошли дальше, Афонька же вздрогнул — и остался на прежнем месте.

— Тебе не здесь слазить, бабка? — спросил он шопотом. Старуха шатнулась вся — и вдруг виски у него похолодели. Так с похолодевшими и тяжелыми висками он сидел долго, пока не понял, что поезд идет очень быстро и что все время он думал о старухе. Вот, думал Афонька, если толкнуть ее слегка в спину, в ее жесткий горб, а затем поддать еще в шею — старуха метнется под откос, и ее место освободится. А то может и она поддать? Но он хорошо понимал, что старуха его не тронет, но все же думать об этом было приятно. И старуха, словно понимая его мысли, зашевелилась — и рука ее в легкой варежке умоляюще шевельнула за локоть Афоньку. Афонька оттолкнул ее, и горб ее затрясся подле его плеча. Засосало сердце — и он стал считать зачем-то до десяти. Но стук колес перебил его счет, и томление и какая-то сушащая сердце злоба нахлынули на него. Синяя широкая туча вдруг обозначилась в небе; он снова поймал свой ненужный счет — «шесть, семь»,—пробормотал он и стал шарить ногой такое место, чтоб упершись можно было возможно ловчее ударить старуху. Нога его вытянулась, кулак сжался, но тут он почувствовал, что ноги его (слегка замерзшие у колен) были охвачены варежками — и горб старухи очутился у его груди. Старуха, взвизгивая, терлась лицом о бобриковую его тужурку. «Бабка, ты что ж, спятила что ли?..» — сказал он, и голос его был такой, что он сам испугался. Он вспомнил, что тужурка будет выпачкана, и стал оттягивать руки старухи, но они с бешеной силой охватывали его, и одна из них зацепилась за карман и ее-то труднее всего было оторвать, к тому же (стороной) подумалось, что старуха испортит карман. И он начал ругаться, и тогда злость скоро схлынула с него, но старуха все не выпускала кармана — и теперь он уже не стал думать о том, зачем ему нужно было сваливать под откос старуху, он стал думать — как бы ее свалить, чтоб вместе с ней не упасть самому. И еще уверенность, что, если он выпустит старуху, ей ничего не будет стоить столкнуть его — охватывала его больше и больше. А старуха становилась все ловчее и ловчее, и уже руки ее ворочали теперь его тело как квашню. И тут-то он вспомнил, что последние ночи он почти не спал — все утешал мать, да и за отцом нужно было следить, что вчера, и сегодня он почти не ел, — и, когда подумал так, у него закружилась голова, ослабли ноги, и он упал всем телом на старуху. Теперь она вся очутилась под ним; он лежал грудью на ее горбу, но все же ее рука по-прежнему крепко держала его карман. И внезапно он припомнил одну деревенскую девку — Марфу — дикое желание накалило его живот (позже только он догадался,

почему пришло это желание: отдаваясь ему впервые, девка также рвала его карман), и то, что желание могло притти на эту старуху — разозлило его до слез. «Пусти руку, карга!» — закричал он. «Не пущу», — вдруг хрипло и раздельно проговорила старуха. И тогда, с матерками — в бога и мать, — стал он плевать ей на горб и на шаль, и чем больше он плевался, тем харчки его растягивались все больше и больше — словно полз из его рта сплошной сладковато-горький ремень. Наконец, рукам стало непереносно больно; шарф сполз на рот — да и дышать было тяжело...

Но тут мелькнул семафор, поезд подошел к станции, тускло заскрипели двери. Старуха опустила руки и скатилась вниз. Афонька растер тело, сказал что-то очень скабрезное и обидное про старуху, спрыгнул (это была та станция, куда он должен был доехать) — до села оставалось еще верст пять. У станционного фонаря он осмотрел тужурку, уголь не так выпачкал ее, как он предполагал, он легко отчистил ее снегом. Афонька, чтоб не встретиться со старухой, не зашел на станцию, а, обойдя ее кругом, направился в свое село.

На другой день было воскресенье, — и опять поминки. Собрались родственники, долго жалели Филиппа и говорили, что все это — порча от войны, что на войне у всех солдат снарядами сердца отбиты. И никто ни слова не сказал о Глафире, а когда все ушли, отец снял зачем-то с деревянного крюка узду и, держа ее в руке, как подарок, сказал Афоньке:

— Как доехал-то?

— Хорошо доехал, — ответил Афонька раздраженно.

По голосу отца можно было понять, что он придумал какую-то ловкую мысль и что, ответив раздраженно, Афонька тем самым согласился с отцом. Так оно и было. Отец хлопнул его уздой по плечу и сказал:

— Вот это я и говорю! Можно и без суда обойтись, скажем, што Филипп-то с бабой вовсе и не спал, не тронувши ее, значит. Законы нонче— что редька, всякий за хвост держит. Стал, значит, Филипп раздеваться,— ну, тут с ним и случилось. Ее ведь раздетой-то никто, кроме нашей старухи, и не видал,— выходит, какая она ему жена!.. Однако по волости может пойти, ведьма и всякие разговоры... позору сколь мельнику. Вот я и говорю, возьмет он тебя, Афонька, в зятья! Старику жить не долго, все на ноги жалуется, а домище-то пятистенный да и к нему мельница о скольких поставах...

— Уж и мельница, — льстиво сказала мать. Ей казалось, что, может наладиться прежняя жизнь, и если Афонька уйдет к Глафире, то Филипп словно бы вернется. Афонька же молча взял уздечку из рук отца и повесил ее на крюк. Отец подождал, думая, что сын скажет что-нибудь; но Афонька молчал, и отец подумал, что всегда-то Афонька, хоть и был шальной, но послушный. Подумав так, он решил, что с лошадьми Филиппа улажено, — ушел.

Мать прошла к окну, на лавку, и, перебирая руками подвернувшееся полотенце и, видимо, стараясь загладить неясную еще ей самой вину,

стала что-то рассказывать. Афонька все еще стоял у крюка и не слушал, что говорит ему мать. Ему было обидно, что так скоро ушел отец, не сомневаясь в согласии сына. Афонька и сам знал, что не откажется, и не мог понять почему. Знал, что ляжет в кровать рядом с пустыми, выпитыми Филиппом, глазами и будет виться — голодным псом вокруг ее тела всю свою жизнь, — а ведь на долгую ж жизнь хватит Афонькина сердца? Сердце у Афоньки не то, что у брата!.. И Глафире уйти некуда, так и она останется подле Афоньки (с ним, а без него) — будет терпеть и ругань, и побои, и темные осенние ночи...

— Ты ето про кого? — спросил он вдруг, вслушиваясь.

— А тут, Афонюшка, нищая на нашем краю показалась. Жись свою всю нам со дня рожденья рассказывала, такая жись — все утро просидели и отойти от нищей нельзя. Глаза-то у ней хоть и старые, а большие да добрые... Страдаю, грит, страдаю, а тут откуда ни возьмись добрый человек появится и добрым поступком пригреет. Так и тебе Глафиру пригреть надо. Нонче, сказывает, едет она на углях, на площадке, значит, а кондуктор мимо шел, позвал с углей, в свое помещенье провел, чаем угостил и еще полтинник на дорогу дал. Думала, грит, земляк, а он совсем из других краев, — просто ласковая душа.

— С горбом она?

— Кто с горбом?

— Ну, старуха-то?

— Известно, котомка либо што в той котомке...

Афонька расхохотался, сразу стало веселей — и мир словно полегчал, словно оперился. Афонька похлопал ладонью по уздечке, переобулся — походка будто изменилась.

Тут пришли парни — и стали звать Афоньку на вечерку. До вечера было еще далеко, но надо было успеть достать водки, с гармонистом сговориться — и с девками. Водки достали быстро, слегка выпили. Пришел гармонист, с новой необычайно звонкой гармошкой. Афоньке захотелось в улицу. Парни, обнявшись и долго толкаясь в сенях, вышли.

День был яркий, пуговицы на рубахах горели словно зеркала. Село их стояло на пригорке и было такое веселое и светлое, словно нарадоваться не могло, что забралось на такую вышину, откуда столько земли видно, что во всю жизнь пахать не перепахать, сеять не пересеять. Подле амбаров парнишки играли в бабки, и бабки блестели в воздухе словно прыгающие рыбы. «Женюсь, ребята, угощаю!» — вдруг закричал Афонька, и тогда парни загудели и, предвидя выпивку, начали угадывать невесту, льстиво выбирая самых лучших девок в волости. И никто опять ни слова не сказал о Глафире. И то, что никто не сказал ни слова о Глафире, наполнило душу Афоньки страшной и непередаваемо веселой тревогой. Он подождал, когда назвали самую красивую и богатую невесту — Аннушку Боленькову, — тогда он вскрикнул: «а, может, ее!.. Ставлю четверть!» — И парни пошли к шинкарке.

Переступая порог шинка, Афонька запнулся, и вновь ему стало непередаваемо страшно и весело. Шинкарки Любки не застали дома, был ее племянник, тощий и худой Митя, прозванный Архангелом; Митя имел сухие, словно высосанные, глаза и говорил, сильно шепелявя. Он дал парням только бутылку водки и деньги спрятал, как баба, в голенище, за чулок. Другую бутылку он не посмел выдать без шинкарки и на вопросы парней ответил, что Любка ушла к школьной сторожихе, а у той сидит какая-то нищая, — «афонские истории рассказывает» — добавил он и как-то нехорошо облизнулся. Парни говорили, что надо обождать, а от выпитой водки у Афоньки еще больше заныло сердце — и он позвал парней к школьной сторожихе.

И вот парни, звеня гармошкой, шли за Афонькой — и солнце за это время, казалось, стало еще больше и низко висело над домами, занимая почти все небо. Сторожиха же, шинкарка Любка и неизвестная нищая уже перешли в другой дом — к вдове Параскевье. Афонька постучал в Параскевьино окно и поманил пальцем — и он знал, кто выйдет. И верно, вышла вчерашняя нищая. Она зевнула, ласково посмотрела на парней. Десна у ней были розовые и в мягких хлебных крошках. Афонька подумал, что она на него не посмотрит, но она взглянула, — и не узнала. «Шинкарку Любку нам подавай!» — закричал Афонька. Но и теперь старуха не узнала его голоса, она молча, все так же ласково улыбаясь, щелкнула щеколдой и ушла. Вскоре появилась шинкарка Любка, грудастая, толстогубая, — и так как люди все были свои, она стала говорить, что водки в городе достать трудно, что она устала от такой тяжелой работы, — видимо, она хотела набавки или просто ломалась перед парнями. И опять Афонька закричал: «угощаю, плачу, бери все, што хочешь!». И на последние его слова из сеней показалась нищая, она зорко посмотрела на широко расставленные ноги Афоньки (щедрость была во всей его фигуре)—и, локтем поправляя за плечьми несуществующую суму, старуха спустилась с крыльца. Она рядом стояла с ним и все еще не могла узнать. Тогда Афонька наклонился к ней и выкрикнул ей в лицо:

— Че-ем, бабка, живешь?

И вдруг, ласковые глаза старухи слиплись, она отшатнулась — и рука ее сделала такой жест, словно она хватала Афоньку за карман. Она открыла было ввалившиеся губы, — но здесь Афонька ударил ее со всего размаха в рот. Старуха качнулась головой легонько влево, но Афонька ударил ее слева в затылок, а когда она упала на землю, он пхнул ее в висок каблуком и отошел. Самый пьяный из парней взвизгнул, ударил было кулаком старуху в бок, но сразу же отскочил и бессмысленно уставился на Афоньку. Парни закричали было — «так ей и надо!», хотя никто не знал, почему ей так и надо, но немного спустя парни вгляделись в старуху. Она быстро-быстро сучила ногами, и парни кинулись на Афоньку. Он не отбивался, а только протяжно мычал и, когда его начали бить, — защищал руками лицо. Били его долго, неумело и как-то растерянно. Сбежалось много мужиков, и никто не хотел вступиться за него,

но никто и не подзуживал парней. Когда пришел старик Петров, Афоньку отпустили, он лежал окровавленный и грязный неподалеку от старухи, сразу ставшей какой-то чистой — ей уже кто-то сложил крестом руки. Старик Петров постоял, погладил тонкую бороду, хотел что-то сказать, — и не мог. Попробовал поднять сына за руки, — и тоже не мог. Тогда мужики, не спеша, молча, взяли Афоньку — и повели в холодную.

Утром его увезли в город. Там, до суда, он сидел сколько нужно в тюрьме, а на суде, когда судья — бойкий и самоуверенный человек, сразу почему-то решивший, что Афонька конокрад, картежник и пьяница, сказал: «подсудимый, ваше последнее слово», — Афонька встал, хотел было рассказать, как он ехал с похорон брата на угле,— но не мог вспомнить название той длинной телеги, на которой везли уголь. Он растерялся, — и многие слова перепутались в его голове. Он начал и долго говорил про каких-то кондукторов, — и врал неумело и зря. Афонька оглядывался, топтался, — никто кроме старика Петрова не приехал на суд, да и старику хотелось пожаловаться, что старуха все хворает, хозяйство сыплется, даже Филиппова лошадь, возвращенная мельником, хромает, сам мельник пьет, Глафира ходит худая, оборванная и богомольная... — старик глядел на него укоризненными глазами. Судья морщился и думал, что Афонька, видимо, убил старуху, дабы скрыть кое-какие грешки, которые она могла знать. «Ничего больше не имеете сказать?» — спросил он бесстрастно и сам остался доволен своим голосом. «Ничего», — ответил Афонька, и тогда-то только пришло ему в голову, что он людям, понятного им, сказать ничего и не может, — и он визгливо, по-ребячески, заплакал. Отец тоже заплакал, а суд ушел совещаться. Суд вернулся быстро. У Афоньки были опять сухие и тусклые глаза, он долго и пристально смотрел на отца, а поклонился судье низко, как отцу не кланялся во всю жизнь; косо ухмыльнулся, и его увели в тюрьму отсиживать положенный ему срок.

Колокола.

(Из хроники 900-х годов).

(Окончание).

Иван Евдокимов.

Глава XV.

В городе были трехцветные и красные флаги. Первый раз шли по улицам меднотрубые оркестры, играя марсельезу. То царь Николай Второй расклеил на заборах, на щитах, на афишных вертушках манифест семнадцатого октября.

В соборе был молебен. Протодьякон долго выводил мохнатой трубой многолетие, и два архиерейских хора ударили рывком в задрожавшие высокие соборные рамы славу. В соборе было негусто народа. Не была черная сотня. Губернатор глядел себе под ноги. Архиерей вяло и устало стоял на красном возвышении под страуфокомиловым золотым яйцом на хоросе, и сам огромно-глазый господь Саваоф-бородач сырел недовольно в купольной нише наверху.

На улицах было веселее. И там не пели многолетие Николаю Второму. Там распутались цветные ленты народа, выросли над улицами красные клумбы флагов, влезли на фонарные столбы, будто черные ученые медведи, ораторы, махали люди платками, флажками с балконов, с террас, с крыш, из слуховых окон, в небе плавали, улетая, будто фонарики, разноцветные детские шары.

На торцовой Думской площади выросли осенние шелковые рощи знамен.

Говорил голова с балкона; говорил товарищ Иван, Егор; говорили адвокаты, врачи, литераторы; говорили фабриканты; говорил немец коммивояжер, продававший до того органы в трактиры и рестораны; говорили прачки, судомойки, ломовики, студенты, гимназисты; говорила классная дама и мещанский староста; говорил ресторанный буфетчик; раскрашенная певичка из кабарэ размахивала собольим боа; говорил старый сивый мерин князь Кубенский-Белозерский и кричал ура государю императору и самодержцу всероссийскому.

Будто не говорила никогда раньше российская земля, будто была нема и глуха она доселе, будто порваны были, как струны в старых клавикордах, голосовые связки — и теперь на митингах, на собраниях, на улицах, на площадях, с балконов, с террас, с фонарных столбов лилось путаное, косноязычное, горячее, чеканное олово слов и серебрились зубами незакрывавшиеся рты...

А еще раньше, еще вчера, стояли фабрики и заводы. На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах вели артелями рабочих, подтыкали прикладами в спины, дежурили по углам конные патрули, и была тишина в улицах, как на замерзшем зеленой стеклянной крышей Чарыме. Не отходили и не приходили поезда. Сорвало телеграфные и телефонные проволоки рванувшим ветром рабочих рук. Магазины, лабазы, склады, торговли затворились ставнями, дверями, замками, запорами. Пекаря не пекли. Извозчики не возили. Не горело электричество и газ. Водовозы гремели бочками на центральных улицах. Нацеживали водовозы скупыми мерками воду в вазы, миски, самовары, тазы, в хрустальные графины. Прачки не стирали. Сапожники навалили в углы колодок и не выдергивали дратвы из заплат. Газеты не выходили. Дворники не мели обраставших окурками, бумагой, огрызками яблоков осенних улиц. Пожарные не выехали на пожар в Дымковскую слободу — и сгорел офицерский клуб с пьяными офицерами. Прискакал туда брандмейстер, покричал, побегал, посмешил равнодушно глядевший народ суетой и не стал дожидаться пожарного конца, утрусил, скрылся...

И было так по всей земле русской. Распалась она на города, на села, на деревни, лопнули жилы телеграфных и телефонных проводов, ржавели рельсы, стояли вагоны с зерном в тупиках, прояснели небеса над фабричными рабочими слободами от дымовых облаков, выглянуло настоящее голубое небо, не шили сапогов, не пекли хлеб, не гнали воду по железным трубкам, кухарки не топили печей и плиты стояли холодными.

Тогда государь император и самодержец всероссийский дрожащей рукой подписал — и лаком покрыли дрожащую подпись — манифест семнадцатого октября.

День за днем кружил по улицам разноцветный, поющий, говорящий город. И уже связывали заклепками на проводах распавшиеся гнезда, натягивали новые проволоки, вагоны вывели из тупиков и по загудевшим опять рельсам развозили армию в хмельные, заговорившиеся города.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах не висели трехцветные флаги, не висели флаги красные. Рабочая слобода была пуста. Она собиралась спозаранку у железнодорожного училища за мастерскими и в ранние, мехом утренников охваченные, часы митинговала... Был там «Совет Рабочих Депутатов»: захватила рабочая слобода казенное здание... Везли и тащили и несли туда оружие — маузеры, винтовки, револьверы, сабли, дробовики, порох... Гнались уж за товарищем Иваном сыщики, прятался Егор у Никиты, и Тулинов жил у старого Кубышкина. Сторожко, сдавливая за пазухой браунинги, крались

из города к «Совету Рабочих Депутатов» и Егор, и Тулинов, и Иван. Миновав людные на чистой городской половине улицы, они открыто, как по гудку, ходили раньше на работу, шли на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах.

— Не верьте, не верьте! — кричал Иван, кричал Егор, кричал Тулинов. — Не забывайте павших товарищей, зарубленных, расстрелянных, застеганных на смерть! Самодержавие сжало зубы. Великая октябрьская забастовка заставила его отступить. Оно отступило, затаилось, оно готовится к прыжку на горло рабочему классу! Организация! Организация! Вооружайтесь!

Шли хмуревшими сдержанными колоннами в город. Заполняли улицы крепкой густотой рядов. Будто выросли темные чарымские камыши и осоки на каменной мостовой.

Виляющей, расхлябанной походкой облепляли рабочих, как елочными украшениями, студенты, гимназисты, дамские шляпы, шапочки, котелки, палантины, шинели, горжеты, боа, кокетливые шелка, отделанных серебром и золотом, знамен кадетской партии, чернила анархических плакатов и картины могутных эсеровских мужиков, поднимающих лаптем тягу земную.

За высокими заборами, в проходных каменных дворах с наглухо нахлобученными воротами, ржали лошади и переступали на асфальтах. Казацкий чуб, ус, как черная трубка, показывался у щелей. И опять ржали лошади, лязгали ложа винтовок о камень, позванивали легкие, скороговорчатые погремки шпор и, шурша и хлопая, терлась о шинель перекладываемая в ножнах шашка.

Рабочие кричали за заборы, в дворы:

— Опричники!

— Охранники!

— Эй, выходи! Чего домовничаете?

— Убийцы!

— Кого стережете?

Высокая волна лилась, укатывала кричавших, кричала смена, и все покрывающая ликующая песня будто зажимала рот, глушила ответы...

А на десятый день полиция заняла «Совет Рабочих Депутатов». Два дружинника стояли на часах и стреляли из маузеров. Их зарубили. Захватили в Совете депутатов от Свешниковской мануфактуры и увезли. Нагрузили на воза литературу, оружие, порох. На Зеленом Лугу рабочие остановили и отбили воза. Гудками на Свешниковской мануфактуре, гудками на маломерках созвал бездомный «Совет Рабочих Депутатов» Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы.

Хоронили дружинников у Федора Стратилата. Несли через весь город по Прогонной, по Толчку, по Желвунцовской. Боевая дружина с маузерами охраняла гроба.

Будто весь городской кумач раздулся кострами на улицах. В холодной октябрьской мути рыдали из клуба приказчиков медные лилии ор-

кестра похоронный марш. Тихими, задержанными шагами, как на неверных болотных зыбунах, шли рабочие. И вилась и плакала всеми чайками с Чарымы, с поемных лугов, с Шелина мыса, из Заозерья тысячетрубная песня...

И снова не было на пути городовых, казаков, драгун... Снова ушло начальство в дома, заперлось на ключи, на цепочки, сникло... И никому не было оно нужно.

Сережка с Олюнькой забежал к дяде погреться в сторожку, приобык немного, закурил... Никита грустно поглядел на него и вздохнул. Олюнька отошла в тепле, согрелись красные руки и на посиневшем лице проступили розовые теплые капли. Кладбище шевелилось, шуршало тысячами ног за стенами. Олюнька звала на улицу. Никита задержал Сережку у порога и шепнул:

— Народу, как песку... Не бывало так. Поди, в земле и то меньше лежит!..

И запнулся. Олюнька вышла, и Сережка заторопился, бормоча на ходу:

— Народу, как людей, дядька! Прощай покеда!

Никита взял его за рукав и сердито сказал:

— Вот она и слобода вашему брату... Ты... ты... как теперь, мое дело сторона? И ходить сюды шабаш? Жалованью... моему убыль...

Сережка юркнул глазами на Никиту. И вдруг сказал приметно, горько, с расстановкой:

— Тебя, дядька, за такие слова уко-кошить мало.

Никита выпялил синевшие глаза под кудлатыми сивыми бровями, как торчащий бараний мех в дырявой рукавице. И Сережка сразу усмехнулся:

— Носить тебе не переносить еще денег, дядька, за квартиру! Помалкивай, знай! Полощи себе брюхо бальзамом. Свобода липовая! Господская!..

— Гумага, значит, одна? — весело спросил Никита.

Он не ответил, не оглянулся, догоняя Олюньку. Никита стоял на крылечке. Потухла у него цыгарка и шелушилась прогоревшая бумага на кончике. Держал Никита цыгарку мокрыми губами, жевал и удивленно глядел на черный людской поезд без конца, без края топотавший в ворота.

Бежали обратно зазябшие колонны, как школьники бегут по пересыпанным ночной метелью дорогам в полях. Окоржавелыми руками держали знаменосцы древки и скручивали красными зонтами.

«Совет Рабочих Депутатов» заседал всю ночь в ночной чайной на Числихе. Пришли к полночи дружинники, отвели хозяев и гостей в боковушу, заперли, задвинули ставни в чайной, погасили огни по улице — и в заднюю половину, через двор, собрались депутаты. Не было у «Совета Рабочих Депутатов» своего помещения, и каждую ночь он передвигался с квартиры на квартиру. Табельщик Митрофанов в маленьком деревянном сундучке копил и хранил «дела» Совета Рабочих Депутатов.

На Свешниковской мануфактуре, на маломерках с ночи поставили полицейские караулы: гудки не закричали утром. Тогда по Зеленому Лугу, по Числихе, по Ехаловым Кузнецам побежали гонцы. Ребята кинулись по заледеневшему фашиннику, гомоня и стуча в рамы, в ворота, в трубы.

Уже захлебывались улицы народом, а ребята оббегали концы за концами, кричали по дворам, в пустых переулках, стучали по трубам, палисадникам, опушкам, путались, стучали по два, по три раза. Забыла полиция маленький масляный завод на Кузьне, и он загудел тоненьким своим свистуном.

Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы вывалились через бульвары на Прогонную, снимали приказчиков, винный склад, колбасные, типографии, булочные... Снова встал город на ноги, забарахтались улицы, дома, полицейские будки, извозчики... Словно в ледоход несло по улицам мутное, темное течение. И снова красный огонь знамен, чистый и ясный, бездымными факелами показывал дорогу.

Рабочие шли к тюрьме. Они несли на качливых коромыслах из белого железа с красной дорожкой поперек плакаты...

Толпа перешла мосты через Ельму, обогнула старое городище, и желтые башни замка, будто поднятые на высоту широкогорлые круглые чаны, преградили дорогу. И сразу перед коваными железными воротами выпрямилась серой натянутой веревкой шеренга солдат. Где-то проиграл трескуче рожок. Солдаты взяли на изготовку, ожидая... На ходу, на первом перекате Марсельезы, офицер крикнул... Залп отчетливо, ярко, раздельно хлестнул по трубам оркестра. Трубы, будто раздвинулся куст лилий, мотнулись, развалились, повисли чашечками книзу, а из них вытекли живые человеческие крики, большая труба постояла немного кричащим рупором — и груда измятой, блестящей, дырявой меди задрожала на земле.

Толпа опрокинулась на спину... И как поворачивала, пригибаясь, залпы кинулись вдогонку, крошили, рубили, пронзали стальными горячими иглами, кидали людские волока на старое городище. С Прогонной наскакали казаки, драгуны — и началась сеча. Толпа была заперта в огромные каменные сундуки улиц. Она ломилась в ворота, в дома, в окна... Били ее у ворот, выталкивали из окон, она прижималась к стенам, царапала их, ползла у фундаментов, пряталась за тумбами, за палисадниками, под навесами парадных... Дружинники выломали ворота у одного дома, сгрудились около дыры и встретили казаков частым браунинговым огнем. Упали, раскраивая головы о мостовую, первые всадники — и казаки сразу повернули, понеслись, столкнулись с драгунами, смешали их, завернули... В передышку, безумевшие люди вырвались в переулки, в проходные дворы, в сады, поплыли в замерзавшей Ельме, неся по городу жуткую молву.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах плакали бабы, не находя мужей, братьев, отцов. Черная сотня в тот вечер оска-

лила белые клыки и куснула. Из дома Всемилостивейшего Спаса Степка Жила вынес портрет государя императора и самодержца всероссийского — и пошли. Били резиновыми тростями, палками, дубинками гимназистов, студентов, гонялись за евреями, разворачивали магазины, квартиры, волокли евреек при матерях и мужьях в сараи, в дровенники, под лестницы на Прогонной, на Золотухе, в Дымкове, на бульварах. Губернатор вышел на балкон, открыл стеклянное окно и держал речь...

Пришли вечера темные, снежные, пьяные. Чарыма снаряжало снежные корабли от Николы Мокрого и посылало на город. Корабли роняли белые паруса, снасти, обваливались сугробами корпусов, загружали дороги, горбыли, настилали пухлые тяжелые насты...

Государь император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, князь тмутараканский и проч. и проч. поехал на богомолье к Троице-Сергию, поехал в объезд по великим и малым городам умиренной империи.

Закулачили ноябрьские стужи, занесло Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы, как ни в один год не заносило. Готовилось Чарыма к полноводному весеннему разбою. Таился «Совет Рабочих Депутатов» на задворках, сходились, захватывая просторные барские квартиры, особняки, подгородние дачи — и исчезали. Митрофанов хранил сундучок.

На Свешниковской мануфактуре, в мастерских, у мыловаров, у кожевенников прибывали дружинники. По чердакам, под полами, под порожками, под опушками потели до поры до времени укладистые браунинги, неповоротливые берданы, тяжелодулые винтовки, щеголя-маузеры. В сараюшках, в вырытых ямках, под дровами, в ящиках, в корзинках дремал гремучий огонь толстобрюхих бомб килами, ведерками, чугунчиками, пироксилиновые пряники-шашки и черная мелкая пороховая икра.

А небо висело такое гладкое, мирное, нежное, в серебряной сбрус с наборными камнями звезд.

Глава XVI.

В Москве, на Пресне, шел летний ремонт с подвесных люлек: шпаклевали и перетирали декабрьские раны тысяча девятьсот пятого года. Стропилили, крыли новым железом крыши, развозили закоптелый, покропленный кровью, кирпич на бульвары, разбивали его на щебенку, выгибали бульвары на рабочей крови кривым рогом, красили тоновыми колерами горячие летние лбы домов и золотили дырявые, прорешные церковные купола. Пресня переодевалась.

Опять дружинники хлебали из общего рабочего котла нищету, долгий солнцеворот рабочего дня, безработицу, сырой сон подвалов, вороватые ночные обходы жандармов по указу его величества... Декабрьских дней не было. Праздновали царского Зимнего Николу. Жгли

иллюминации на Пресне, и звонили древние колокола над Москвой, как при царе Алексее Михайловиче. Егора звали Степаном. Жил он в Москве, на Пресне, третье лето. И будто на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах в шесть утра будили гудки, и он бежал по колкой каменной мостовой на фабрику. Кончали в вечерние зори на фабрике, и он кружил по путаным, как у спящего человека волосы, московским улицам, тупикам, переулкам в Замоскворечьи, в Лефортове, на Девичьем поле, на Таганке, на Арбате, взбирался по черным, будто закопченые трубы, лестницам в каморки, проваливался в дыры подвалов, плыл, отдыхая, на громыхающих флигелях конок в Сокольники, на Воробьевы горы. Лежала в кармане темносиняя бессрочная книжка Степана Петровича Ежикова, мещанина города Козельска, особых примет нет.

А потом на Пресне шел летний ремонт, убирали лохмотья рабочей власти, ночью была облава... Взяли Степана Петровича Ежикова, повели, посадили, повезли... Пришел некий человек в камеру — ходил он по Зеленому Лугу, по Числихе, по Ехаловым Кузнецам по своим надобностям, поворотили к свету, зорко шмыгнул человек в глаза, просмеялся, будто смеялись не тут, а за дверями, просмеялся и сказал:

— Да, это он: Егор Яблоков.

Чарыма синело в узкую книжную четверку решетки вторым вечерним небом, а ночами на островке зажигались, как устье печки, костры. Егор слышал далекий гул Свешниковской мануфактуры и не были слышны маломерки, только будто миндаль на прянике плыл гул Свешниковской мануфактуры отдельно, а под ним что-то гудело неуловимое, широкое, развернутое крылами.

Егор опять был со своими. Будто тут, рядом, за дверями начинался вихрастый фашинник Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов. С Чарымы часто дуло прогорклым сырым ветром, болотными туманами — и тогда Егор втягивал насторожившимися ноздрями родной запах.

Года не проходили. Он еще вчера проскользнул по Кобылке к Девичьему монастырю, прокрался по стене, выждал в повороте башни, баранья папаха была, как густой куст репейника, не примечала, прислушался к затихнувшей стрельбе на Зеленом Лугу, едва различимые полуночные тропы вели к насыпи. Егор быстро пошел, перекинулся через насыпь — и зашагал настами к Чарыме. Он шел всю ночь. Дубленый пиджак был подтянут зеленым кушаком, папаха сидела копной на голове, заиндевела, протекла потными протеками на лицо. В карман сунул накануне товарищ Иван темносинюю книжку, прижался к ней теперь морозным боком браунинг, как верная собачонка.

Ходили по Чарымским дорогам рабочие на побывку в свои деревеньки, носили папахи, носили дубленые пиджаки с красными, голубыми, зелеными кушаками... Егор шел на побывку в места глухие, в Заозерье, за Николу Мокрого. В торговом селе Большие Пороги — шла тут дорога в Заволочье — купил Егор малый сундучок на базаре, чайник... Спустил задешево папаху, пиджачонко с кушаком, перерядился в пальтишко,

в вязаную шапчонку, переночевал на постоялом дворе — и еще отшагал двадцать верст до станции.

Скакал Егор на станциях с чайником, цедил куб с кипяченой водой, полоскал брюхо теплом, ехал-ехал-ехал в Москву. Была явка в уме, как родинка на шее за воротом — не смоешь, не покажешь, не позабудешь. Года не проходили...

. . . .

В декабре на Свешниковской мануфактуре ввели две смены за дни забастовочные, за дни прогульные, вернулись старые мастера, на желтых дверях в конторе вывесили расчетные белые флаги, будто вывели за ворота, на мороз, две тысячи ткачей и пнули коленком под зад.

Фабрики и заводы встали. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы пошли в город. В рабочих стреляли. Тут напали рабочие на оружейный магазин, разнесли, разбили, побежали с оружием в рабочую слободу и вкопались на бульварах... Дружно, нажимом, дубинушкой повалили первую конку на рельсах... И пошло... Согнали по бульварным линиям конки на выходы с бульваров, согнали извозчичьи сани, потащили доски, кадки, ведра, корзины, железо, кирпич, заскрежетали пилы по телефонным, по телеграфным столбам, лопнули проволоки, перекочевали бульварные прямые, как нитки, решетки на перегородки к баррикадам... Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы оторвались от города.

Баррикады вырастали по улицам черными сугробами. Будто шла долго черная метель и выпирала земля черные бугры дерева, железа, проволок, дранки, камня. Встали баррикады на объездах с полей в рабочую слободу: копали там мерзлую землю, били скорые сваи, заваливали, рыли окопы...

Как отстегнули коней от конок, погнали их верхами вожатые в город, спутались конки путями во всем городе, заставили рельсы недвижимыми флигелями, словно посредь улиц пролегла новая городская стройка, словно из одной стало две улицы, две Прогонных, две Золотухи, две Кузьни. В морозной темноте зажглись на баррикадах красные фонари флагов. И казаки сделали первый налет на бульвары. Разошлись кони скаком в серебряной пыли, как булькала и бурлила под ногами пена в водопаде, надвигалась издали, оставалась позади густой гривой горбатого потока.

В дыру баррикады, вымеряя глазами непроскаканный конями клочок земли, наблюдал Егор. Дружинники замерли, подпуская казаков. Казаки наскакали, навострили пики... И невидимые, вертлявые, въедчивые пики выкинули сухие маузеры... Казаки накололись. Егор снял хорунжего. Он перекинулся на спину, свис в бок, конь понес, хорунжий запутался ногой в завернувшемся петлей стремени, и долго хлопалась и прискакивала на дороге голова хорунжего, будто хотел он вскочить в седло, всплескивал руками, поднимался, обрывался, конь скакал, и он стучал и стучал обмягшим затылком о ледяную корку...

Маузеры зачастили. За баррикадами бились раненые кони, стонали и царапали снег раненые... Казаки опрокинули лошадей и, рас-

сыпавшись, кинулись обратно. Маузеры догоняли, торопились... Егор тревожно закричал:

— Стой! Стой!

Дружинники повернулись к нему, не снимая маузеров с плеч.

— Ребята, надо бить наверную! Патронов нам не подвезут со складов. Пуля, как золотой. Бить будем у загородки, в лоб... Гляди, опочинились на первый раз ничего!..

Прорывали войска баррикады с налета на других концах Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов. Сидели за каждой баррикадой горсточки дружинников, отбивали дробовиками, бульдожками, редкими маузерами...

Ночью захлебнулась рабочая слобода народом, хрустел и шелестел и скрипел ухоженный снег, стучали топоры, пилили, волокли, копали, строили новые тесные баррикады ряд за рядом, перегораживали от стены до стены ночные улицы, лазили в лаз сбочку на пробу бабы, подтыкали их взад дулами ружей дружинники и смеялись. Бабы были в теплых, завернутых на голове, шалях.

— Ну, толстоголовые! — кричали рабочие. — Не мешай! Пеки пироги, знай! Тут дело не бабье!

— А мы в сестрички! А мы в сестрички! — отшучивались бабы.

«Совет Рабочих Депутатов» заседал в поповском доме у Богородицы на Подоле. С высокого балкона поставили прямую мачту, привязали ее железными увязками к князьку и прибили по рубчику красный флаг. Он заплескался утром над Зеленым Лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами. Будто плыла рабочая слобода по земле на тысячах кораблей, трепал встречный ветер флаг и мешал итти кораблям.

Ночью закоченели мерзлой капустой мертвые казаки перед баррикадой, раздуло и заморозило лошадей, раненые отползли недалеко, кончились и застыли. Дружинники чутко перелезли поверх баррикад, подкрались кошками к трупам, сняли винтовки, шашки, револьверы. И заспорили, деля оружие.

— Я из винтовки. Я в солдатах был. Маузер, это — чиркалка, а не оружье.

— Невидаль какая, в солдатах был! А я охотник какой! Птицы нет — и то птицу застрелю.

— Мне винтовка, тебе и берданка хорошо.

— Ложа у тебя за бороду задевает!

— Отстаньте, ребята, — сказал Егор, — дело только начинается, стеречь надо каждое лишнее слово, а у вас зубной доктор, зубы глядит. Гляди строже в темноту!

Егор говорил, не отрывая глаз с темневшей пустой площади. Дружинники пошептались и замолкли.

Вылезали и в других концах за баррикады, снимали с убитых солдат оружие. На Зеленом Лугу вылезли, поползли. Солдаты встретили от Винтеровского моста жадной бесшабашной стрельбой. Полежали,

пригляделись и, не подымаясь с земли, тянули винтовки, а потом волокли за собой в лаз.

За ночь густо обстроились на баррикадных улицах. Будто проводили по улицам канализацию, разворотили, распороли брюхо земли, вывалили кишки наружу, и свернулись они поперeком.

Мороз глушил. Развели скупые костры на дворах, бегали попеременно хлопать рукавицами, палить руки, поворачиваться спиной, брюхом, совать валенки, сапожонки в огонь. Вестовые-подростки гоняли с одного конца на другой. Разбирали новое оружие новые дружинники.

— Куды ты, куды ты! — держала за рукав баба. — Поковыряли земельку, помогли — и будет. Григорий, останавливайся!

— Иди спать, — сердился дружинник. — Ребята одни остались Пробудятся и жильцов перебудят за перегородкой.

Баба хныкала.

— И стрелять-то ты не горазд... Зря ружье займешь. Отдай, у ково глаз есь. Пойдем домой. Непроворной солдат мишенька для пуль.

— Сама ты непроворная! Катись! Не срами при народе, полохало!

Баба прижала к себе, охватила с руками спереду, ерзала на спине толкающими пальцами.

— Изрубят, изрубят, в кашу изрубят тебя. Ой, я несчастная вдова... с малым... соплюнам... куды я денусь-то?..

Григорий окунывался в близкие глаза, встряхивался, вел бабу в проулок, толкал в спину и зло шептал:

— Застрелю, суку! Где бы... поддержка... Тут сердце выворачивает!..

Баба оставалась одна. Она долго стояла, мазала на замерзающих щеках слезы, выглядывала вслед скрипевшему валенками Григорию, крестила ему спину и тихонько шла думать, не спать над раскидавшимися в тряпье ребятишками.

На Числихе, на баррикаде, разговаривали ткачи:

— Спит, поди, теперь, ребята, Свешников на золотой кровате?

— Да-а, спит! Держи карман! Казаков поит из своих ручек на нашего брата.

— Не-е-т! Сегодня никто в городу не спит, зенки не закрывает. Любопытство, брат, это — болезнь. Прилипчивее бабы...

— Ребята, будто кашлянул кто?

Дружинники заглядели всматривающимися сверлящими морозную ночь глазами.

— Это я, — проговорил ткач у сторожевой дыры. — Тишина, как на небе, а не на земле: спать охота.

Будила баба прилегшего на кровать мужа в Ехаловых Кузнецах:

— Постыдись! Постыдись! До сну ли теперь? Другим больше надо?

— Дай отойти-то, неуемная. Мороз на спине ровно кожу обдирает.

— Больно долго обдирает: спина-то у тебя с крышу? Пыхнул раз — она и обогрелась. Коля, итти надо. Мне глаз не поднять на соседей.

Баба снаряжала кузнеца, укутывала его тепло, давала байковые нарукавники, одергивала, сама завязывала пестрый шарф на шее...

— Береги себя, Коля, — прилипла баба утешающим поцелуем.— Может... все и хорошо обойдется.

Коля долго шел к «Совету Рабочих Депутатов», останавливался, курил, думал, поворачивал обратно и опять шел. В «Совете Рабочих Депутатов» несли дежурство трое рабочих и товарищ Иван. Сидел Иван за письменным столом батюшки, поблескивал стеклышками и, как водя носом по бумаге, писал и откладывал в сторонку маленькие исписанные листки. Стояли на столе фотографии матушки и батюшки, лежало с красной муаровой закладкой малиновое евангелие, стояла горкой золоченая бумажная игрушка, Киево-Печерская лавра, и над столом, с панагией, с орденами, в митре, в черной раме висело сухощавое, костяное, игольчатое лицо митрополита Филарета.

— У Параскевы пятницы народ нужен, — говорил дежурный, — иди туда. Чего тебе? Выбирай в углу амуницию.

Там стоял небольшой пучок ружей, сабель, а на полу лежали грудкой револьверы.

— Патроны клади в карманы. Оружие бери на одного. Одним бойцом будет больше.

Коля уходил с винтовкой.

— Кышкни, там, на улице народ: зря-де в Совете оружье ржавеет. Сто тысяч народу с бабами живет в слободе, а, поди, двести человек в дружине...

Спокойная, как лежит недвижным пластом в золотых доспехах Чарыма в безветряные июньские дни, была эта первая баррикадная ночь. Не отбивали часы в церквах, не свистели городовые, не ездили ночные извозчики на прыгучих глаженых полозах — город застыл, вымер. Глядели сквозь мутную пряжу облаков непонимающие звезды: ясные детские глаза, открытые под цветным пологом, сияющие за радужным зайчиком...

— Подкрадываются, ребята, — шептали дружинники друг другу.

— Виданное ли дело с генеральской храбростью оставить не при чем слободу?

— Тут минута дороже денег. Нам ли давать крепости строить?

— Тянись, товарищи, ухом и брюхом. Удар обдумывают...

— Зады-то у нас как?

— Все равно не живать, кажись, на свете!

— Другие за нас поживут всласть: не мерзни боле на морозе! Эх! Поддержат ли, братцы, другие города? Весточки, поди, полетели! Партия на што другое, а заварить кашу нигде не откинет... Послала давно...

Члены «Совета Рабочих Депутатов» оббегали баррикады, совали патроны, вели бойцов, проверяли караулы... Шевелилась всю ночь рабочая слобода, будто была она городским сердцем, сердце работало, билось,

подымало грудь, а город, как мертвое туловище, был недвижим, раскинул длинные ноги улиц, переулки рук.

К утру пошел снег. Распороли ветра́ пуховые перины облаков, подули ветра́, повертелся сначала мелкий колечками легкий пушок, долго не садился, пылил, потом свалился комок слежалого, покрупнее, пуха, а потом вывалили перины, тряхнули распоротыми наволоками и повалило-повалило-потекло... На баррикадах, как на крышах, укладывался чистый, усатый снег, укладывался на папахах. Дружинники больше ничего не видели перед собой; не видели и с той стороны ничего. Казалось, не было баррикад, города, земли, а только летел откуда-то и куда-то и зачем-то снег. Снег спутал дороги, улицы, площади. А в путанице на баррикады стали натыкаться мужицкие лошади. Мужики правились до свету на базары, на Толчок, на Грибное болото, к Казанской и натыкались, тпрукали, вылезали из саней с бранью. На Кобылке сгоряча сами выстрелили ружья: свалилась лошадь, подстрелили мужика. Вылезли за баррикады и осветили фонарем. Мужик ворочал большими плачущими глазами и стонал, хватаясь за груди:

— Ой, робята! Ой, робята!

Два дружинника виновато понесли его на брезенте, стянутом с воза, в Совет. Казалось, сами они уныло и безнадежно стонали с мужиком вместе, и вся мужичья боль, отчаяние, укор были своими. Дружинники не донесли мужика до Совета. Мужик вдруг зачмокал губами, кровь вышла через пальцы густыми суслом, глаза моргнули и встали... Остановились и дружинники.

— А! А! — горько махнул один рукой.

— Куда его теперь?

— Куда, куда? В снег — и крышка. Будешь долго думать — все равно не воскресишь. Ну, всыпался — и ничего тут сделать нельзя.

— И мы тоже!

— Мы же... мы же не хотели... Э-эх! Жалко мне его!.. И себя... жалко!

— А в снег не годится. Снесем в Совет. Пускай там важдаются с ним. От нечего делать поп кстати отпоет заупокойную обедню.

Дружинники понесли мужика дальше. В «Совете Рабочих Депутатов» оглядели его, товарищ Иван потрогал голову, обстригли крючки на шубенке, развернули полы, расстегнули пиджак, разорвали рубаху — на груди, недалеко от сердца — будто вырос третий сосок, чернел тупой сгусток крови.

— Неси на улицу: помер, — сказал дежурный. — Покойников еще будет довольно. Клади у сарая, там. Вместе со своими зароем. Холодно на дворе: день-другой не протухнет.

Дежурный отвернулся. Дружинники начали браться за мужика. Вдруг дежурный быстро, скороговоркой, сердито закричал:

— Зря в людей тоже нам не лицо пулять!

— Да, разе?..

Дружинники охнули на ответ, покачнулись у порога и молча понесли мужика по лестнице, торопливо и осторожно стуча по обледенелым ступеням.

Шутили с мужиками дружинники у других баррикад:

— Министров выбиваем!..

Мужики испуганно оглядывались и тихонько, подумав, говорили:

— Дело это хорошее... Так... так.

Они держали лошадей за подъузды, несмело осаживали, не знали, что делать, что говорить.

— Сига-а-й к нам, что ли? — звали дружинники.

Мужики молчали и уныло глядели под ноги.

— Ну, отъезжай, отъезжай! заворачивай оглобли — некогда нам. Провороним настоящую дичь. И тебе худо будет.

Дружинники толкали мужиков дулами. И мужики робко, дрожа, спрашивали:

— А я поеду, значит? Можно, братцы? Отпустите, Христа ради!

— Гони! — кричали дружинники. — Спятил ты, деревня? Сказано, министров выбиваем... самодержавие... а не мужиков...

Мужики дергали лошадей в бок, кидались в метель... И было слышно как хлестала-хлестала-хлестала, торопилась испуганная ременница. А у одной баррикады мужик отогнал лошадь в метель и заорал:

— Эй, прохвосты! Лентяи! Ни дна бы вам, ни покрышки!

Старый дружинник громыхнул ему вслед, в слепую метель, дорогую и пустую пулю.

Снег пошел, сбил работы, наскоро заканчивали и разбредались по домам. Скоро остались на улицах одни дружинники.

Центральные бульварные баррикады защищали мастерские. Аннушка была в полушубке, в папахе. Держала она маленький маузер маленькими вцепившимися руками. И еще были две бабы: Олюнька и Фекла-Пегая. У Феклы-Пегой живот выпирал большой сахарной головой. И Кубышкин смеялся:

— И от какого такого дела у тебя опухоль, Феклушка? Где нагуляла-то?

— Ветром надуло, ветром надуло, Силантий Матвеевич, — отвечала Фекла-Пегая. — Тебя и настолько не хватит.

— Знатье бы, знатье бы! — шелушил щеки старый Кубышкин.

Фекла-Пегая тыкала беременным животом Анса Кенинь и шепталась с ним. Он говорил вполголоса:

— Не место тебе здесь, Фекла. И от ребят мне неловко. Уходи ты!

— Где ты, тут мне и место. Не уйду. В брюхе у меня тоже дружинник сидит. Больше народу...

И Фекла-Пегая осталась. Был у Олюньки с Сережкой медовый месяц, сладкий, бессонный, синие кольца он кинул в глаза, замаял... Олюнька нацепила на рукав красный крест и сидела строго, неподвижно за сережкиной спиной.

На центральных баррикадах было снежно и тихо: не натыкались мужики. Егор наклонился к лицу Аннушки из метели:

— Снежит, Аннушка, снежит! Как бы где не прокрались солдаты? Ты не замерзла? Поди, погрейся!

Егор бережно смахнул с груди, с плеч ее влажный, как белый бараний жир, пласт снега. А Кубышкин не унимался, привязывался к Фекле-Пегой:

— Тебе родить надо, а ты на дворе морозишься! Не убежит тут, кроме как на небо, твой Богдан Хмельницкой!

— Отвяжись от меня, старик! — сердилась Фекла. — Баба, ты знаешь, на сносях сама себе не хозяйка...

Метель расходилась. Дружинники не видели друг друга, только что-то черное, серое копошилось рядом. Егор перекликался с Тулиновым:

— Дружище, не занесло?

— Не-е-т. Видать маковку.

— Тулинов! До времен-то каких дожили! А?

— Да-а! Только бы на земле удержаться!

— Прокарабкаемся! У меня в левом глазу чешется.

— А у меня в правом.

— Оба врут...

Войска пошли в наступление в полдень. Обложили они с бульваров Зеленый Луг, Числиху, Ехаловы Кузнецы. Войска лили на баррикады трескучий горох пуль. Дружинники не отвечали. Войска не подходили близко — и стрельба была напрасна. Шарахнулись вдоль бульваров шрапнельные метлы, одна, другая, третья. Дружинники лежали на земле — и не отвечали. Тогда войска, нагибаясь, лениво и вяло, начали подходить к баррикадам. Их встретили редким, на выбор, на мишень, огнем маузеров, винтовок, дробовиков... На Зеленом Лугу на ткачей кинулись солдаты в штыки. Ткачи вылезли на конку и, свесив ноги с конки, сидя, куря, деловито метясь, расстреляли два серых клубка шинелей. На Кобылке валились дружинники от невидимого солдатского огня. Где-то щелкало, трещало — и дружинники падали. Тут выбила баба напротив стекло в зимней раме, протянула руку вверх и закричала:

— На колокольне! На колокольне!

Дружинники вылезли за баррикаду на бульвар, забрались на деревья — и оттуда пули зазвонили в колокола... Солдат сняли. Перегнулся один солдат грудью на перила, выронил винтовку вниз, и шапка его завертелась-завертелась... Так и остался висеть солдат во весь день с вытянутыми руками вперед.

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах была пустота. Крались по стенам редкие бабы, дети, только за баррикадами, в проходах между ними, стояли, сидели, лежали застывшие сторожко дружинники.

Рабочая слобода отбила все атаки. Стояли на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, как фабричные трубы, колокольни.

«Совет Рабочих Депутатов» посадил метких стрелков на колокольнях, и они оттуда выбирали на выбор офицеров, фельдфебелей, унтеров... Были им открыты городские улицы, солдаты, поджидавшие казацкие сотни в запертых дворах.

Дружинники устали. Метельная бессонная ночь, денные бои были, как колодки на знобивших ногах, кружились мельничными жерновами головы, глаза липли...

А на вечеру, солдаты отошли — и в городе началась частая-частая-частая ружейная потасовка.

— Ура! Ура! Ура! — покатилось за баррикадами.

Из города бежали гонцы-рабочие. Подняв руки кверху, бежали они к баррикадам и кричали:

— Моршанцы! Моршанцы! Восстал Моршанский полк!

За баррикадами запели, закричали, засмеялись. Дружинники рвались в город, как привязанные к столбам на конном дворе кони. Ночью они выступили.

Баррикады выросли на Прогонной, на Золотухе, на Толчке.

И опять была спокойная, как снежное поле, ночь. «Совет Рабочих Депутатов» захватил типографию. Печатали в ней «Известия С. Р. Д.». Выносили скипидарные мокрые груды газет, раздавали на улицах, на баррикадах, в Совете...

По баррикадам, перекатываясь, как далекий ворчливый гром за Чарымой, гудели многоголосые ликующие крики.

И Аннушка шептала Егору:

— Правда ли?

Егор морщился и молчал. И будто понимал, не слыша ее, Тулинов и тоже шептал на ухо:

— Врут, врут, Аннушка!

Подобрали оружие на улицах. Дружинников прибывало. «Совет Рабочих Депутатов» обвыкался. Пробрались закоулками за баррикады врачи из города: послала организация. В поповском доме перевязывали, лечили. Сколотили из рабочих и баб отряд санитаров. Был на бульваре маленький аптекарский магазин Августы Линдер, немки. Посадили туда рабочих для охраны, и Августа Линдер трясущимися от испуга, как тонкие черствые батоны, бело-розовыми руками отпускала лекарства для Совета. Разделили дружинников на три смены: отсыпались они в соседних с баррикадами домах. А Сережка с Олюнькой бежали домой: шли последние дни медового месяца.

Ночью из-за трех баррикад, в разных концах, сделали вылазку в город, привели городовых, офицера. И один городовой, вытягиваясь, отстраняясь от своих товарищей, залепетал:

— Я... ежели... где пост... я и на пост встану...

Дружинники весело засмеялись. Старый Кубышкин походил около городового. Тот следил за ним глазами, как троекратный иконный лик над церковным входом. Глаза у городового не двигались, но они видели

прямо, с боков, они будто видели на затылке. Городовой был огромен, будто высокое парадное крыльцо.

— Не подходишь: мал ростом, — сказал Кубышкин. — Упадешь — поленница дров свалится на голову.

А офицер скорчился, презрительно плюнул, окинул волосатый грязный отряд дружинников и заносчиво закричал:

— Ведите нас к вашему... как его... к нáбольшему!..

Дружинники нахмурились. Сережка сорвал с плеча ружье и наотмашь ударил в грудь офицера прикладом. Егор не успел схватить за руки — офицер упал, скорчился, выждал поднимавшуюся в груди боль, и злобно зашипел:

— Р-раз-бой-ни-ки!..

Городовые беспокойно задвигались, переступили кожаными ногами, свернули плечи крутыми дугами, не глядели ни на кого. Дружинники опять весело засмеялись. И больше всех смеялся Кубышкин:

— От разбойника слышим, ваше благородие! Будет валяться-то, вставай! Мундир запатраешь!..

Егор допрашивал офицера:

— Откуда ждете войск? Моршанцев усмирили?

Офицер молчал. Его жадно и цепко подбросили со снега и поставили на ноги.

— Говори!

— Отвечай!

— Шевели языком!

Офицер, ухмыляясь и гладя болевшую грудь, прохрипел:

— Я отвечать не стану...

Сережка взмахнул рукой, Анс Кенинь пошел к офицеру быком, Егор дрогнул весь — и выстрелил офицеру в рот.

— Это так! — сказал Анс Кенинь.

Городовых повели в Совет.

И в молчании Кубышкин вдруг сказал печально, поворачивая назад:

— А я, ребята, снежком... снежком его запорошу. Больно в глазах рябит...

И он побежал к лежавшему невдалеке офицеру.

В Совете городовые наперерыв торопились отвечать на допрос, укоряли друг друга в укрывательстве, спорили, кричали. Молчали только двое. Стояли они у порога: теребил один светлую пуговицу, а другой засунул глубоко в карманы руки с обшлагами, будто думал первый какую-то упорную неразгадываемую думу, а второму было холодно и скучно стоять.

Дежурному надоело допрашивать. Он печально и злобно забормотал:

— Все, что ли, продали? Нет ничего больше за душой продажного?

Городовые смешались и раскрыли рты. Дружинники захихикали, нацелились гадливо взглядами на городовых, поплевали губами без

слюны, точно в комнатах был тяжелый вонючий смрад. Дежурный помолчал и спросил:

— Жалованья сколько получаете? Шашнадцать? Четыре рубля вам цена: два на гроб, остальное на похороны.

А потом он повернулся к молчаливым городовым у порога:

— Вон... стоящие ребята. Те, видать сразу, мужики настоящие... Тем... и мы бы шашнадцать дали. Курилов, веди их всех в сажалку... Побегут — чокни!..

Была рядом сажалка в портерной: торговали винишком, пивишком в те времена не ближе ста сажен от ограды. Сидели в сажалке теперь попы, по пять попов с Зеленого Луга, с Числихи, с Ехаловых Кузнецов, коровье-здоровье из черной сотни, кабатчики, воры и церковные старосты... Разбавил городовыми сажалку Курилов, загонял сердито за стеклянные двери и втемяшил последнему городовому — будто парадное крыльцо — в одно время кулаком в зашею и ногой в широкое место. Шепнул городовой Курилову на дороге:

— Опусти меня: потом слюбится... Раскатают вас по бревнышку... я к начальству... так-де и так... фамилька-то Курилов?

И чокнул Курилов в догон, даже языком сладко лизнул губы.

А днем опять началось... Дружинники видели с колоколен — шли войска с вокзала конные, пешие, с пушками. Проходили недалеко за каменными домами, и заливался тоненьким, жидким ширкунцем оттуда запевала:

Засвистали козаченьки
В поход с полуночи,
Заплакала Марусенька
Свои ясны очи...

Войска пошли густо, хлебным тестом, через края квашни. И воздух задырявился, заразался, заветрил... С крыш, с колоколен, в баррикадные лазы редко, споро стреляли дружинники. Солдаты убывали. Будто било молнией в лесу дерево и валилось оно, а другие деревья стояли. Бегали много раз солдаты и на Зеленом Лугу, и на Числихе, и в Ехаловых Кузнецах. Бросались солдаты в штыки — и кидалось им, кроша мелкой мясной крошкой, пламя в лицо, прыгал черный мячик из-за баррикад, как в лапту играли.

Тогда высоко над Ехаловыми Кузнецами всплыли меховые шкурки — и пролились в уши шумом, крякнувшим железом на крышах, колотушками по дереву. Шкурки свернулись в облака, в дымные клубки, все ниже и ниже спускались над крышами, точно сметали с крыш слежалый снег и засыпали землю вместо снега железным каленым гравием. И будто после пирушки у стола, на полу, по улицам раскидал кто-то темные стаканы, кубки, бокалы... На подмогу, по баррикадам, по домам, по улицам послали из города пушки грохочущий рев трехдюймовок. Точно костры вспыхивали и тут и сям, гудели, рылись в земле, взлетали красными кучками огня и, шипя, тухли. Шаталось от гула морозное небо, тряслись на корню

домишки рабочей слободы, и улицы гнулись, вздрагивали, западая ямами, рытвинами, колеями.

А на баррикады шли опять солдаты. Дрались дружинники на ободранных пулями, шрапнелями, гранатами тонкостенных конках, на ворохах баррикадной рухляди — и не давали дорогу. Дружинники умирали, умирали солдаты, несли по ту и по сю сторону раненых санитары, бабы, сестры, а кромешный, жадный, задыхающийся огонь кидался-кидался-кидался из города на рабочую слободу. Горела Числиха, горела Кобылка, зажгли Богородицу на Подоле... Кричал и тушил снегом пожар сбегавшийся люд, тащил из огня скарб, ребят, петухов, куриц, свиней... Настигали на улицах трехдюймовки, шрапнели, сундуки с бельишком, столы, кровати, зыбки хлестал красный железный хвост — и трухой взлетало на воздух рабочее обзаведение. Железными горстями хватали разрывы людей и дробили, как землю, как пыль, как дым. В «Совете Рабочих Депутатов», в белых халатах, будто с красными на груди передниками от иода и крови, шатаясь, работали врачи. Санитары несли и несли дружинников затекавшими руками. Раненые лежали на полу, вплотную, на серых поповских половичках.

К ночи устало небо гореть и трепетать, устала содрогаться земля — и стала тишина над городом, над Зеленым Лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами, как в лесной глуши, точно трудно дышал потеплевший воздух, не мог продышаться и несло мокрой, липучей гарью.

Дружинники отдали Прогонную, Золотуху, Толчок. В темноте они тихо перебежали к бульварам. Слушали дружинники неясные, неуловимые, настойчивые звуки ночи — была первая неудача — и хотелось услышать невозможное, хотелось не думать о Прогонной, о Золотухе, о Толчке. И все ждали-ждали-ждали они, будто кто-то должен был прийти, поднять их, кто-то должен был опять отнять и Прогонную, и Золотуху, и Толчок. И никто не приходил.

На заре дружинники услышали рожок горниста, и начался вчерашний невозможный огневой день. За баррикадами редело...

На Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах жила озорная рабочая челядь, и бегала она к отцам с пирогами, с хлебом, подавала пули, конопатила патроны, вылезала в щели и скакала по городу, нюхая и разузнавая там нужное. А бабы шарили глазами красную суматоху на улицах, шли к мужьям, несли табачишко, закутывали дружинникам на ночь головы бабьими теплыми шалями от простуды и жалели в смену на тощей кровати, прятали от ребят красные тесемочки наплаканных глаз.

И еще прошли три ночи. А днями заваривалось прежнее. И днем, на пятые сутки, перебежали с бульварных баррикад в нутро на Числиху, на Зеленый Луг, в Ехаловы Кузнецы.

— Сдаем, Егора! — сказал Тулинов.

И Егор печально ответил:

— Сдаем, Тулинов!

Сдавали на всех баррикадах. Пожары рябиновыми рощами поднимались в разных концах. Уходили на смену дружинники и не приходили обратно. Из сажалки убежали попы, городовые, церковные старосты, коровье-здоровье. Обманула Пресня, матросы, Харьков, Сормово... Митрофанов с сундучком трусил мимо баррикад и кричал:

— На важное заседание! На важное заседание! Идет помощь, товарищи! Идет!..

Грустно бубнил Кубышкин:

— А я думаю, не с того конца начали... Сперва надобно было стакнуться с солдатней... Одним словом, рано по утру встаем, ребята... Привыкли... ничего и не получилось... рано начали...

Олюнька сидела за спиной Сережки.

— Старик, — кричал Сережка, — ты смерти боишься?

— Кто ее не боится, кроме тебя?—перекидывался ответом Кубышкин.

— Олюнька... вон... тоже от меня не отстанет!

И Сережка оглядывался растерянными боязливыми глазами на красный крест Олюньки. А та плакала, не вытирая слез.

И нанесло на баррикаду один толкучий слепой удар. Будто заворочалось в баррикаде огненное колесо, и его разорвало и разорвало баррикаду, как смятую бумагу.

— Тулинов? — крикнул Егор в дыму, лежа с Аннушкой на земле и щупая ее теплое, живое лицо.

И пока рассеивался дым, Анс Кенинь ответил:

— Тулинова нет... Вон, голова лежит...

И сразу зарыдал Сережка:

— И старика... и старика кончило... Э-й, Кубышка!

Сережка подергивался щеками, и словно разлиновали морщины лицо его.

— Сестрички! Сестры! — шально орал он. — На перевязку! Подвяжите килу у старика: к погоде болит!

В разошедшемся дыму, дружинники увидели пустое шероховатое место. Была вскорчевана земля, валялись переломанные доски, щепа корзин и дыбком вставшие бревно на бревно. Дружинники зажмурили глаза: они не стали глядеть на красную слизь старого Кубышкина, на раскроенную пополам голову Тулинова, на ноги его с передком брюха... По ним, спеша, стреляли дальние винтовки... Дружинники, как развернулся птичий хвост, кинулись к домам и перебежали под прикрытие еще стоявшей нетронутой баррикады.

Подтягивались в нутро Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов ткачи, железная дорога, кожевенники, баррикады убывали, как вода из дырявой бочки. «Совет Рабочих Депутатов» разместился по баррикадам. Был тут и Митрофанов со своим сундучком. Поп заглядывал в щель на барабанившего по стеклу товарища Ивана, уползали по лестнице раненые дружинники, врачи сидели за маленьким столом и жадно-жадно пил один воду из графина.

На другой день Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы сдались...

Егор нес домой на руках раненую в ноги Аннушку, торопился, плавала папаха на потном лбу, присаживался, уставая, на тумбочки, прислонялся к заборам, палисадникам и опять шел... И не донес, и не мог больше поднять ее с земли... Егор печально оглядывался на кипевший от разрывов шрапнелей снег на Кобылке и застраняюще прикрывал собою Аннушку. А потом забарабанили громко, зовуще в раму позади, хлопнула дверь и выскочил в одной рубахе Сашка Кривой. И не спрашивая, не глядя на Егора, будто они были всегда вместе, не расставались, Сашка подхватил Аннушку за спину, а Егор молча взял под коленки, подняли и понесли в калитку.

— Кати ко мне, — трудно заплетался Сашка Кривой, — у меня сй монастырь. Я человек благонадежный. Куда пальнули? В ноги? Бегать была горазда.

Аннушку внесли в комнатушку и положили в уголок на чисто прикрытую клетчатым ватным одеялом койку. Егор наклонился. Аннушка позвала его глазами ближе и тихо нетерпеливо шепнула:

— Беги, говорят, скорее!

И прижала его руку к лицу.

Трехрядка гармонья висела на гвоздике над кроватью, над Аннушкой. Проплыла она перед глазами его всеми своими оскаленными белыми ладами, сборчатыми кромочками, жестяными наконечниками. — Егор шатнулся к двери, дернул за руку Сашку Кривого, вгляделся в него и выскочил за калитку...

Последними маузерами отстреливались ткачи на Зеленом Лугу. Спокойно и важно извивался красный флаг на высоком шесте. В узком конце Кобылки колыхалась, как паром на реке, земля: то въезжала в рабочую слободу конница.

Глава XVII.

Счет верен.

«Свят! Свят! Свят!»

Никита научился твердить это маленькое слово в морозные дни декабря. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы вторую неделю колотили тяжелыми колотушками по мерзлой земле, и будто дрожал Федор Стратилат шатровой колокольней и будто лязгали под зеленым замком ворота, сами себя открывая. А вечерами над городом красным рытым бархатом дымили облака и несся оттуда скупой и ровкий гул криков. А то кричали пушки чугунными пастями и, как из лопнувшей трубы, ухая, вырывались прямые струи огня, трещало дерево и обваливалось шелестящей щепой, сыпался густо камень, текли красным студнем облака...

— Свят! Свят! Свят! — шептал Никита.

А потом вдруг пришел безгрохотный кончик дня... Багровые облака качались и ввечеру, но заметно убывали, тоньшели, свертывались в мохнатый небольшой очаг и поднявшийся ветер задувал его. Никита прислушивался к тишине, не верил ей, топтал молчаливый снег, вкрадчиво раступавшийся под крепкой стелькой. И опять было, как год раньше, как двадцать лет раньше, и снег, и тишина, и холодок на щеках.

Тогда и прискакал на тонких ножках к воротам товарищ Иван... Никита не пустил его, толкнул сквозь решетины ворот в спину и закричал:

— Куда прешь — гляди в оба? Солдатня кажинную ночь! Оставайся, поди: в могилу закопаем! Фью! Гони задним ходом, мое дело сторона!

Товарищ Иван потрогал пенснэ и пошевелил дрогнувшими губами. Никита сердился:

— Черти полосатые, беда с вам!.. И тут нельзя... и там не подходяче. Кати, дурошлеп, чего трясуна дал, лугам на сенокосы... к стоговищам!.. Шалаши там есётка... И рыбалки пустые, мое дело сторона!..

Товарищ Иван помигал глазками и повернул уходить. Тут снова закричал Никита:

— Да куда ты, да куда ты? Пошто опять в город? В ловушку захотел! Иди под погостом... дорога ровная: не запнешься! Не видать, говоришь? Ежели шкура дорога, увидишь! В заднем месте и то глаз засветит! Погоди тут! В штаны не наклади! Принесу полковриги... У самого мало. Самому мне в город не ходил бы: своей смертью подыхать жалаю!

Товарищ Иван стоял, прислонясь к отодвинувшимся внутрь воротам заиндевевшими полотнищами. Никита долго не приходил.

— Тут, што ли? — вылезая из темноты, спросил Никита. — Тут! Тяни лапу... Вот... бери. Держи крепче! Коврига без малова... Обойдется страженье, отдашь. Отчаливай, говорят, чего ворота трешь?

Товарищ Иван скользнул в темноту и пропал. А Никита долго глядел, не видя, а только слыша торопливое похрустывание снега вдоль ограды... Он вздохнул и пошел зазябший на огонек в сторожке, раскачивая вялой колотушкой.

За полночь он прилег. За полночь же зазвонили в звонок. Никита слез с печи, зажег фонарь и побежал к воротам.

Пьяными голосами шумели:

— Принима-а-й!

— Живность привезли!

— Шевелись!

Никита вгляделся и увидал за воротами солдат, вылезавших из троих саней. Привычно и сердито спросил Никита:

— А бумага есь?

— Есь! Не впервой! Открывай ворота!

Никита отвел железные ворота, встал к сторонке и поднял фонарь над головой.

Тяжелые сани тяжело поползли вперед. Он заторопился вдогонку, освещая фонарем узкую занесенную метелью дорогу. За церковью остановились.

— Сва-а-ливай, робя! Дальше некуда ехать.

— Перетаскаем вручную!

— Свети, Никита!

— Помога-а-й!

Никита подошел к саням. Солдаты сдернули брезенты. В санях лежали груды нагих мертвецов. Фонарь Никиты, дрожа в его руке, освещал небольшую полянку, захоровоженную деревьями и крестами могил. Начали носить. Брали за голову и за ноги, легко снимали с саней и, шатаясь, относили с дороги.

— Чижелые какие!

— Мертвечина всегда тяжельше.

— Живой — он воздух выдыхает...

Несли брюхатую женщину. Кряхтели. Напруживали икры. Едва распрямляли спины.

— Баба больно грузна...

— Титьки, как пудовики.

— Жирная су-ука!

— Пудов на восемь.

— Вот бы Никите с таким обзаведеньем бабу!

— Хи-хи-хи!

Перетаскали. Приседали к земле и шаркали ладонями о снег: мыли. Потом вытирали руки о штаны. Доставали кисеты. Садились на белую надгробную плиту и завертывали цыгарки. Никита начал считать мертвецов, тыкая в них пальцем. Он наклонил фонарь к лицам... И вдруг фонарь замотался в руке, рука опустилась, фонарь упал на снег, догорая умиравшим светом в бочку. Никита опомнился, схватил фонарь, покачал его, и фонарь опять загорелся полным огнем. Солдаты глядели в его сторону.

— Што, рыжий: знакомых ищешь?

— Плю-ю-нь! Приезжие все! На Числихе заграбастали. Не на-а-ши! Всех наших давно кончили!

— Сам и закопал, мать их курицу!

— Сколько нащитал, щетовод?

— Бумагу давайте!

— Опять бумагу, бумажная ты душа? Пошто тебе бумагу? В натуре — представили. Вишь, каки сдобные!

— Как же без бумаги, мое дело сторона? Может, сами убили, а не от учрежденья?..

— Дай ему, Кирюха, путевку. Кажинный раз требует, могильная крыса!

— Чортов батрак!

— Я по закону, — возражал Никита. — С нас тоже требование предъявляют.

— Предъявля-я-ют!

Никита долго читал, прилипая глазами к бумаге.

— Надень очки, Никита, — без очков ничего не выйдет!

Никита молча, отворачиваясь, пересчитал мертвецов, опять рассматривал бумагу у самых глаз, повертывал ее с одной стороны на другую.

— Ох, хо-хо! Грамотей! Грамотей!

— Ты зубом, зубом откуси бумагу-то!

— Прошше это!

Никита протянул бумагу обратно.

— Не по бумаге привезли, мое дело сторона!

— Как так?

— Одново не хватат!

Солдаты засмеялись, толкаясь на могильной плите плечами, руками, головами.

— Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха!

— Што он убег? Шалишь, брат. По грудям стреляли! Щитай лучше!

— Чево щитать? Сами щитайте. Я щитал. На одново — недочет. Не приму не вокурат, мое дело сторона!

— Вот лешой!

— В морду ему щетчику: чево врет!

Солдаты принялись попеременно считать. Никита равнодушно светил фонарём.

— Десять! Десять! Десять!

— Как же, братцы? А было одиннадцать. И в бумаге одиннадцать. Теперь без одного. Куда он девался?

Солдаты затоптались на месте, читали бумагу, склоняясь головами в одну огромную о пяти вязаных барашках голову.

— Десять! Десять! Десять!

— Потеряли, должно, братцы! Надо искать. До публики надо управиться.

Метнули жеребий кому ехать, кому стеречь. Вышло Кирюхе оставаться.

Никита довольно и наставительно сказал:

— Нельзя нашему брату без осторожности. Не по числу не приму, мое дело сторона!

Солдаты рассердились, закричали грозно и беспомощно:

— Молчи-и, сссволочь! Чево радуешься, рыжая пакля? По кумпалу тебя, штобы чердак в обратную сторону заработал!

— Мозгля!

— Кажи дорогу к выезду!

Сани зашипели, заерзали на месте, прошелестели... Никита затрусил впереди.

Кирюха остался один. Пропал в темноте фонарь. Темнота надвинулась на Кирюху.... Где-то рядом стояла церковь, росли из могил разноцветные кресты, росли деревья, лежали мертвецы на земле и под землей —

и среди них сидел Кирюха на каменной плите. Вспыхивала его цыгарка красной каплей и шипела и попискивала. В пьяной голове Кирюхи, как в весеннем паводке, кружились, плыли, прыгали несвязные мысли, слова, лица, бродило вино... Вдруг шмыгнул из-за могилы какой-то зверь... Кирюха вздрогнул и охнул... Подобрал ноги. Застучал зубами. Съежился. Сплющился. Ему показалось, будто со всего кладбища поползли к нему мертвецы, встал на карачки покойник под ним на дне могилы, вылезал где-то сторонкой — и вот-вот схватит его. У Кирюхи по спине катилась ледяшка, и волосам было тесно под шапкой.

— У! У! У! У! У! Ники-и-и-т-т-а-а! Ники-и-и-т-т-а-а!

— Э-эй! — отозвалось вдали.

— Поди сюда-а!

— Сича-а-с!

Было страшно слушать свой голос. Но уже качался между деревьев, будто всадник на лошади, фонарь Никиты.

Грустно и заискивающе сказал Кирюха:

— Оброб я тут один: отродясь так не бывало. Чорт ее знает от какой причины? Должно, кошка пробежала... Думал... помру.

— И помрешь... сколько угодно!

Никита подумал.

— Может, и не кошка?..

— Кому, кроме кошки? Нечистый дух, скажешь?

— Зачем нечистый дух? Душа человеческая. Душа около тела находится. Скучает по человеку. Ежели днем — она в стрижах. Душа в стрижей входит. А ночью — она сама, в своем обличье... Во-о-н сколько навезли!

Никита повесил голову над фонарем и задумался. Кирюха закуривал цыгарку. От дымного перегару, он долго икал, кашлял, а потом отворотился за плиту и начал блевать. Никита зажимал рот рукой.

Ночь еще не ушла, но безлюдные улицы города были уже отчетливо видны... Солдаты всматривались в темные тумбы, в фонари, в каждую неровность мостовой. Кладь не находилась. Вино, кружившее головы, унялось.

— Напрасно, ребята, все улицы не покроешь!

— Может, не по тем и ехали? Ванька сбивался два раза. Ванька, ты припомни — где давеча блудили?

— Ладно... припомню!!

— Чорта с два припомнит! Пьян был, как стелька!

— Из-за него под расстрел как раз угадаем!

— Под расстрел! Под расстрел! Под расстрел!

Солдаты молчаливо переглядывались.

И опять мчались. Опять искали. Бесплодно искали одиннадцатого.

— Надо кончать, — сказал Ванька.

И от слов этих пришел новый страх.

— Так как же? Как же, братцы?

Лошади были, как намыленный человек в бане: сани останавливались. Тут, шатаясь, подошла старая проститутка с мокрым заброженным подолом и закричала дико:

— Армия! Оптом даюю... ппо сифоо-ну!

И заголилась.

И сразу трое сказали жадно:

— Заменить!

Солдаты схватили проститутку, легко подняли, мотнулись в воздухе ботинки, и тело упало на днище саней.

— Не ххочу-у... не ххочу-у! — звонко выкрикнула проститутка.

Заворотили подол. Закрыли рот. Сели на нее. Лошади рванули от криков. Солдаты подпрыгивали на бившемся под их задницами живом человеческом теле, упирались ногами в борта саней, жадно держали... За огородом осадили лошадей. Солдаты оглянулись по сторонам. Лязгнули штыки и прибили проститутку к днищу саней. Солдаты навалились на приклады грудью, захрустело дерево, забилась и застонала проститутка. Подержали недолго и с трудом отняли штыки от днища. Привезли на кладбище. Сбросили.

— Получай, Никита!

— Раздеть, что ли?

— Не надо!

— Вали так!

Рыжие, черные, белые мертвецы с выкатившимися полыми глазами, с черными дырами на груди и на животах, обожженными закипевшей кровью, с волосатыми ногами, со сведенными в грабли пальцами, лежали на снегу. Нарумяненная проститутка в темно-серой шубке, в сбившейся на жидких волосах соломенной шляпе с желтыми полотняными розами, лежала в ногах, перегнувшись через бугорок чьей-то заботливо обдернованной могилы. Начали сваливать в яму. Тела шлепались одно о другое, укладывались рядком, тесно и дружно. Покрыли проституткой. Сбегали за лопатами. До поту закидывали и потом долго утрамбовывали ногами, пока не сравняли с землей. Никита помогал, нагребая густой и белый, как лебяжьи крылья, снег на могилу. Потом он помочил желтый карандаш о снег и крупными лиловыми буквами написал на бумаге:

«шёт миртвицов вёрин».

Уехали солдаты за церковь. Он не пошел закрыть за ними ворота. Так и стояли они до утра открытыми. К утру пошла с Чарымы метель. И ворота заносило. Никита остался у могилы. Он поставил между ног фонарь на снег и тихонько заплакал. И как плакал Никита, вспоминал он зарытых Олюньку, Аннушку, Феклу-Пегую, Кеню... Плакал он и о тех, кто безымянно лег с ними.

К полудню приехало начальство. Раскапывали могилу, доставали проститутку, раздевали, допрашивали его. Никита смотрел раны. А потом

привезли другие солдаты одиннадцатого — разрыли на улице из-под метельного снега собаки.

Никита взглянул на одиннадцатого, пошатнулся, кинулся к нему, упал на мерзлую грудь, вцепился, обнимая, и закричал на весь погост:

— Серёга! Серёга! Серёга!

Глава XVIII.

На запасных путях стоял тюремный вагон. Егор глядел через решетку на тесно и темно запрудившие пути вагоны. Стеной встали они впереди и позади, стена двигалась, скрипели колеса, сплющивались скрепы, направляющий свист, клокоча, кидался маленьким зверком на рельсы — и вагоны замирали, вытягивались. Шла обычная ночная работа: составлялись дальние и близкие поезда. Сцепщики, небрежно махая фонариками, не глядя, совали руки между вагонов и связывали их буферами. Машинист, зорко глядя на хвост состава, сдавал его... Паровоз осторожно толкался задом, будто крался, будто где-то в темноте стояла на путях хрупкая и нежная вещь, и он боялся раздавить ее... А там играл густой сигнальный рожок на стрелке. И опять по крышам вагонов рассыпался задевающий круглый свист.

Шуруя паром, сгибая рельсы, пробежал приземистый, широкоплечий, коротконогий трехглазый паровоз. Егор жадно наблюдал за подготовкой ночных поездов. После тесной, как шкаф, одиночки, после трех никуда не спешивших годов, в которые будто забытое, безмолвное пальто на вешалке, жил Егор, простая работа маршировавших цепями вагонов на просыхающей весенней земле, казалась торжественной. Словно осенние корабли манифестаций на красных парусах тысяча девятьсот пятого года были эти проходившие мимо чернорабочие вагоны. Егор был с ними глазами, движеньями рук, чувствами...

Сторожившие солдаты сидели на грудке шпал против вагона и молча курили. Пахло пропиточным заводом от шпал. И этот запах был приятен Егору. И сквозь этот запах он видел рабочих, где-то в мастерских вырывавших у времени шпалы. И вагоны, и шпалы, и рельсы, и сигнальный рожок, и трехглазый паровоз, и сцепщики, и стрелочники, и машинисты, и он сам, и курившие солдаты-мужики сливались для него в великую объединенную рабочим фартуком семью. И эта весенняя и темная земля и как серебряными мельчайшими каплями смоченная крыша звездного неба служили ей.

От Зеленого Луга, с Числихи, от Ехаловых Кузнецов, из-за вокзала тёк тихий и теплый ветер. Словно там жарко натопили, закрыли трубу, и тепло шло от домов, от улиц, от ночного дыхания спящих... Тепло было родное, волнующее, грустное...

Егор побежал, затрусил с фашины на фашину... Проточные канавки стояли перелитыми через края, будто кадушки под дождевыми трубами. Редкие огни, как редкие прохожие на ночных улицах, светили тусклыми

кремневыми высечками. Налитая подземными водами земля туманила шаг. Только-только отступило Чарыма с огородов, от задворных прудов, из палисадников, не успели расклевать рыбьи кости курицы в перегоревших под золотобровым лужицах, чайки путались местами, искали Чарыму на Кобылке — и не находили. А рабочая челядь скакала по грязной тяпушке намоин и чернила босые ноги простудой. На Коровинские мельницы спозаранку кряхтели с возами мохнатые битюги. Весело, весенне, ветрено размахивали рукавами мельницы...

Егор улыбнулся, втянул ноздрями ветер от Зеленого Луга, с Числихи, от Ехаловых Кузнецов, ветер, пахнувший нежным и слатимым дымом. В сердце тихохонько с боку на бок перевалилась грусть. Так в половодье несет одинокую лодку на льдине далеко от берегов, а с кормы на нос, а с носа на корму бегают заяц с зайчихой. И по пути ли и не по пути ли, не спрашивая, несет их на льдине. Егор закрыл глаза и глубоко-глубоко-глубоко вздохнул.

В городе, на чистой половине, редко и протяжно звонили. Егор вспоминал названия церквей по колоколам, ошибался, запамятовал. И только один с прозвенью колокол узнавался над всеми забытыми колоколами. Звонил Никита близко за вокзальным Флоровским концом у Федора Стратилата на Наволоке, а, может быть, звонил кто-нибудь другой, колокол был тот же, кладбищенский, старый сторож от темного ночного ворога. Звонил Стратилат над Аннушкой, над Ванькой, над сторожкой, над поклончивой ветлой в луга, над товарищами, уснувшими без крестов под жирной стеблистой травой.

Сердце одичало и проныло жалостью, проплывшей в разомкнувшихся глазах и медленно и горько, как уходящее за острый мыс грузное судно. И, видно, с решетки скатилась по лицу крупная неотомщенная капля.

Был канун Георгиева дня. При Шемяке была в городе моровая язва. И вспоминали ночным молением каждый год пять веков моровые ночи. По улицам, тупикам, переулкам, поперек площадей, по мостам и переходам, по лавам всю ночь шли люди из церквей, в церкви, в часовни... Читали паремии перед золотыми узорными иконостасами, полный свечной и лампадный и паникадильный свет лился в окна из церковных кораблей, а колокола, как в дозорных лоцманских будках, звонили протяжно тревогу.

Егор вспоминал другие дни... Дружинники смерзлись одной ледяной цепью за баррикадами, а на головы валилась железная стружка, вздувались красными сарафанами взрывы и копали позади глубокими лопатами забитую землю. И шли далеко гряды, как окопы... И всё не могли, не могли смести метлы утлые бочки, корзины, телеги, дрова, кривоглазые конки баррикад. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы защищали незащитимое, отбивали папахой чугунный замах... И не защитили... И опять нанесло ночным ветром через прутики решетки каплю сухую, как потухшая искра.

Засвежело в вагоне. И был он тесен и люден, как плот на перевозе. И от того, что был он люден, Егор крепко сжал частокол решетки. Руки умели сильно сжимать и твердеть на железе. Товарищи укладывались спать. Будто в своих квартирах, они устало зевали, не торопясь снимали сапоги и скидывали халаты. Тогда солдат крикнул за окном чужим голосом:

— Сигай спать: нагляделся!

И другой солдат насмешливо спросил:

— Провожатых поджидаешь?

И оба враз сказали:

— Не будет!

Егор послушно спрятал голову, словно утонул в глубокой пазухе вагона.

Короткий, как выстрел, пришел сон, закрыл, будто теплой шалью впавшие гнезда глаз — и они внезапно растворились... Товарищи поднимали головы с нар... Вскочил и Егор. Под вагоном били молотками так часто, будто один удар сваривался с другим и из-под молотков выжималась тонкая полоса стуков. Под вагоном починяли буксы.

Пепельное зябкое утро отпотело на стеклах за решетками. И Егору захотелось скорее протереть его, захотелось скорее посмотреть на знакомые утренние места. Привезли на вокзал ночью. В темноте была видна только одна улица со скупыми огнями в домах. В гнилом шлюзе улицы быстро отвертелись дробные колеса, сверкнул вокзал широким хвостом огней — и снова камера на колесах с низким потолком и, как конторская книга, окна исподлобья под железной маской решетки.

В голове было густо и больно от недопитого сна. На темени, будто узлом, связало кровь, и узел, паля, жал. Виски ёкали, и нельзя было коснуться их, словно под ощетинившейся кожей были наболевшие раны. Егора качнуло на ногах, потом качнуло вагон, он проволокся по пинавшей колеса стрелке, его отвели на главные пути и прицепили к поезду.

Ранняя платформа была почти пуста. Солдаты отрезали от широкого пола платформы большой край и не подпускали пассажиров. Егор опустил раму—и жадно дохнул апрельский щемящий холодок.

Егор с боку, от окна, скосил глаз на светлевшие полоски рельс, тянувших к мастерским. Вдали он увидал только одну Коровинскую мельницу, махавшую ему длинными черными руками, и отрезок нового забора у мастерских. За кузовом вагона сами здания скрывались. Егор вдавился в решетки: удлинился забор, выступила пята еще одной Коровинской мельницы и красный бок трубы... По полянке к мастерским шли рабочие... Сердце Егора заколотило, побежало... Он вытягивался, будто узнавал походки, спины, пиджаки... Весенней ростепельной дорогой шлялся над полянкой дым из трубы — знакомый, близкий дым.

Были открыты глазам — Свешниковская мануфактура, заводы Марфушкина, Прилуцкого, а за ними другие, третьи, курившие трубами

раннее утро. Зеленый Луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы лежали в низине, и красный лес труб поднимался над ними черными набухшими кулаками верхушек. Стояла рабочая сторона на своем месте, под тем же нестареющим небом, на той же хлюпкой слободской земле, будто не было ничего позади и ничего не изменилось за отковылявшие далеко годы и никогда ничего не изменится.

По платформе прошли в звонких сапогах жандармы. Подмышками они несли синие папки «дел». Егор проводил их. Товарищ, глядевший в другое окно, вдруг засмеялся:

— Вот все, что осталось от революции! Несет под мышкой Егора Яблокова... и меня... и тысячи других...

Товарищ не стал ждать ответа, плюнул и отошел от окна. Он прошелся по вагону, шаркнул раздраженно сапогом по задравшимся заусеницам стертого пола и отчаянно простонал:

— Эх! Скорее бы отправляли! Стоим, стоим — и не знаем, чего стоим! И не знаем, зачем стоим? Так повезут, сто лет не доедем до Сибири.

Егор, не оборачиваясь, ответил:

— Куда нам торопиться? В Сибири, думаешь, о нас скучают? В Сибирь человек торопится!..

Егор опять покривил щекой. Товарищ растянулся на наре, устремился глазами в низкий, недавно покрашенный, пахнувший краской потолок, будто круглый трюм парохода, устало задышал, полежал немного и, шумя, повернулся к стенке.

— Чорт! Хоть бы повесили, мерзавцы! — пробормотал он, себе в усы. — Такая тощища кромешная!

Из вокзала вышла девушка с серым пледом на руке и стала медленно ходить по платформе. Она сделала несколько дорожек и остановилась у солдатской цепи... Девушка постояла, помялась и тихо спросила у солдат:

— Политические?

Солдаты сразу рассердились и переложили из руки в руки винтовки.

— Чего надо? Проходи!

И засмотрели злыми, серыми, ненавидящими глазами. Девушка испуганно смешалась, подалась назад, побагровела щеками, глаза сверкнули в глазах Егора близкими огнями — и она отвернулась, задумчиво отходя по платформе. Она села далеко от вагона на скамейку у стены вокзала — и, не отрываясь, глядела оттуда.

Из вокзала выходили пассажиры. Платформа наполнялась.

— Скоро поедем! — кто-то сказал сзади.

Егор оторвался от далеких крыш Зеленого Луга, Числихи, Ехаловых Кузнецов и разглядывал ходивших пассажиров. И только одни женщины завладели его глазами. Егор морщился, недовольно встряхивал волосами. Он долго овладевал собой, а рот открывался, а ноги переступали в беспокойстве, горячо сжимались одна к другой, жглись, и глаза желали ненасытным блеском.

Зарозовело раннее утро в слуховом вокзальном окне и по трехцветному флагу над фронтоном проползла золотая змея солнца. И враз с нею в городе ударил густой, медлительный, большой колокол на Софии. Ему ответили на всех концах, в слободах, на окраинах, на кладбищах большие колокола... Соборный колокол повел, за ним пошли, он раскачался в частый гремящий гул; подхватили, слились, утолстили на приходах гуденье...

В чистую, нежнейшую звонь, в колокольную густоту прошипел балластный поезд и устало остановился на первых путях. Желтый мокрый песок, как щучья икра, лежал жирными пластами на платформах и в вагонах с отбитыми по низу стенками. На песке сидели мужики в рваных пиджаках. Лопаты были воткнуты в песок, как мутовки в квашне...

Давно в звоне городских колоколов был второй вокзальный звонок — Егор прослушал его.

И как остановился балластный поезд, и мужики, скучая, поглядели на тюремный вагон, поезд вздрогнул, откачнулся назад, тихо прополз шаг и пошел...

Егор быстро мелькнул глазами на Зеленый Луг, на Числиху, на Ехаловы Кузнецы, тоскливо заныло под левым соском, а рабочая слобода уже закрывалась от глаз широкой шляпой навеса.

Мужики с балластного поезда, прячась в глуби вагонов, один, другой, третий вдруг закивали лопатами, руками, картузами, сперва несмело и все смелее и открытей, а поезд уже убегал, раскачиваясь, будто бежала и раскачивалась улица на Зеленом Лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах.

Тюремный вагон зашумел, белые руки высунулись промеж решеток и хватали свистевший свистульками воздух.

Колокола, заглыхая, с каждым прыжком паровоза, словно напутствовали в дорогу.

Проезжали мимо депо. Гудок звал на работу. Через пути к депо шли рабочие с узелками, поодиночке, артелями, останавливались и пропускали поезд. Из тюремного вагона махали руками. Рабочие всматривались, дружно снимали шапки, кепки, картузы, трясли ими высоко над головой и что-то кричали вслед...

Егор захлебнулся. В уши ударил колокольный звон извнутри, звон отчетливей и краше гудевшей Софии с приходами и концами. Егор закричал в ветер, рабочим, вагону, городу, атавой прораставшей земле в этот скотий Георгиев день.

Гиперболоид инженера Гарина.

Алексей Толстой.

Книга вторая.

Сквозь оливиновый пояс.

(Продолжение).

17.

Глаза Шельги были обвязаны шарфом. На плечах накинуто автомобильное кожаное пальто. Он почувствовал тепло, идущее от очага, — ноги его задрожали. Гарин подставил табурет. Шельга сейчас же сел, уронив на колени гипсовую руку.

Генерал и оба офицера глядели на него так, что, казалось, — дай знак, мигни пальцем, — от человека рожки да ножки останутся. Но Гарин не подал знака. Потрепав Шельгу по плечу, сказал весело:

— Здесь у вас ни в чем не будет недостатка. Вы у порядочных людей, — им хорошо заплачено, будут беречь вас, как христово яичко. Через несколько дней я вас освобожу. Товарищ Шельга, дайте честное слово, что вы не будете пытаться бежать, скандалить, привлекать внимание полиции.

Шельга мотнул опущенной головой. Гарин нагнулся к нему:

— Иначе трудно будет поручиться за удобство вашего пребывания... Ну, даете?

Шельга проговорил медленно, негромко:

— Даю слово коммуниста... (Сейчас же у генерала бритая кожа на черепе поползла к ушам, офицеры переглянулись, усмехнулись.) ...Даю слово коммуниста, — убить вас при первой возможности, Гарин... Даю слово отнять у вас аппарат и привезти его в Москву... Даю слово, что двадцать восьмого...

Гарин не дал ему договорить. Схватил за горло:

— Замолчишь!.. Идиот!.. Сумасшедший!..

Обернулся и — повелительно:

— Господа офицеры, предупреждаю вас, этот человек очень опасен, у него навязчивая идея...

— Я и говорю — самое лучшее держать его в винном погребе, — пробасил генерал. — Увести его...

Гарин взмахнул бородкой. Офицеры подхватили Шельгу, втолкнули в боковую дверь и поволокли в погреб. Гарин стал натягивать автомобильные перчатки.

— В ночь на двадцать девятое я буду здесь. Тридцатого вы можете, ваше превосходительство, прекратить опыты над разведением кроликов, купить себе каюту первого класса на трансатлантическом пароходе и жить барином хоть на Пятом авеню в Нью-Иорке.

— Гарантии? — спросил генерал.

— Я плачу наличными.

— Нужно оставить какие-нибудь документы для этого сукиного кота.

— Пожалуйста, любой паспорт на выбор.

Гарин вынул из кармана сверток, перевязанный бечевкой. Это были документы, похищенные им у Шельги в Фонтенебло. Он еще не заглядывал в них за недосугом.

— Здесь, видимо, паспорта, приготовленные для меня. Предусмотрительно... Вот, получайте, ваше превосходительство...

Гарин швырнул на стол паспортную книжку и, продолжая рыться, чем-то заинтересовался, — придвинулся к лампе. Брови его сдвинулись.

— Чорт! — И он кинулся к боковой двери, куда утащили Шельгу.

18.

Шельга лежал на каменном полу на матрасе. Керосиновая коптилка освещала сводчатый погреб, пустые бочки, заросли паутины. Гарин некоторое время искал глазами глаза Шельги. Стоя перед ним, покусывал губы.

— Я погорячился, не сердитесь, Шельга. (Шельга криво усмехнулся.) Думаю, что все-таки мы найдем с вами точку соприкосновения. Договоримся. Хотите?

— Попытайтесь.

Гарин говорил вкрадчиво, совсем по-другому, чем десять минут назад. Шельга насторожился. Но пережитое за эту ночь волнение, еще гудящие во всем теле остатки усыпительного газа и боль в руке ослабляли его внимание. Гарин присел на матрас. Закурил. Лицо его казалось задумчивым и весь он благожелательный, добрый, изящный...

«К чему, сволочь, гнет? К чему гнет?» — думал Шельга, чувствуя, как мозг застилается сонной пеленой.

— У нас с вами общий враг, — заговорил, наконец, Гарин. — Для вас это представитель американского капитала, колонизирующего Европу со всем широким размахом и темпераментом, на какие способны одни американцы. Я много об этом думал, это дьявольски любопытно. Повторяется обычная история взаимоотношений между метрополией и колониями. Так

погиб Рим. Так, неминуемо, веселые американские ребята растопчут святыни старой Европы. Роллинг — новый Колумб задом наперед. Повернул каравеллы и снова — через Атлантический океан — за золотом, за древними соблазнами. Европа сейчас за океаном, а мексиканцы, выродки — мы. Теперь они тоскуют по таинственному городу Эльдорадо... Закон естественный, — мы, европейцы, должны и будем бороться... И погибнем, разумеется...

— Чушь несете.

— Ну, зачем чушь?.. В основе, все-таки, правильно. Терминология только поэтическая... Так вот... Американцам, прежде всего, для успеха борьбы нужно лишить Европу своего хлеба, своего мяса, своего сахара и так далее, — поставить Старый Свет в голодную зависимость. Если это не вполне осознано, то скоро об этом заговорят. Ясно,— где труд дешевый? В Европе. Так, ей и производить фабрикаты. Но тут камень под ногами, — Россия, СССР. Мировая житница. Вся — в будущем. Вся по шею в зерне. Российских равнин хватит на то, чтобы каждому европейцу ежедневно, — пожалуйте, — курица, яичек, калачей связку и прочих благ. Америка в первую голову должна либо превратить Россию в непроезжую пустыню... Это, все-таки, пока еще не в масштабах американского империализма... Хотя они и до этой мысли дорастут... Либо держать ее в блокаде. Это легче, но средство не основательное, не долговечное... Вот они и нервничают...

— Когда мы наладим производство средств производства...

— Правильно, правильно... Я к этому и веду... России нужно выиграть время. Поэтому свернуть голову Роллингу — значит выиграть время.

Шельга в первый раз взглянул в блестящие, возбужденные глаза Гарина.

— Ну?

— Обстоятельства так повернулись, что — либо жить Роллингу, либо мне. Еще некоторое время мы работаем вместе...

— До двадцать восьмого... — проговорил Шельга, рассматривая паутину и в ней — вялого паука.

— Ага... Вы это высчитали... По газетам?

— Может быть.

— Хорошо. Пусть, до двадцать восьмого. Затем, неминуемо мы должны вгрызться друг другу в горло. Если одолеет Роллинг, — для России это будет вдвойне ужасно: мой аппарат окажется у него в руках, и тогда с ним бороться, — шалишь: — он вам устроит пустоту... Так вот, тем самым, товарищ Шельга, что вы пробудете здесь с недельку в соседстве с пауками, — вы страшно, неизмеримо увеличиваете возможность моей победы.

Шельга закрыл глаза. Гарин сидел у него в ногах и курил частыми затяжками. Шельга проговорил:

— На кой чорт вам мое согласие, вы и без согласия продержите меня здесь сколько влезет. Говорите уж прямо, что вам нужно...

— Давно бы так... А то, — слово коммуниста... Ей богу, давеча вы мне так больно сделали, так досадно... Сейчас, кажется, вы уже начинаете разбираться... Мы с вами — враги, правда... Но мы должны работать вместе... Дорогой, поймите... Я — выродок по вашей терминологии... Я величайший индивидуалист... Иначе и быть не может, — таков закон динамики. Действие возбуждает противодействие. Между ними — знак равенства. Я, Петр Петрович Гарин, милостью сил, меня создавших, с моим мозгом, — не улыбайтесь, Шельга, — гениальным, да, да, с моими чудовищными страстями, от которых мне и самому тяжело и страшно, с моей жадностью и беспринципностью, — равен, понимаете ли, буквально равен всему коллективному сознанию революционных масс во всем мире...

— Ух ты, — сказал Шельга, — ну, сволочь...

— Именно: «ух ты, сволочь», вы меня поняли. На мир надвинулось то, что я называю безусловностью... По-вашему, — новая правда, мораль коллективного сознания. Вы в России, чорт возьми, правы тысячу раз, хотя и расплачиваетесь боками за правду... Это и есть — действие, — то, что надвинулось. А я — противодействие. Я, Петр Петрович, — то-есть гипертрофированная личность, — противоположен коллективному сознанию. Оно воинственно, я сластолюбец, я не желаю воевать, потому что все секунды моей жизни стремлюсь отдать наслаждению. Я бешено тороплюсь покончить с Роллингом, потому что теряю эти драгоценные секунды. Вы — коллектив — есть воинствующая, материализированная идея. У меня нет никакой идеи, — сознательно, религиозно ненавижу всякую идею. Я поставил себе цель: создать такую обстановку (подробно рассказывать не стану, вы утомитесь), окружить себя таким излишеством, сады Семирамиды и прочий восточный вздор окажутся чахлыми тенями перед моим раем. Я призову медицину, физику, всю индустрию, всю науку служить мне. Словом, Шельга, я ни с какой стороны не ваш враг, я диалектически — «просто сволочь». Вы смело можете итти со мной до известной точки, покуда Роллинг не будет нами растоптан.

— Кроме сидения в этом подвале, в чем, — вы хотите, — чтобы заключалась моя помощь?

— Нужно, чтобы вы совершили небольшую прогулку по морю.

— Иными словами, вы хотите продолжить мой плен?

— Да.

— Что дадите за то, чтобы я не позвал на помощь первого попавшегося полицейского, когда вы повезете меня к морю?

— Любую сумму.

— Не хочу.

— Ловко, — сказал Гарин и повертелся на тюфяке.

— А за модель моего аппарата согласитесь? (Шельга засопел, отвернулся.) Не верите? Обману, не отдам? Ну-ка, подумайте, — обману, или нет? (Шельга дернул плечами.) То-то... Идея аппарата проста до глупости... Никакими силами я не смогу долго держать его в секрете. Такова судьба

гениальных изобретений. После двадцать восьмого во всех газетах будет описано действие инфра-красных лучей, и немцы, именно немцы, ровно через полгода построят точно такой же аппарат. Я ничем не рискую. Берите модель, везите ее в Россию. Да, кстати, у меня ваши паспорта и бумаги... Пожалуйста, они не нужны больше... Простите, что я в них порылся. Я страшно любопытен... Что это у вас за снимок татуированного мальчишки?

— Так, один беспризорный, — сейчас же ответил Шельга, понимая сквозь головную боль, что Гарин подбирается к самому главному, для чего и пришел в подвал.

— На обороте карточки помечено двенадцатое число прошлого месяца, значит вы снимали мальчишку накануне отъезда... И фотографию взяли с собой, чтобы показать мне. В Ленинграде вы ее никому не показывали?

— Нет, — сквозь зубы ответил Шельга.

— А мальчишку куда дели? Так, так, я и не заметил, — тут даже имя поставлено: Иван Гусев. В гребном клубе что ли снимали, на террасе? — узнаю, места знакомые... Что же вам мальчишка рассказывал? Нашли они радий?

— Да, нашли.

— Вот видите, я всегда верил в Манцева. Значит, мальчишка у вас при клубе пока остался?

— Да.

Гарин рассчитал верно. У Шельги так устроена была голова, что врать он никак не мог — и по брезгливости, и потому еще, что лганье считал дешевкой в игре и в борьбе. Через минуту Гарин узнал всю историю появления Ивана в гребном клубе. Поднялся, шибко потер руки.

— Итак, если двадцать девятого ночью мы поедем на автомобиле, модель аппарата будет с нами, — вы укажите любое место, где мы аппаратик спрячем, наиболее деликатные части положите себе в карман, — так вот: достаточной будет для вас такая гарантия? Согласны?

— Согласен.

— На все? Добиваться моей смерти не будете?

— В ближайшее время — не буду.

— Я прикажу перевести вас наверх, здесь слишком сыро, — поправляйтесь, кушайте всласть, когда-нибудь вы мне еще пожмете руку... Когда кончим с вами шахматную партию...

Гарин весело подмигнул и вышел.

19.

— Ваше имя, фамилия?

— Ротмистр Кульневского полка, Александр Иванович Волшин, — ответил широкоскулый офицер, привычно вытягиваясь перед Гариным.

— На какие средства существуете?

— Поденная работа у генерала Субботина по разведению кроликов, двадцать су в день, харчи его. Был шоффэром, не плохо зарабатывал, однополчане уговорили пойти делегатом на монархический съезд. На первом же заседании сгоряча дал в морду полковнику Шерстобитову, кирилловцу. Лишен полномочий и потерял службу.

— Предлагаю опасную работу. Крупный гонорар. Согласны?

— Так точно.

— Вот вам фотография, паспорт. Поезжайте в Ленинград, разыщите этого мальчишку, и...

20.

Прошло пять дней. Ничто не нарушало покоя прирейнского небольшого городка К., лежащего в зеленой и влажной долине вблизи знаменитых заводов Анилиновой Компании.

На извилистых улицах с узкими тротуарами с утра весело постукивали деревянные подошвы школьников, раздавались тяжелые шаги рабочих, женщины катили детские колясочки в тень лип к речке... Из парикмахерской выходил парикмахер в парусиновом жилете и ставил на тротуар лесенку-стремянку. Подмастерье лез на нее чистить и без того сверкающую вывеску на штанге, — медный тазик и белый конский хвост. В кофейне вытирали зеркальные стекла. Грузно громыхала, заполняя всю улицу, телега с пустыми пивными бочками.

Это был старый, весь выметенный, опрятный городок, тихий в дневные часы, когда солнце греет горбатую плиточную мостовую, и редко пройдет прохожий в зеленой шапочке с перышком, оживающий неторопливыми голосами на закате, когда возвращаются с заводов рабочие и работницы, загораются огни в кофейных, и старичек фонарщик, в коротком плаще, бог знает какой древности, идет, шаркая, зажигать фонари. В тихие ночи город со спокойной совестью отдыхал от трудов.

На площади стоял крытый островерхими кровлями рынок шестнадцатого века, и перед ним за низенькой оградой — чугунный человек в треугольной шляпе, в ботфортах, держал в руке чугунную, свернутую в трубочку, грамоту бюргерской вольности.

Так же, как и в шестнадцатом веке, из ворот рынка выходили жены рабочих и бюргеров с корзинами. Прежде в корзиночках лежали живность, овощи и фрукты, достойные натюрмортов Снайдерса. Теперь несколько картофелин, пучечек луку, брюква и немного серого хлеба.

Странно. За четыре столетия чорт знает как разбогатела Германия! Какую славу знали ее сыны! Какими надеждами светились голубые германские глаза! Сколько пива протекло по запрокинутым русым бородам! Сколько биллионов киловатт освободилось человеческой энергии...

И вот, все это напрасно. В белоснежных кухонках — пучечек луку на изразцовой доске, и давнишняя тоска в голодных глазах у жены и матери. Непостижимо.

21.

Вольф и Хлынов, в пыльной обуви, с пиджаками, перекинутыми через руку, с мокрыми лбами, — перешли горбатый мостик с низкого на низкий берег неширокой речки и стали подниматься по шоссе под липами в К.

Солнце уходило за невысокие горы. В золотистом вечернем свете еще дымились трубы Анилиновой Компании. Корпуса, трубы, железнодорожные пути, черепицы амбаров подходили по склонам холмов к самому городу.

— Там, я уверен, — сказал Вольф, остановился и указал рукой на красноватые скалы в закате, — если выбирать лучший пункт для обстрела заводов, я бы выбрал только там.

Хлынов вынул комочек носового платка, вытер лицо:

— Осталось три дня.

— Ну, что ж, с южной стороны не может быть никакой опасности, — слишком отдалено. Северный и восточный секторы мы обшарили до последнего камня. Три дня нам хватит.

Хлынов обернулся к засиневшим на севере лесистым холмам, глубокие тени лежали между ними. В той стороне Вольф и Хлынов облазили за эти пять дней и ночей каждую впадину, где бы могла притаиться постройка, — дача, или барак, — с окнами на заводы.

Пять суток они не раздевались, спали в глухие часы ночи, повалившись где попало. Ноги перестали даже болеть. По каменистым дорогам, тропинкам, прямиком через овраги и заборы, — они обошли кругом города по горам почти сто километров. Но нигде — ни малейшего присутствия Гарина. Встречные крестьяне, фермеры, прислуга с дач, лесничие, сторожа — только выпячивали губу, разводили руками:

— Во всей округе нет никого приезжих, здешние живут по многу лет, все нам известны.

Оставался западный сектор, наиболее тяжелый. По карте там находилась верховая и пешеходная дорога к скалистому плато, где лежали знаменитые развалины замка «Прикованного Скелета», рядом с ним, как и полагалось в таких случаях, находился пивной ресторан «К Прикованному Скелету».

В развалинах, действительно, показывали остатки подземелья и за железной решеткой, сооруженной городом, — огромный скелет в ржавых цепях, в сидячем положении, у закопченной стены. Изображения его продавались повсюду на открытках, на разрезных ножах, булыжниках и пивных кружках. Можно было даже сфотографироваться за двадцать пфеннигов рядом со скелетом и послать открытку знакомым или любимой женщине. По воскресеньям развалины пестрели отдыхающими обывателями, ресторан хорошо торговал. Бывали иностранцы.

Но после войны интерес к знаменитому скелету упал. Обыватели захудосочели и ленились в праздничные дни лазить на крутую гору, —

предпочитали располагаться с бутербродами и полбутылками пива вне исторических воспоминаний, — на берегу речки, под липами. Хозяин ресторана «К Прикованному Скелету» не мог уже со всем тщанием поддерживать порядок в развалинах. И бывало, что целыми неделями, не обеспокоенный ничьим присутствием, средневековый скелет глядел пустыми впадинами черепа на зеленую долину, где некогда в роковой день он перелезал с вассалами речку и пошел тешиться над чужими мужиками, покуда не сбил его с седла владетель замка, глядел на кирки с петухами на шпилях, на трубы заводов, где в мировом масштабе готовили нарывный газ, тетрил, милинит и прочие фабрикаты, отбивавшие у населения охоту к историческим воспоминаниям, к открыткам с изображением скелета и, пожалуй, к самой жизни.

В эти места и направлялись сейчас Вольф и Хлынов. Они зашли подкрепиться в кофейню на городской площади и долго изучали карту местности, расспрашивали кельнера. Достопримечательностями в западной части долины оказались, кроме развалин и ресторана, еще и вилла разорившегося за последние года фабриканта пишущих машин. Вилла стояла на западных склонах, и со стороны города ее не было видно. Фабрикант жил в ней один, безвыездно.

22.

Полная луна взошла перед рассветом. То, что казалось неясным нагромождением камней и скал, отчетливо выступило в лунном свету, легли бархатные тени от уцелевших сводов, потянулись вниз, в овраг остатки крепостной стены, поросшей корявыми деревцами и путаницей ежевики, ожила квадратная башня, старейшая часть замка, построенная норманнами, или, как ее называли на открытках, — «Башня Пыток».

С восточной стороны к ней примыкали кирпичные своды, здесь, видимо, была когда-то галлерея, соединявшая древнюю башню с жилым замком. От всего этого остались фундаменты, щебень да разбросанные капители колонн из песчаника. У основания башни под крестовым сводом, образующим раковину, лежал «Прикованный Скелет».

Вольф долго смотрел на него, навалившись локтями на решетку, затем повернулся и сказал Хлынову:

— Теперь смотрите сюда.

Глубоко внизу под лунным светом лежала долина, подернутая дымкой. Серебристая чешуя играла на реке в тех местах, где вода сквозила из-под древесных кущ Городок казался игрушечным. Ни одного освещенного окна. За ним налево горели сотни огней Анилиновой Компании. Поднимались белые клубы дыма, розовый огонь вырывался из труб. Доносились оттуда свистки паровозов, какой-то грохот.

— Я прав, — сказал Вольф, — только с этого плато можно ударить лучом. Смотрите, — вот то — склады сырья, там за земляным валом — склады полуфабрикатов, они совсем открыты, там — длинные корпуса

производства серной кислоты по русскому способу из серного колчедана. А вон те, в стороне, круглые крыши — производство анилина и всех этих дьявольских веществ, которые взрываются иногда по собственному капризу.

— Хорошо, Вольф, если предположить, что Гарин поставит аппарат только в ночь на двадцать восьмое, — все же должны быть какие-то признаки предварительной установки.

— Нужно осмотреть развалины, я возьму башню, вы — стены и своды... В сущности, лучше места, где сидит эта скелетина, — не выдумаешь.

— В семь часов сходимся в ресторане.

— Ладно.

23.

В восьмом часу Вольф и Хлынов пили молоко на деревянной веранде ресторана «К Прикованному Скелету». Ночные поиски были безуспешны. Сидели молча, подперев головы. За эти дни они так изучили друг друга, что читали мысли. Хлынов, более впечатлительный и менее склонный доверять себе, — много раз начинал пересматривать весь ход рассуждений, которые привели его и Вольфа из Парижа в эти, казалось, совсем безобидные места. На чем основано было это убеждение? На двух-трех строчках из газет. Не окажемся ли мы в дураках?

На это Вольф отвечал:

— Человеческий ум ограничен. Но всегда для дела разумнее полагаться на него, чем сомневаться. К тому же, если мы ничего не найдем, и дьявольское предприятие Гарина окажется нашей выдумкой, то и слава богу. Мы исполнили свой долг.

Кельнер принес яичницу и две кружки пива. Появился хозяин, багрово-румяный толстяк:

— Гут моин, мейне херн, — и, посвистывая одышкой, озабоченно ждал, когда гости утолят аппетит. Затем протянул руку к долине, еще голубоватой и сверкающей влагой: — Двадцать лет я наблюдаю... Дело идет к концу, — вот, что я скажу, мои дорогие господа... Я видел мобилизацию. Вон по той дороге шли войска, это были добрые германские колонны. (Хозяин выкинул, как пружину над головой, жирный указательный палец.) ...Это были зигфриды, да, да, — те самые, о которых писал Тацит: могучие, наводившие ужас, в шлемах с крылышками. Будьте уверены, крылышки над головой, — вот кто создал и прославил Германию. Алло, обер, еще две кружки пива господам... В четырнадцатом году зигфриды шли покорять вселенную. Им не хватало только щитов, — вы помните — старый германский обычай: издавая воинственные клики, прикладывать щит ко рту, чтобы голос казался страшнее. Да, я видел кавалерийские зады, плотно сидевшие на лошадях... Что случилось, я хочу спросить? Или мы разучились умирать в кровавом бою? Я видел, как войска проходили обратно. Кавалерийские

зады все еще плотно, чорт возьми, сидели на седлах... Германцы не были разбиты на поле. Их пронзили мечами в постелях, у их очагов...

Хозяин выпученными глазами обвел гостей, обернулся к развалинам, лицо его стало кирпичного цвета. Медленно он вытащил из кармана пачку открыток и хлопнул ею по ладони:

— Вы были в городе, я спрошу: видали вы хотя бы одного немца выше пяти с половиной футов росту? А когда эти пролетарии возвращаются с заводов, вы слышали, чтобы один хотя бы имел смелость громко сказать: Дейчланд... А вот о социализме они хрипят за пивными кружками, эти не помнящие родства...

Хозяин ловко бросил на стол пачку открыток, рассыпавшихся веером... Это были изображения скелета просто, скелета и германца с крылышками, скелета и воина четырнадцатого года в полной амуниции.

— Двадцать пять пфеннигов штука, две марки пятьдесят пфеннигов за дюжину, — сказал хозяин с презрительной гордостью, — дешевле никто не продаст, это добрая дореволюционная работа, — цветная фотография, в глаза вставлена фольга, это производит неизгладимое впечатление... И вы думаете — эти трусы-буржуа, эти пяти с половиной футовые пролетарии, покупают мои открытки? Пфуй... Вопрос поставлен так, чтобы я снял Карла Либкнехта рядом со скелетом...

Он опять надулся кровью и вдруг захохотал:

— Подождут... Обер, положите в наши оригинальные конверты по дюжине открыток господам... Да, милостивые государи, приходится изворачиваться... Я покажу вам модель, патент... К августу гостиница «К Прикованному Скелету» будет продавать это сотнями... Здесь я иду в ногу с нашим временем и не отступаю от принципов.

Хозяин ушел и сейчас же вернулся с небольшим, в виде коробки от сигар, ящичком. На крышке его был выжжен по дереву все тот же скелет.

— Желаете испробовать? Действует не хуже, чем на катодных лампах. — Он живо приладил провод и слуховые трубки, включил радиоприемник в штепсель, пристроенный под столом. — Стоит три марки семьдесят пять пфеннигов, без слуховых трубов, разумеется. — Он протянул наушники Хлынову. — Можно слушать Берлин, Гамбург, Париж, если это доставит удовольствие. Я вас соединю с Кельнским собором, сейчас там обедня, вы услышите орган, это колоссально... Поверните рычажек налево.. Во имя бога, фуй. Кажется опять мешает проклятый Штуфер.

— Кто мешает? — спросил Вольф, нагибаясь к аппарату.

— Разорившийся фабрикант пишущих машин, Штуфер, пьяница и сумасшедший... Два года тому назад он поставил у себя на вилле радиостанцию. Потом разорился. И вот, недавно станция опять заработала...

Хлынов, странно блестя глазами, опустил трубки:

— Вольф, платите и идемте.

Когда через несколько минут, отвязавшись от говорливого хозяина, они вышли за калитку ресторана, Хлынов сжал руку Вольфу ледяными пальцами:

— Это говорил Гарин...

24.

В это утро, часом раньше, на вилле Штуфера, расположенной на западном склоне тех же холмов, в полутемной столовой за столом сидел Штуфер и разговаривал с невидимым собеседником. Вернее, это были обрывки фраз и ругательств. На обсыпанном пеплом столе и на полу валялись бутылки, окурки сигар, воротничек и галстух Штуфера. Он был в одном белье, чесал рыхлую грудь, гладил голый череп, пялился на электрическую лампочку, единственную горевшую в огромной железной люстре, сдерживая отрыжку, ругал вполголоса последними словами все те человеческие образы, которые выплывали в его пьяной памяти.

Торжественно башенным боем столовые часы пробили семь. Почти тотчас же послышался шум подъехавшего автомобиля. В столовую вошел Гарин, весь пронизанный утренним ветром, насмешливый, зубы оскалены, кожаный картуз на затылке:

— Ловко! Всю ночь пьянствовали?

Штуфер покосился налитыми глазами. Гарин ему нравился. Он щедро платил за все. Не торгуясь, снял на летние месяцы виллу вместе с винным погребом, предоставив Штуферу расправляться со старыми рейнскими, французским шампанским и ликерами. Чем он занимался, чорт его знает, видимо спекуляцией, но он ругательски ругал американцев, разоривших Штуфера два года тому назад, он презирал правительство и называл людей, вообще, сволочью, — это тоже было хорошо. Он привозил в автомобиле такую жратву, что даже в лучшие времена Штуфер не позволял себе и думать, — намазывать столовой ложкой драгоценные страсбургские паштеты, русскую икру, текучие бри, или любительские камамберы, кишащие сверху белыми червяками. Могло даже показаться, что в его расчеты входило — непрерывно держать Штуфера под винными парами.

— Как будто вы-то всю ночь богу молились, — прохрипел Штуфер.

— Премило провел время с девочками, в Кельне, и видите, — свеж и не сижу в подштанниках. Вы падаете, Штуфер. Кстати, меня предупредили о не совсем приятной вещи... Оказывается, ваша вилла стоит слишко близко к химическим заводам... Как на пороховом погребе...

— Вздор, — заорал Штуфер, — опять какая-то сволочь подкапывается... На моей вилле вы в полнейшей безопасности...

— Тем лучше. Дайте-ка ключ от станции.

Крутя за цепочку ключ, Гарин вышел в сад, где стоял небольшой застекленный сарай под мачтами антенны. Было совсем тихо, пахли смолой сосны. Кое-где на запущенных куртинах стояли керамиковые карлики, загаженные птицами. Гарин поднял голову. За ветвями сосен в синем небе плыли летние облака. Он усмехнулся. Пожал плечами. Ото-

мкнул стеклянную дверь, вошел, распахнул окна. Облокотился на подоконник и так стоял некоторое время. В теле сладко гудела усталость бессонной ночи. Почти двадцать часов он провел в автомобиле, заканчивая дела с банками и заводами. Теперь — все было в порядке перед двадцать восьмым числом.

Он думал о Зое. Как странно, — с той минуты, когда он увидел ее в ночном кабаке на Монмартре, все окружающее стало как сон: борьба, опасности, кровавые столкновения, вся сумасшедшая работа так же мало касались его чувств, как то, что пролетает за окном вагона. Он ощущал одну цель, — Зоя, женщина, — и к ней шел, как среди сновидений. При мысли о ней темнело в глазах. Она была близка ему только одну ночь, когда в Вилль Давре шелестели за окном сырые листья. Эта ночь оглушила, обольстила, ослепила его навсегда. Кто объяснит — какие силы, более могучие, чем земная тяжесть, страх смерти, жадность к жизни заставляют только одного из полутора миллиардов на земле и только одну из полутора миллиардов содрогаться, когда их тело коснется тела, глаза заглянут в глаза, совьются руки, — будто в мировых пространствах только эти две живые частицы и ждали, и томились, и искали друг друга, чтобы прикосновением, слиянием осуществить тяготеющий над ними закон.

Он не помнил, сколько времени так простоял у окна. Потянулся, стряхивая мечтательность, закурил сигару и уже деловито включил динамо (от городского тока), осмотрел и настроил аппараты, затем, отложив сигару, встал прямо перед микрофоном и заговорил громко и раздельно:

— ... Зоя, Зоя, Зоя, Зоя... Слушайте, слушайте, слушайте... Будет все так, как ты захочешь. Только умей хотеть. Желай, сходи с ума, — это хорошо. Ты мне нужна такой. Без тебя мое дело мертвое. На-днях буду в Неаполе. Точно сообщу завтра. Не тревожься ни о чем. Все благоприятствует...

Он помолчал, покусал кожицу на губе и снова начал: «Зоя, Зоя, Зоя»... Закрыл глаза. Говорил так, будто его слова живою плотью касались Зои. Мягко гудело динамо, и невидимые молнии срывались одна за другой с антенны между двух решетчатых мачт.

Проезжай сейчас артиллерийский обоз, — Гарин наверно не расслышал бы шума. И он не слышал, как в конце лужайки покатились камни под откос. Затем, в пяти шагах от павильона раздвинулись кусты, и в них на уровень человеческого глаза поднялся вороненый ствол кольта.

25.

Роллинг взял телефонную трубку:

— Да.

— Говорит Семенов. Только что перехвачено радио Гарина. Разрешите прочесть?..

— Да.

— «Будет все так, как ты захочешь, только умей хотеть», — начал читать Семенов, кое-как переводя с русского на французский. Роллинг слушал, не издавая ни звука, и слова телефонограммы, переводимые им с французского на английский, врезались в мозг каленым железом.

— Все?

— Так точно, все.

Роллинг положил трубку. Сжал рукою лоб, сидел так с минуту. Снова протянул руку к телефону:

— Медона! (номер).

— Алло, говорит Семенов... Ах, это вы, — ах!..

— Запишите, — стал диктовать Роллинг: — немедленно послать за монтером, настроить отправную станцию точно на длину волны 421. Завтра десятью минутами раньше того времени, когда вы перехватили сегодняшнюю телеграмму, — начнете отправлять радио: «Зоя, Зоя, Зоя... Случилось неожиданное несчастье. Необходимо действовать. Если вам дорога жизнь вашего друга,—высадитесь в пятницу в Неаполе, остановитесь в гостинице Сплендид, ждите известий до полудня субботы». Это вы будете повторять непрерывно, — слышите ли, — непрерывно громким и убедительным голосом. Все.

Роллинг позвонил.

— Немедленно найти и привести ко мне Тыклинского, — сказал он, вскочившему в кабинет секретарю. — Немедленно ступайте на аэродром. Арендуйте, или купите — безразлично — закрытый пассажирский аэроплан. Наймите двух пилотов. К двадцать восьмому приготовить все к отлету...

26.

Весь остальной день Вольф и Хлынов провели в К. Бродили по улицам, пересаживались из одной кофейни в другую, читали газеты, брились под вывеской тазика и конского хвоста, осмотрели дом, где три дня жил Гете, и бронзовую пушку, которой жители в семнадцатом веке отбивались от герцога Савойского.

Как и повсюду в маленьких городах, — женщины были наблюдательны и любопытны, мужчины — разговорчивы. Вольф неизменно отвечал, что они с товарищем ждут утреннего четырехчасового поезда и не знают, как убить время. В жителях пробуждалась патриотическая гордость, — они советовали посетить, несмотря на сумерки, дом Гете, осмотреть знаменитую пушку. Узнав, что то и другое уже видано, качали головами, сокрушались, — какое еще развлечение придумать проезжим?

Когда городок затих, Вольф и Хлынов пошли в горы. К полночи они уже поднимались по откосу в сад Штуфера. Было решено объявить себя заблудившимися туристами, когда полиция обратит на них внимание. Если их задержат — тем лучше: будет больше возможности осмотреть дом, где, несомненно, спрятан аппарат Гарина. Арест был безопасен, их алиби мог установить весь город. После выстрела из кустов, когда ясно

было видно, как у Гарина брызнули осколки черепа, — Вольф и Хлынов меньше, чем через сорок минут были уже в городе.

Они перелезли через низкую ограду, осторожно обогнули поляну за кустами и вышли к дому. Остановились, переглянулись, ничего не понимая. В саду и в доме было покойно и тихо. Несколько окон освещено. Большая дверь, ведущая из комнаты прямо в сад, раскрыта. Мирный свет падал на каменные ступени, на траву, на загаженный птицами колпачок карлика в клумбе. На крыльце, на верхней ступени, раздвинув ноги, сидел человек и тихо играл на флейте. Рядом с ним стояла оплетенная бутыль. Это был тот самый человек, который утром неожиданно появился на тропинке близ радио-павильона и, услышав выстрел, повернулся и шаткой рысью побежал к дому. Сейчас он благодушествовал, как будто ничего не случилось.

— Подойдем, — прошептал Хлынов, — нужно узнать.

Вольф проворчал:

— Я не мог промахнуться.

Они пошли к крыльцу. На полдороге Хлынов проговорил негромко, по-ночному:

— Простите за беспокойство... Здесь нет собак?

Штуфер опустил флейту, повернулся на ступеньке, вытянул шею, вглядываясь в две неясные фигуры:

— Ну, нет, — протянул он, — собаки здесь злые.

Хлынов объяснил:

— Мы заблудились, хотели посетить развалины «Прикованного Скелета»... Разрешите отдохнуть у огонька.

Штуфер ответил неопределенным мычанием. Вольф и Хлынов подошли, поклонились, сели на нижние ступени, — оба настороженные, взволнованные. Штуфер поглядывал на них сверху.

— А, между прочим, — сказал он так же негромко, по-ночному, — когда я был богат, в сад спускались голодные кобели. Я не любил нахалов и ночных посетителей. (Хлынов быстро пожал Вольфу руку, — молчите, мол.) Американцы меня разорили, и мой сад сделался проезжей дорогой для бездельников, хотя повсюду прибиты доски с предупреждением о тысяче марок штрафа. Но Германия перестала быть страной, где уважают закон и собственность.

— Простите, — пробурчал Вольф, — эта чортова темнота в горах...

— Итак, со мной перестали считаться, потому что я разорен и у меня осталось одна вот эта флейта. И немного вина в подвалах, это — между прочим. И я это вино пью, не жалея печени и почек, так как за вино заплачено.

Штуфер нагнул плетеную бутыль, налил в кружку черно-красного вина, шмыгнув, выпил и вытер усы ребром ладони.

— Штуфер выкинут из жизни, но Штуфер всегда прав, заметьте. Я говорил человеку, арендовавшему у меня виллу: обнесите сад колючей проволокой и наймите сторожа. Он не послушался Штуфера, и сам виноват...

Подняв камушек и бросив его в темноту, Вольф спросил:

— Что-нибудь случилось неприятное у вас из-за этих посетителей?

— Сказать неприятное — слишком сильно, но — смешное. Не далее, как сегодня утром. Во всяком случае мои экономические интересы не затронуты, и я буду предаваться моим развлечениям, моим удовольствиям, и моим досугам, не считаясь ни с какою сволочью...

Он приложил флейту к губам и издал несколько пронзительных звуков. Снова налил вина, поднял его к свету, выпил жадно и полез в пиджак за трубкой.

— В конце концов, какое мне дело, живет он здесь или пьянствует с девочками в Кельне? Деньги, деньги!.. Он заплатил все до последнего пфеннига... Никто не смеет бросить ему упрека. Но, видите ли, оказался нервным господином. Я объясняю: это — случай: какой-нибудь бездельник стрелял в сороку... Нет... Уложил все имущество, до свиданья, до свиданья, до свиданья... Что ж — скатертью дорога.

— Он уехал совсем? — внезапно громко спросил Хлынов. Штуфер приподнялся, но снова сел. Видно было, как щека его, на которую падал свет из комнаты, расплылась, — маслянистая, ухмыляющаяся. Заколыхался буграстый, голый череп.

— Так и есть, он меня предупреждал, — непременно об его отъезде будут спрашивать самые неожиданные личности... Уехал, уехал, дорогие мои джентльмены. Не верите, пойдемте, — покажу его комнаты. Если вы его друзья, — пожалуйста, убедитесь... Это ваше право — за комнаты заплачено...

Штуфер опять хотел встать, — ноги его никак не держали. Больше от него ничего нельзя было добиться путного. Вольф и Хлынов вернулись в город. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова. Только на мосту, над черной водой, где отражался фонарь, Вольф вдруг остановился, выпучился, стиснул кулаки:

— Что за чертовщина! Я же видел, у него разлетелся череп...

27.

Небольшой и плотный человек с полуседыми волосами, приглаженными на гладкий пробор, в круглых голубых очках, прикрывающих больные глаза, стоял у изразцовой печи и, опустив голову и вертя сломанный перочинный ножик, слушал Хлынова.

Сначала Хлынов сидел на диване перед овальным красным столом, затем пересел на подоконник, затем начал бегать по небольшой, затянутой алым штофом, приемной комнате советского посольства.

Он рассказывал о Гарине и Роллинге. Рассказ был точен и последователен, но Хлынов и сам чувствовал невероятность всех нагромоздившихся событий. Единственным убедительным документом была фотография из Интренсижен.

— Предположим, мы с Вольфом ошибаемся... Прекрасно, — мы счастливы, если ошибемся в выводах. Но все же 50% за то, что катастрофа будет. Нас должны интересовать только эти 50%. Вы как посол можете убедить, повлиять, раскрыть глаза... Все это ужасно серьезно. Аппарат существует. Шельга дотрагивался до него рукой. Действовать нужно немедленно, сию минуту. В вашем распоряжении не больше суток. Завтра в ночь все это должно разразиться. Мы условились: с четырехчасовым я поскакал в Берлин, к вам, Вольф остался в К. Он делает, что может, чтобы предупредить рабочих, профсоюзы, городское население, администрацию заводов. Разумеется, ну, разумеется, — никто не верит... Вот, даже вы...

Посол поднял брови, промолчал. Ножичек все так же повертывался у него в пальцах.

— В редакции местной газеты над нами смеялись до слез... В лучшем случае нас считают сумасшедшими...

— Вы обращались в местный комитет партии?

— Да. Но там тоже пожали плечами: — явились двое с ветру и требуют немедленной эвакуации города... Разумеется, нелепо... Ужасно!..

Хлынов медленно поднял руки и сжал голову, — нечесаные клочья волос торчали между грязными пальцами. Лицо его было осунувшимся, пыльное, в потеках пота. Побелевшие глаза остановились, как перед видением ужаса. Посол осторожно, из-за края очков, наблюдал за ним.

— Почему вы раньше не обратились ко мне?

— Разве я мог? У нас не было фактов... Предположения, выводы, — но все это на грани фантастики, безумия... Мне и сейчас минутами сдается, — проснусь и сотру с лица этот проклятый сон... Чорт бы его взял!.. Восемь суток мы с Вольфом не раздевались, не ложились спать.

После молчания посол сказал очень серьезно:

— Я уверен, что вы не мистификатор, товарищ Хлынов. Скорее всего вы поддались навязчивой идее,—он быстро поднял руку, останавливая отчаянное движение Хлынова,—но для меня убедительно прозвучали ваши пятьдесят процентов. Я поеду и сделаю все, что в моих силах...

28.

Двадцать восьмого с утра на городской площади в К. собирались кучками обыватели и, одни с недоумением, другие с некоторым страхом, обсуждали странные прокламации, расклеенные в нескольких местах по городу. Это были клочки бумаги, прилепленные жеваным хлебом к домам на перекрестках. Размашистыми буквами, карандашом, было написано на них:

«Ни власти, ни заводская администрация, ни рабочие союзы, — никто не пожелал внять нашему отчаянному призыву. Сегодня — мы в этом уверены — заводам, городу, всему населению грозит гибель. Мы старались предотвратить ее, но негодяи, подкупленные американскими бан-

кирами, оказались неуловимы. Спасайтесь, бегите из города на равнину. Верьте нам во имя вашей жизни, во имя ваших детей, во имя бога».

Полиция догадывалась, кто писал прокламации, и разыскивала Вольфа. Но он исчез. К середине дня городские власти выпустили афишу, предупреждение, — ни в каком случае не покидать города и не устраивать паники, так как, видимо, шайка мошенников намерена похозяйничать этой ночью в покинутых домах. «Граждане, вас дурачат. Обратитесь к здравому смыслу. Мошенники сегодня же будут обнаружены, схвачены, и с ними поступят по закону».

Власти попали в точку: пугающая тайна оказалась простой, как репа. Обыватели сразу успокоились, и уже посмеивались: а ловко было придумано, — ловкачи. Похозяйничали бы они по магазинам, по квартирам, — ха-ха. А мы-то, дураки, всю ночь бы тряслись от страха на равнине. Хи-хи.

Настал вечер, такой же, как тысячи вечеров, озаривших городские окна закатным светом. Успокоились птицы по деревьям. На реке, на сырых берегах, заквакали лягушки. Часы кирпичной кирки проиграли «Вахт ам Рейн» на страх паршивым французам и прозвонили восемь. Из окон кабачков мирно струился свет, и завсегдатаи, не спеша, со вкусом и экономией, мочили усы в пивной пене. Успокоился и хозяин загородного ресторана «К Прикованному Скелету», — походил по пустой террасе, проклял правительство, социалистов и евреев, приказал закрыть ставни и поехал на велосипеде в город к любовнице.

В этот час по западному склону холмов, по мало проезжей дороге, почти бесшумно и без огней, промчался автомобиль. Заря уже погасла, звезды были еще неяркие, за горами разливалось холодноватое сияние, — восходила луна. На равнине кое-где желтели огоньки. И только в стороне заводов не утихала жизнь.

Над обрывом, там, где кончались развалины замка, сидели Вольф и Хлынов. Они еще раз облазили все закоулки, поднялись на квадратную башню — нигде ни малейшего намека на приготовления Гарина. Одно время им показалось, что вдалеке промчался автомобиль. Они прислушивались, вглядывались. Вечер был тих, пахло полынью, древним покоем земли. Иногда движения воздушных струй доносили снизу сырость цветов.

— Смотрел по карте, — сказал Хлынов, — если мы спустимся в западном направлении, то пересечем железную дорогу на полустанке, где останавливается почтовый, в 5.30. Не думаю, чтобы там тоже дежурила полиция.

Вольф ответил с ласковой грустью:

— Смешно и глупо все это кончилось, милый друг. Человек еще слишком недавно поднялся с четверенек на задние конечности, слишком еще тяготеют над ними миллионы веков непросветленного зверства. Страшная вещь — человеческая масса, не руководимая большой идеей. Людей нельзя оставлять без вожаков, нет. Их ужасно тянет стать на четвереньки.

— Ну, что это уж вы так, Вольф?..

— Я устал. — Вольф сидел на куче камней, подперев кулаками крепкий подбородок. Разве хоть на секунду приходило в голову, что двадцать восьмого нас будут ловить, как мошенников и грабителей? Если бы вы видели, как эти представители власти переглядывались, когда я распинался перед ними... Ах, какой же я дурак! И они правы, — вот в чем дело. Они никогда не узнают, что им грозило...

— Если бы не ваш выстрел, Вольф...

— Чорт!.. Если бы я не промахнулся... Я готов десять лет просидеть в каторжной тюрьме, — только бы доказать этим идиотам...

Голос Вольфа теперь гулко отдавался в развалинах. В тридцати шагах от разговаривающих, — совершенно так же, как охотник крадется под глухариное токанье, — в тени полуобвалившейся стены пробирался Гарин. Ему были ясно видны очертания двух людей над обрывом. Слышно каждое слово. Открытое место между концом стены и башней он прополз. В том месте, где к подножию башни примыкала сводчатая пещера «Прикованного Скелета», лежал осколок колонны из песчаника. Гарин скрылся за ним. Раздался хруст камня и скрип заржавленного железа. Вольф вскочил:

— Вы слышали?

Хлынов глядел на кучу камней, где под землей исчез Гарин. Они побежали туда. Обошли кругом башни.

— Здесь водятся лисы, — сказал Вольф.

— Нет, скорее всего это крикнула ночная птица.

— Нужно уходить. Мы с вами начинаем галлюцинировать...

Когда они подошли к обрывистой тропинке, уводящей из развалин на горную дорогу, раздался второй шум, — будто что-то упало и покатилось. Вольф весь сотрясся. Они долго слушали, не дыша. Сама тишина, казалось, звенела в ушах. «Сплю-сплю, сплю-сплю», — кротко и нежно, то там, то вот — совсем низко — покрикивал, летая, невидимый козодой.

— Идем.

— Да, глупо.

На этот раз они решительно и не оборачиваясь зашагали вниз. Это спасло им жизнь.

29.

Вольф не совсем был неправ, когда уверял, что у Гарина брызнули осколки черепа. Когда Гарин, окончив в микрофон повторяемую фразу, потянулся за сигарой, дымившейся на краю стола, — слуховая чашечка из эбонита, которую он прижимал к уху, чтобы контролировать свой голос при передаче, внезапно разлетелась вдребезги. Одновременно, затем, он услышал резкий выстрел и почувствовал короткую боль удара в левую сторону черепа. Он сейчас же упал на бок, перевалился ничком и замер. Он слышал, как завыл Штуфер, как зашуршали шаги убегающих людей,— убийц.

«Кто, — Роллинг или Шельга?», — эту загадку он решал, когда часа через два мчался на автомобиле в Кельн. Но только сейчас, услышав разговор двух людей на краю обрыва, разгадал: Шельга. Молодчина. Но, все-таки, ай-ай, — прибегать к недозволенным приемам...

Он отсунул осколок колонны, прикрывавшей ржавую крышку люка, проскользнул под землю, и с электрическим фонариком поднялся по разрушенным ступеням в «каменный мешок», — одиночку, сделанную в толще стены нормандской башни. Это была глухая камера шага по два с половиной в длину и ширину. В стене еще сохранились бронзовые кольца и цепи. У стены противоположной на грубо сколоченных козлах стоял аппарат. Под ним лежали четыре жестянки с динамитом. Против дула аппарата стена была продолблена и отверстие с наружной стороны прикрыто костяком «Прикованного Скелета».

Гарин погасил фонарь, отодвинул в сторону дуло и, просунув руку в отверстие, сбросил костяк. Череп отскочил и покатился. В отверстие были видны огни заводов. У Гарина были зоркие глаза. Он различал даже крошечные человеческие фигуры, двигающиеся между постройками. Все тело его дрожало. Зубы стиснуты. Он не предполагал, что так трудно будет подойти к этой минуте...

Он снова направил аппарат дулом в отверстие, приладил. Откинул заднюю крышку, осмотрел пирамидки. Все это было приготовлено еще неделю тому назад. Второй аппарат и старая модель лежали у него внизу, в роще, в автомобиле.

Он захлопнул крышку и положил руку на рычажок магнето, которым автоматически зажигались пирамидки. Он дрожал с головы до ног. Зубы хлябали. Не совесть (какая уж там совесть после мировой войны?), не страх (он был слишком легкомыслен!), не жалость к обреченным (они были слишком далеко!) — обдавали его ознобом и жаром. Он с ужасающей ясностью понял, что вот от одного этого оборота рукоятки он становится врагом человечества. Это было чисто эстетическое переживание важности минуты.

Он даже снял было руку с рычажка и полез в карман за папиросами. И тогда его взволнованный мозг ответил на движение руки, послал повестку: «Ты наслаждаешься, это сумасшествие»...

Гарин закрутил магнето. В аппарате вспыхнуло и закипело пламя. Он медленно стал поворачивать микрометрический винт.

30.

Хлынов первый обратил внимание на странный клубочек света высоко в небе.

— А вон — еще один, — сказал он тихо. Они остановились на половине дороги над обрывом и глядели, подняв головы. Пониже первого, над очертаниями деревьев возник второй огненный клубок и, роняя искры, как догоревшая ракета, стал падать...

— Это горят птицы, — прошептал Вольф, — смотрите. — Над лесом на светлой полосе неба летел торопливо, неровным полетом, — должно быть козодой, кричавший давеча: «спать—спать». Он вспыхнул, перевертываясь, и упал.

— Они задевают за проволоку.

— Какую проволоку?

— Разве не видите, Вольф?

Хлынов указал на светящуюся, прямую, как игла, нить. Она шла сверху от развалин по направлению заводов Анилиновой Компании... Путь ее обозначался вспыхивающими листочками, горящими клубками птиц. Теперь она светилась ярче, — большой отрезок ее перерезывал черную стену сосен.

— Она опускается, — крикнул Вольф. И не окончил. Оба поняли, что это была за нить. В оцепенении они могли только следить за ее направлением. Первый удар инфра-красного луча пришелся по заводской трубе, — она заколебалась, надломилась посредине и упала. Но это было очень далеко, и звук падения не был слышен.

Почти сейчас же влево от трубы поднялся столб пара над крышей длинного здания, порозовел, перемешался с черным дымом. Еще левее стоял пятиэтажный корпус. Внезапно все окна его погасли. Сверху вниз, по всему фасаду, побежал огненный зигзаг, еще и еще... Хлынов закричал, как заяц... Здание осело, рухнуло, его костяк закутался облаками дыма.

Тогда только Вольф и Хлынов кинулись обратно, в гору, к развалинам замка. Пересекая извивающуюся дорогу, лезли на крутизны по орешнику и мелколесью. Падали, соскальзывали вниз. Рычали, ругались один по-русски, другой по-немецки. И вот, до них долетел глухой звук, точно вздохнула земля.

Они обернулись. Теперь был виден весь завод, раскинувшийся на много километров. Половина зданий его пылали, как картонные. Внизу, у самого города, грибом поднимался серо-желтый дым. Инфра-красный луч бешено плясал среди этого разрушения, нащупывая самое главное — склады взрывчатых полуфабрикатов. Зарево разливалось на полнеба. Тучи дыма, желтые, бурые, серебряно-белые, снопы искр взвивались выше гор.

— Ах, поздно! — закричал Вольф.

Было видно, как по меловым лентам дорог ползет из города какая-то живая каша. Полоса реки, отражающая весь огромный пожар, казалась рябой от черных точек. Это спасалось население, — люди бежали на равнину.

— Поздно, поздно! — кричал Вольф. Пена и кровь текли по его подбородку.

Спасаться было поздно. Травянистое поле, между городом и заводом, покрытое длинными рядами черепичных кровель, вдруг поднялось. Земля вспучилась. Это первое, что увидели глаза. Сейчас же из-под земли сквозь щели вырвались бешеные языки пламени. И сейчас же из пламени взвился

ослепительный, никогда никем не виданной яркости столб, — гора огня и раскаленного газа, вытягивающаяся все выше и выше пылающая пирамида... Небо точно улетело вверх над всей равниной. Пространства заполнились зелено-розовым светом. Выступили в нем, точно при солнечном затмении, каждый сучок, каждый клок травы, камень, два окаменелых, обезумевших человеческих лица.

Ударило. Загрохотало. Поднялся рев разверзшейся земли. Затряслись горы. Ураган потряс и пригнул деревья. Полетели камни, головни. Тучи дыма застлали равнину. Стало темно. И в темноте раздался второй взрыв. Весь дымный воздух насытился мрачно красным, гнойным светом.

Ветер, осколки камней, сучьев опрокинули и увлекли под кручу Хлынова и Вольфа.

(Продолжение следует).

* * *

В час, когда ночь воткнет
Луну на черный палец —
Ах, о ком? Ах, кому поет
Про любовь соловей-мерзавец?

Разве можно теперь любить,
Когда в сердце стирают зверя?
Мы идем, мы идем продолбить
Новые двери.

К чорту чувства, слова в навоз,
Только образ и мощь коллектива.
Что нам солнце? Весь звездный обоз —
Золотая струя коллектива.

Что нам Индия? Что Толстой?
Этот ветер, что был, что не был.
Нынче мужик простой
Пялится ширьше неба.

1919, январь.

* * *

Вот такой, какой есть,
Никому ни в чем не уважу,
Золотую плету я песнь,
А лицо иногда в сажу.

Говорят, что я большевик.
Да, я рад зауздать землю.
О, какой богомаз мой лик
Начертил, грозовице внемля?

Пусть Америка, Лондон пусть...
Разве воды текут обратно?
Это пляшет российская грусть,
На солнце смывая пятна.

1919, февраль.

* * *

В глазах пески зеленые
И облака.
По кружеву крапленому
Скользит рука.

То близкая, то дальняя
И так всегда.
Судьба ее печальная
Моя беда.

9 июня 1916 г.

Сергей Есенин.

Цыганская венгерка.

Висли руки с кислой скуки...
Вдруг — и дзинь! — гитары звук —
И пошел под выстуки, под стуки
Словно пьянствовать каблук.

Вот пустился шибко-шибко,
Вот и вздрогнула рука,
Вот и вспрыгнула улыбка
На ладони с каблука.

Шибче и шибче, и в трепете весеннем
Выстуки, и вычеки, и вытопы горят.
Миг — и посыпался, забился по коленям
Хлестких ладоней звончатый град.

Больше, больше звончатого града!
Эх, раз, еще раз!
Вихри лихих, оглушительных радуг
Начал вычеканивать пьяный пляс.

Начал вычеканивать и, оторопью встрепан,
Начал вбрасывать и в жар, и в зноб.
Вот — и в задоре стремительного топа
Ладонями, ладонями и в рот, и в лоб.
Еще бы подзадорить, и все пошло б
Всполохом безумья... И вдруг — стоп!..
Мертвое мгновенье — и потоп
Огромным восторгом взъяренного хлопа.

Василий Казин.

Прабабка.

Обветренною босоножкой,
Смела, смешлива и смугла,
Она под барское окошко
Сплясать и погадать пришла.

Монисто на груди блестело,
Струились косы в два ручья,
И темное дышало тело
Из разноцветного тряпья.

Сердитый прадед был в халате,
В ермолке, с длинным чубуком,
И злился, что шутя истратил
Получку за орловский дом.

Но все ж, вооружась лорнетом,
Он на цыганку поглядел
И вздрогнул. Дело было летом.
Цвели кувшинки на пруде.

Смеясь, к цыганке прадед вышел,
И жадный взор холостяка
По ней узор горячий вышил,
И по груди, и по щекам.

И буйно вспыхнуло здоровье
В крови его набухших жил.
С своей упрямостью воловьей
Он жребий свой и мой решил.

Засел с бурмистром в кабинете,
На счетах щелкал и кричал:
Купить сейчас же! Иль в ответе
Ты будешь с пятки до плеча.

С деньгами было очень слабо.
Иль дом закладывать опять?
Всю ночь галдел под садом табор:
Берет женой или гулять?

Уж прадед звал бурмистра высечь,
И солнце искрилось в росе,
Когда решили: сорок тысяч,
Законный брак, и пир для всех.

Согласен! И с гортанным пеньем
Цыгане ринулись к вину.
Ценой последнего именья
Помещик приобрел жену.

И в дом вошла цыганка павой,
Моей прабабушкой вошла.
Соседи вкруг охальной славой
Звонят во все колокола.

Но крепок нравом неминучим,
Веселый от своей судьбы,
На свадьбе всех споил Анучин
От парадиза до избы.

Кутили всласть. Плясали пары,
И прадед слушал визготню.
Потом спустил борзых поджарых
На охмелевшую родню.

И разметалась в изголовье
Цыганских кос густая тень.
Спасибо, прадед! Дикой кровью
Ты сбил во мне дворянства лень.

И я люблю коней и пляску,
И пыль дорог, и дым костров.
Прабабки полевую ласку
Вы пьете из моих стихов.

Сергей Городецкий.

* * *

Гуденье церковной меди
Над домиками плывет.
Прохожий несет к обедне
Тяжелый комод-живот.

Солидны его движенья, —
Видать, что не кое-кто!
На сытом лице — уваженье
К себе, к животу, к пальто.

Такие довольны судьбою,
Хотя и живут без затей.
Он давит клопов на обоях,
Сечет на досуге детей.

А в праздник, после обеда
(Не бойтесь: это — во сне!),
Хватает партийца-соседа
И вешает на сосне.

Полдня, то еда, то икота,
А вечером в семь часов
Раскрашенные ворота,
Скрипя, задвигает засов.

Как ставни, опущены веки
На маленькие глаза...
Вот так он уснет навеки
И ляжет под образа.

Его отпоют по чину.
Друзьями окружена,
Безвременную кончину
Умело оплачет жена.

Спи с миром, как спал многократно!
Ты в жизни оставил след:
Клопиные бурые пятна —
Свидетельство скромных побед!

Дм. Семеновский.

Россия тогда.

Были ива да Иван,
    древа, люди,
Были выше — дерева,
    люди — лютей.

Упиралися в туман
    поднебесный —
Деревянные дома,
    церкви, кнесы...

За кремлевскою стеной —
    Грозный топал,
Головою костяной
    бился об пол.

Звал, шатая бородой, —
    «Эй, Малюта!
Помолися за убой
    смерть — малюток».

Под кремлевскою стеной —
    скрипы, сани,
Деготь — крут берестяной
    варят сами.

Плачет в избяном чаду
    молодуха —
Будто в свадебном меду —
    мало духа.

И под ребрами саней —
    плачет полоз —
Что опричины пьяней
    хриплый голос.

Бирюками полон бор,
площадь — людом,
По потылице — топор
хлещет люто.

Баба на ухо туга,
крутобока,
И храпят, храпят снега,
спят глубоко,

Узорочье молодиц,
ножки гусьи.
Это — милая — вглядись,
было — Русью.

Были ива и Иван,
были — вышли,
Стали ниже дерева,
избы — выше.

А на пахотях — земли
стало вдвое,
То — столетья полегли
перегноем.

С. Кирсанов.

К себе.

— О, милый друг, оставь весло
И не прислушивайся к пенью.
Смотри, как небо проросло
Завечеревшей голубенью.

Смотри, как выплыл сад планет,
Видал ли ты деревья гуще?
А этот желтый лунный свет,
Как с золотой горы бегущий.

Удел забот всегда тяжол,
Но в жизни есть и не такое,
Хотя бы то, что вот пришел
Час несказанного покоя.

Хотя бы то, что пред тобой...
Не ты ль несешь в себе как чашу
И купол темно-голубой,
И звезд нетронутую чащу.

И потому — оставь весло.
Пусть лодку тянет по теченью.
Ведь даже сердце проросло
Завечеревшей голубенью.

И пусть удел забот тяжел,
Но, видишь, есть и не такое,
Хотя бы то, что вот пришол
Час несказанного покоя.

В. Наседкин.

* * *

Люби до смерти. Мне в любви
Конца не увидать.
Ты отклони и позови
И обними опять.

Простым я с девушками был, —
Любовь моя проста, —
Одну из них не долюбил, —
Скажи не ты ли та?..

В ней кровь шумела как гроза,
Повиснув на руках,
Она глядела мне в глаза
В тревоге и в слезах.

Ты мне напомнила ее.
Ликуя, слышу я,
Как сердце бедное твое
Уже кричит: твоя...

Ах, все могу я побороть,
Но только не любовь.
Прости меня, хмельная плоть!
Прости, шальная кровь!

С тобою просидим вдвоем
С зари и до зари.
Люби до смерти, а потом,
Коль можно, повтори!..

Михаил Голодный.

Весенняя ночь.

Ни друга, ни денег, ни крепкого сна.
Одна мне утеха — ночная луна.

Бреду меж домами, где спят уж давно.
Белесо и дымно и глухо окно.

Извозчик промчится, фонарь подзовет,
И дальше — туманный манит поворот.

К кому постучаться? К кому бы пристать?
О днях одиноких напомнить опять?

Пусть друг позабыл, в кошельке ни гроша, —
С тобой не расстанемся, песня-душа!

Близка мне заря и деревьев молва.
Со мной еще ночь и луна и слова.

Кочуя, бормочет со мной тишина
И, в губы целуя, дурманит весна. —

Но вот — повалила меня на скамью...
Но вот — кто-то трогает руку мою.

— Любимый, идем же!.. И глаз — медяком.
Лохматым и грязным трясет рукавом.

Проснулся, очнулся: — Постылая, прочь!..
Бегу переулками в длинную ночь.

Косые заборы. И отблеск. И мост.
Луна промелькнула, как сирый погост. —

Все мельче и жальче... Вот скрылась она.
(Ах, помню я, знаю: — ни друга, ни сна!..)

Редеет уж сумрак. Прокличут гудки.
Бегу я с обрыва на звоны реки.

Играй, мое сердце, в ночной ледоход.
Холодную волю мне льдина несет.

Евсей Эркин

Песня гулевой феодосийской.

(Из Черноморской тетради).

Что матросик, — то и люб,
    То и нов:
Сняла б юбку, да боюсь, —
    Без штанов.
Кабы клёшем,
    Только кверху носить,
А то бёдра-то,
    Что ведра, — тряси.
Это им бы, моим бы
    Тётьям.
Да подарки носить
    С тряпья,
А сама я закачусь
    Под бортом:
Ты, матросик, не печалься
    Про то.

Я и в море не пропала б,
    Фи!
Уж посватался б, не кит, —
    Дельфин!
Нету в море моей мачехи:
    Вы о чем, матросик, плачете?
Нанесла я вам на носик чепухи:
    Вы не очень-то, матросик, про грехи.
Эх, фи, фи, фи, фи, фи. —

Я бы в море и по горлышко, —
    Только б пело по мне морюшко,
Только б морю, только б морю хорошо:
    У меня ведь ни грошинки за душой.

Ни гроша, —
Я и так хороша,
Только б морю, только б морюшку
Заказала б я гармоньюшку...

Я пройдуся по базару, как монах, —
Не люби меня такою хоть, моряк:
Монах, монашёк, монашёк, —
Мне и тут под водою хорошо.

Не люби меня, любимый
Морячек, —
Мне и в море за дельфином
Хорошо:
Я и тут бы апельсинилась,
Только б волны были б синими...

У меня ведь за душою ни гроша,
Ни грошинки, — я и так хороша,
Ни грошинки, ни горошинки,
Полюби меня, хорошенький,
Ни грошинки, ни грошинушки:
Полюби уж хоть паршивенький.

Дм. Петровский.

Вопросы искусства.

Л. И. Аксельрод (Ортодокс).

I.

Марксистское мировоззрение, революционное насквозь, отличается в то же время в корне от всех революционных течений, ему предшествующих. Можно утверждать без всякой ошибки, что большинство революционных течений до Маркса — Энгельса носили сектантский и утопический характер. Отношение представителей утопических течений социалистической мысли ко всему культурно-историческому процессу было в общем отрицательное. Нигилистически, огульно осуждались также культурные ценности данной эпохи.

Являясь в той или другой степени защитниками угнетенных классов общества, сравнивая их трудовую безотрадную жизнь с пышной роскошью господствующих классов, социалисты сектантской складки осуждали вместе с роскошью и искусство. Также и реформаторы от Платона до Толстого относились к искусству крайне отрицательно, рассматривая его, как роскошь, действующую чувственно и растлевающе на личность и стоящую, кроме того, огромного труда и больших усилий угнетенным классам [1]).

Марксистское мировоззрение исходит из совершенно иных начал, и этими исходными началами определяется его отношение к искусству. Диалектический материализм не противопоставляет себя истории культуры и отнюдь не отвергает культурных достижений. Ему дорого истинное творчество былых времен, как и истинное творчество нашей эпохи. Отражая интересы и исторические задачи пролетариата, марксизм стремится к осуществлению общественного порядка, который должен впитать и воплотить в себе все положительные ценности и все великие завоевания всех предыдущих эпох культурного прогресса. Своей социальной основой социалистическое общество будет иметь богатство и изобилие материальных

---

[1]) Последнее замечание относится к Толстому. Платон осуждал роскошь и искусство, исходя главным образом из интересов высших классов, отлившихся в его социально-политическом воззрении в форме общегосударственных задач.

благ, а не аскетическое ограничение потребностей личности и общества. Очевидно, следовательно, что принципиально марксизм роскошь не осуждает (разумеется, речь идет не о бессмысленной и бесполезной роскоши, свойственной паразитическим классам упадочной эпохи), напротив, роскошь внесет разнообразие в жизнь, окрасит будничный быт. Потребность в роскоши присуща человеку. Животный мир не творит предметов роскоши. Отсюда следует, что искусство, искусство в узком значении этого слова, изящное искусство, явится неот'емлемым, необходимым элементом социалистического общества.

Тут мы вплотную подошли к вопросу, что же такое искусство? Известный искусствовед марксистского направления Гаузенштейн начинает свою книгу «Искусство и общество» таким определением искусства: «Искусство есть выражение мировой истории». Искусство есть форма познания жизни, гласит определение искусства Лейбница, Гегеля и многих других мыслителей [1]). Искусство, «истинное искусство», служит к об'единению людей, гласит формулировка Толстого. Все эти, сейчас перечисленные формулировки, господствующие в современном искусствоведении, различаются между собой. Но, как бы они ни различались, они друг другу не противоречат, и в то же время ни одно из них не определяет искусства с точки зрения специального, отличительного признака этой общественной функции. Остановимся на отмеченных определениях.

---

[1]) В статье «Марксистская методология и наука об искусстве» («Искусство» № 2, Государственная Академия Худож. Наук) ее автор, тов. Карницкий, приводит среди других определений искусства следующее определение, приписываемое им Плеханову и Воронскому. Тов. Карницкий пишет: «Искусство есть познание жизни с помощью образов (Плеханов, Воронский)». Этой формулировкой искусства Плеханов и вслед за ним Воронский определяют не отличительный характер искусства, не его differentia specifica, как полагает тов. Карницкий, а противопоставляют реалистическое понимание искусства романтическому пониманию. Как понимал сущность и роль искусства Плеханов, об этом речь будет ниже. Что же касается Воронского, то мы читаем в его брошюре «Искусство как познание жизни и современность» («Основа», 1924 г.) следующее: «Что такое искусство? Прежде всего искусство есть познание жизни. Искусство не есть произвольная игра фантазии, чувства, настроений, искусство не есть выражение только суб'ективных ощущений и переживаний поэта, искусство не задается целью в первую очередь пробуждать в читателе «чувства добрые». Искусство, как и наука, познает жизнь. У искусства, как и у науки, один и тот же предмет: жизнь, действительность». Очевидно, что Воронский, следуя мысли Белинского, Чернышевского, Плеханова и вообще всех эстетиков, стоящих на реалистической точке зрения, защищает в искусстве основную мысль реализма, т.-е. ту мысль, что предметом своим искусство имеет ту же действительность, что и наука. Но наука синтезирует свой анализ в отвлеченных понятиях и общих законах, искусство — в образах. Последним различием не определяется, однако, специфическая задача искусства ни с точки зрения Плеханова, ни с точки зрения его последователя Воронского. Содержанием искусства является, согласно высказанной в приведенной выдержке из брошюры Воронского мысли, не произвольная игра фантазии, а подлинная действительность, т.-е. тот же материал, который служит предметом науки. Тем не менее задача искусства отличается от задачи науки.

По существу дела против определения Гаузенштейна трудно возразить. Искусство в обширном, всеоб'емлющем смысле этого понятия действительно является «выражением мировой истории». Нет никакого сомнения в том, что история человечества, вся общественная среда представляет собою продукт усилий и деятельности общественного человека, преобразившего и непрерывно видоизменяющего материю данной географической и ценности данной исторической среды. Все, что сотворено человеческим мозгом и рукой человека, есть искусство. И потому в этом всеоб'емлющем, исчерпывающем значении можно утверждать, что искусство есть доподлинное выражение мировой истории. Но именно потому, что определение Гаузенштейна носит всеоб'емлющий характер, оно не определяет предмета искусства в узком смысле этого термина, т.-е. изящного искусства. Авторы же приведенных определений — исключая Толстого — имеют в виду изящное искусство.

Совершенно верно, далее, что искусство есть форма познания действительности. Оно является в известном смысле таковой как с точки зрения творца предметов искусства, так и с точки зрения читателя, слушателя, созерцателя и т. д. Познавательное значение искусства так велико, что оно совершенно не поддается никакому учету. Стоит только на одно мгновение представить себе, что все памятники искусства древнего Востока, античного мира, средневековья, Ренессанса и т. д. были стерты с лица земли какими-нибудь демоническими силами, и нам сразу станет ясно, что наше знание мировой истории сведется к совершенно ничтожной величине. Искусство, как «фактор» познания, важно не только в смысле наглядного представления истории, но огромно и во многих других отношениях. Конкретное воспроизведение образов, выпуклая и четкая характеристика свойств предмета, выявление типичных сторон жизни немало содействовало научному наблюдению, классификации, определению рода и вида как в царстве растительном, так и в животном царстве, не говоря уже о познательном значении искусства для всех отраслей, форм жизни и деятельности как отдельного человека, так и человечества во всех его группировках, классовых, национальных, фракционных, партийных, семейных и т. д. Коротко говоря, искусство, как средство познания действительности, огромно. Оно может составить предмет особого, обширного, до чрезвычайности интересного исследования. Тем не менее, имманентная цель искусства, его задача, внутреннее стремление этой общественной функции не может быть определено с точки зрения познавательного его характера. Целям познания служит наука и философия.

Дальше, существует и весьма распространено убеждение, что искусство представляет могучую организационную силу, благодаря эмоциональному характеру этого рода творчества. Это, конечно, так, и никому не придет в голову оспаривать это значение искусства. Тем не менее и этой стороной не определяется искусство. Во-первых, такую же роль играет природа и все формы общественной жизни. Во-вторых, искусство, как мы это только что видели, служит и весьма широко познавательным целям, следовательно, организационный момент эмоционального свойства не может считаться отличительным признаком искусства.

Наконец, несколько слов об определении искусства Толстого, которое, кстати сказать, странным образом вкралось в марксистскую критическую литературу. Искусство, учит Толстой, служит или, точнее, должно служить к об'единению людей, понимая об'единение в исключительно этическом смысле. Конечно, так. Все формы искусства, поскольку они сплачивают людей, содействуют развитию и нравственного чувства, «заражают» общим восприятием не только в смысле пассивного эстетического созерцания, как это утверждают чистые эстеты с старым Кантом во главе, но способны вызвать активность. Искусство, далее, об'единяет нас больше, чем какая бы то ни было другая отрасль человеческого творчества со всеми эпохами и всеми поколениями прошедшего человечества. Произведения зодчих, драматургов и ваятелей античной Греции, знакомящие нас в конкретной художественной образной форме с жизнью и творчеством классического мира, связывают нас эмоционально, несомненно, более тесной, более осязательной связью с классическим миром, нежели исторические свидетельства или отрывки философской научной мысли (исключая, конечно, «диалогов» Платона, являющихся высоко художественными произведениями, знакомящими нас с бытом эпохи. А значение эмоциональной связи со всем прошедшим истории человечества, без сомнения, громадное. Но ведь, с другой стороны, немаловажное значение имеют в деле об'единения человечества и другие стороны творчества и всего общественного сознания. В деле об'единения людей немалую роль играют, например, все способы путей сообщения, тем не менее было бы странным утверждать, что главной и основной целью путей сообщения было и есть содействование об'единению людей.

Очевидно таким образом, что ни одно из приведенных и кратко разобранных определений искусства не характеризует особенности искусства, не дает понятия о его отличительном признаке.

II.

Определение искусства возможно лишь при диалектическом подходе к этой форме деятельности общественного человека. Метафизический метод мышления определял и продолжает определять все формы деятельности общественного человека с точки зрения их изоляции. Наука, религия, искусство, право, этика и, конечно, экономика рассматривались, как отдельные, самодовлеющие «факторы». Подобного рода изоляция не давала возможности определить содержания каждого из них, вследствие того, что каждый «фактор» по существу своему заключает в себе элементы, присущие другим «факторам». Такое рассмотрение приводило в результате к необыкновенной путанице понятий. Искусство есть форма познания, организующее начало и т. д. С другой стороны, и наука может вызвать эстетическое наслаждение, быть организующим началом и т. д., и т. д. Получается, таким образом, необычайно запутанная сеть свойств, присущих всем областям, сеть, из которой выбраться, следуя абстрактно метафизическому мышлению, совершенно

невозможно. Но запутанный узел постепенно развязывается, если взглянуть на дело с диалектической точки зрения.

Диалектический материализм, в частности материализм исторический, рассматривает общественную деятельность человека прежде всего как нечто *целое*, по существу неразрывное. Общественное сознание определяется и обусловливается общественным бытием, а под общественным сознанием исторический материализм понимает все формы идеологии: философию, право, мораль, искусство и т. д. То, что метафизическое мышление называет «факторами», то в глазах диалектического материалиста является функциями одной и той же общественной действительности, имеющими одну и ту же *общую* имманентную цель — сохранение и развитие как индивидуума, так и общества. «Социально-исторический фактор, — справедливо рассуждает Плеханов, — есть абстракция, представление о нем возникает путем *отвлечения* (абстрагирования). Благодаря процессу абстрагирования, различные *стороны* общественного *целого* принимают вид обособленных категорий, а различные проявления и выражения деятельности общественного человека — мораль, право, экономические формы и проч. — превращаются в нашем уме в особые силы, будто вызывающие и обусловливающие эту деятельность, являющиеся последними причинами» [1]).

Отсюда следует, что каждая отрасль общественной деятельности человека, заключающая в себе многие свойства всех остальных отраслей, не может определяться всей суммой присущих ей свойств, а должна найти свое определение в ее отличительном свойстве, т.-е. в свойстве, составляющем ее главное, преобладающее назначение. Определение предмета характеризует прежде всего его отличие от других предметов. «Omnis determinatio est negatio», говорил об определениях Спиноза, стоявший в этом вопросе на диалектической точке зрения. Всякое определение есть в то же время отрицание. Оно должно подчеркивать не сходство данного предмета с другими предметами, но его отличие от них. Отличительным свойством и целью искусства является *удовлетворение эстетической потребности человека*. Корни этой последней лежат в *биологии*.

Так, а не иначе понимали искусство, отличительное, специфическое назначение этой отрасли культуры Маркс, Плеханов, Меринг и другие теоретики марксизма. В известном отрывке Маркса об искусстве («Введение

---

[1]) Отстаивая целостность общественного сознания, Плеханов указывает на то, что этот синтетический взгляд мы находим у Гегеля, «для которого задача состояла в научном об'яснении всего общественно-исторического процесса, взятого в целом». «Но, — продолжает Плеханов, — в своем качестве «абсолютного идеалиста», об'яснял деятельность общественного человека свойствами всемирного духа. Раз даны эти свойства — дана «an sich» вся история человечества, даны и ее конечные результаты. Синтетический взгляд Гегеля был в то же время *телеологическим взглядом*» (Курсив везде Плеханова). То-есть метафизическим взглядом.

в критику политической экономии») ставится, на-ряду с проблемой общественной обусловленности эстетических вкусов, сложная проблема вечных, или, точнее, длительных художественных ценностей. В этом отрывке мы читаем: «Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными общественными формами развития. Трудность состоит в понимании того, что они продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца» [1]).

Эти строки четко говорят о том, что отличительная сторона искусства с точки зрения Маркса состоит в эстетическом наслаждении, т.-е. в художественной форме. Искусство, как и все творчество общественного человека, естественно обусловлено известными общественными формами развития. Это, по мнению Маркса, сравнительно нетрудно понять, но трудно об'яснить эстетическое впечатление художественных предметов, действующих на нас при общественных условиях, отличных от тех, которые их вызвали к жизни. Тут ясно и недвусмысленно подчеркивается отношение к искусству не только с точки зрения его социального происхождения и необходимой общественной обусловленности, но и с точки зрения художественной оценки. То же самое, что мы видим в указанном отрывке, говорят нам воспоминания Лафарга об эстетических вкусах автора «Капитала». Маркс, — пишет Лафарг, — «чтил Эсхила и Шекспира, как величайших драматических гениев, которых создало человечество». Кроме того, нам также известно отношение Маркса к Гете, произведениями которого он в общем восхищался, а то, что в произведениях гениального творца «Фауста» не встречало его одобрения, то, как Маркс сам писал, «не с моральной и не с партийной точки зрения, а главным образом с эстетической и исторической» [2]). Мы видим таким образом, что эстетическая сторона в области искусства занимала в оценке Маркса художественных произведений первое место.

Пойдем теперь дальше и посмотрим, как обстоит дело у главного исследователя искусства с марксистской точки зрения, — у Плеханова. Касаясь вопроса об отношении Дарвина к нравственным и эстетическим чувствам у животных, Плеханов пишет, выражая свое согласие с осново-

---

[1]) Изд. «Московский Рабочий», 1922 г., стр. 32—33.

[2]) Ю. О. Денике совершенно прав, возражая Д. Б. Рязанову, по мнению которого Маркс чтил Эсхила, как великого драматурга, который создал из древнего мифа о Прометее революционного борца против властителей и существующего порядка. Денике указывает на отношение Маркса к произведениям Гете («Искусство», журнал Академии Худож. Наук, Москва 1923, стр. 35). С своей стороны прибавлю, что в воспоминаниях Лафарга речь идет об Эсхиле, т.-е. обо всем творчестве этого великого поэта. А Эсхил был по существу консерватором. Эсхил рассматривает свои драматические сюжеты преимущественно с религиозной точки зрения. Он во всем старался показать и в весьма резких очертаниях власть богов. То, что в содержании трагедий Эсхила могло увлечь Маркса — это отношение свободы к необходимости, совпадение желания и непреклонной воли героев с начертанием и волей богов. А что «Прометей» мог увлекать своей революционной стороной Маркса — в этом, конечно, не может быть сомнения.

положником современной научной биологии, следующее: «Из вышеприведенных слов Дарвина (выше приведена цитата из книги «Происхождение человека». *Л. А.*) видно, что на развитие эстетических вкусов он (Дарвин. *Л. А.*) смотрит с той же точки зрения, как и на развитие нравственных чувств. Людям, равно как и многим животным; свойственно чувство прекрасного, т.-е. у них есть способность испытывать особого рода («эстетическое») удовольствие под влиянием известных вещей и явлений. Но какие именно вещи и явления доставляют им такое удовольствие, это зависит от условий, под влиянием которых они воспитываются, живут и действуют. Природа человека делает то, что у него могут быть эстетические вкусы и понятия. Окружающие его условия определяют собою переход этой возможности в действительность, ими об'ясняется то, что данный общественный человек (т.-е. данное общество, данный народ, данный класс) имеет именно эти эстетические вкусы и понятия, а не другие» [1]). Человеческой природе свойственна, таким образом, потребность в искусстве, сама потребность является, таким образом, биологической категорией. Но ведь Плеханов, как известно, подвергал резкой критике мыслителей и социологов, об'ясняющих исторические и общественные явления человеческой природой, а потому не противоречит ли себе автор «Монистического взгляда на историю», когда видит начало эстетической потребности заложенным в человеческой природе, относя ее таким образом к биологии? Предвидя подобного рода упрек, или, точнее, непонимание историко-материалистического об'яснения искусства, Плеханов тут же продолжает: «Таков окончательный вывод, сам собою вытекающий из того, что говорит об этом Дарвин. И этого вывода, разумеется, не станет оспаривать ни один из сторонников материалистического взгляда на историю. Совершенно напротив, каждый из них видит в нем новое подтверждение этого взгляда. Ведь никому из них никогда не приходило в голову отрицать то или другое из основных свойств человеческой природы или пускаться к какие-нибудь произвольные толкования по ее поводу. Они только говорили, что если эта природа неизменна, то она не об'ясняет исторического процесса, который представляет собою сумму постоянно изменяющихся явлений; а если она сама изменяется вместе с ходом исторического развития, то очевидно, что есть какая-то внешняя причина ее изменения» [2]). Итак, изменению подвержены эстетические вкусы в зависимости от производственных отношений и от всей совокупности форм общественной жизни; но сама эстетическая потребность является биологической категорией и составляет с точки зрения Плеханова одно из основных свойств человеческой природы.

Мы привели обширные выдержки, не стесняясь их размерами, во-первых, потому, что высказанные в них положения необходимы для дальнейшего развития нашей мысли; во-вторых, потому, что взгляды Плеханова

[1]) «Искусство», изд. «Новая Москва», 1922, стр. 46.

[2]) Там же стр. та же, курсив везде Плеханова.

на искусство часто искажаются до полной неузнаваемости. Так, например, Плеханова провозгласили абсолютным релятивистом, отрицавшим какую бы то ни было устойчивость в явлениях мировой действительности и, стало быть, в области искусства. Можно также встретить утверждение, будто Плеханов не придавал значения художественной оценке и т. д. На протяжении этой статьи мы попутно и в полной, разумеется, связи с нашей темой постараемся по возможности установить эстетические взгляды основателя русского марксизма.

III.

Естественно встает новый вопрос, вопрос о том, какие предметы природы и какие явления истории воспроизводит и должно воспроизводить искусство, если оно, следуя своей собственной природе, стремится производит прежде всего художественные ценности.

Старая и отчасти новая идеалистическая эстетика в лице своих представителей решает вопрос в том смысле, что задачей искусства является воспроизведение, отражение и творчество красоты. Но это решение рождает другой вопрос, вопрос о том, что же такое красота, чем, какими свойствами определяется это понятие? Определения красоты, которые даются различными эстетиками, различны и находятся непосредственно в зависимости от их общего философского мировоззрения и жизнепонимания. Наиболее ясным и наиболее сответствующим с материалистической точки зрения действительности представляется биологическое определение, защитниками которого в нашей русской эстетической литературе являются Чернышевский и в настоящее время А. В. Луначарский. «Прекрасное есть жизнь» —гласит определение Чернышевского. «Прекрасное есть жизнь, — пишет Чернышевский, — становится понятно, почему в области прекрасного нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа — жизнь мы видим только в действительных, живых существах, а отвлеченные общие мысли не входят в область жизни». Все живое, следовательно, прекрасно с этой биологической точки зрения, но ведь это в действительности не так, далеко не так. Вопреки изречению, что живая собака лучше мертвого Ахиллеса, эстетическое впечатление производят звездное небо, снежные вершины высоких гор, голые скалы, пропасти, развалины старых разрушенных замков и т. д., между тем, как пресмыкающиеся живые существа действуют антиэстетически, производя на нас отталкивающее впечатление.

Кроме того, сам Чернышевский, как на это вполне справедливо указал Плеханов, впадал в противоречие с своим собственным определением, когда в дальнейшем развитии своей мысли поставил понятие красоты в зависимость от общественных условий. Эстетические вкусы при этом социологическом обороте мысли, как оказалось, стали определяться не биологическими началами, а были поставлены в полную зависимость от общественных форм жизни данного класса и данного сословия. Эти же самые возражения, относящиеся к теории красоты Чернышевского, могут быть направлены против «Позитивной эстетики» А. В. Луначарского. Тов. Луначарский строит

свою позитивную эстетику на основе материалистической психологии Авенариуса, на принципе жизнеразности. Кратко выражая сущность «позитивной эстетики» тов. Луначарского, ее можно свести к следующему общему положению: основой понятия прекрасного является все то, что доставляет здоровое удовольствие, т.-е. удовольствие, повышающее нашу жизнеспособность, вызывающее под'ем сил и увеличивающее нашу энергию и настойчивость в борьбе за полноту жизни. Лишенными эстетической ценности являются предметы, причиняющие нам неудовольствие, ведущее к понижению и ослаблению нашей жизненной энергии. «Красивым, — читаем мы в «Позитивной эстетике», — или прекрасным мы называем все об'екты, которые вызывают в нас эстетическую эмоцию. Можем ли мы сказать, что красиво все, что доставляет наслаждение? У нас нет основания для выделения приятного, грубо услаждающего из области эстетики. Все, что вкусно, хорошо пахнет, все, что гладко, бархатисто, все теплое, когда мне холодно, и прохладное, когда мне жарко, — я имею полное право называть эстетическим» [1]). В этих положениях есть, бесспорно, известная доля истины. Элементы даже грубо утилитарного свойства являются без всякого сомнения условиями эстетических эмоций. Тем не менее, одними этими элементами невозможно исчерпывающе об'яснить представление о прекрасном. При некотором размышлении мы наталкиваемся на очевидные факты, противоречащие такому об'яснению эстетических представлений.

Можно указать, во-первых, на весьма важные процессы, доставляющие удовольствие и имеющие большое, подчас даже решающее значение как для сохранения индивидуума, так и для сохранения рода, и тем не менее не принадлежащие к области эстетики. К тому же приходится повторить, — что было сказано по поводу определения Чернышевского, — что биологическая основа не в состоянии удовлетворительно об'яснить факт эстетических оценок, так как эти последние находятся в теснейшей зависимости от общественно-исторических условий и в конце концов определяются этими последними. Это, конечно, хорошо известно А. В. Луначарскому, который в своих последующих работах по искусству стоит на точке зрения социологического, точнее марксистского об'яснения искусства.

Современные искусствоведы и историки искусства оставляют в стороне сложный и до чрезвычайности запутанный вопрос о понятии красоты. Зависимость эстетических вкусов и эстетических оценок от исторических и общественных условий становится все более и более ясной и для историков искусства, стоящих по своему общему мировоззрению далеко от марксизма.

Кроме того, искусство из давних времен, можно сказать, явочным порядком, не спрашивая на то разрешения эстетиков, делало и делает предметом воспроизведения не только красоту. Художники с одинаковой творческой силой и с одинаковой тщательностью изображают Дездемону и Фальстафа, Квазимодо и Дориана Грея.

---

[1]) «Позитивная эстетика», стр. 61, Гос. Изд., 1923 г.

Искусство гораздо шире понятия красоты, как это понятие мыслится в общепринятом значении. Тем не менее и при такой постановке проблемы совершенно невозможно отказаться от выделения и определения специального характера искусства. Ставя себе эту проблему, Плеханов пишет: «Кант говорит, что наслаждение, которое определяет суждение вкуса, свободно от всякого интереса и что суждение о красоте, к которому примешивается малейший интерес, очень партийно и отнюдь не есть чистое суждение вкуса. Это вполне верно в применении к отдельному лицу. Если мне нравится данная картина только потому, что я могу выгодно продать ее, то мое суждение, конечно, отнюдь не будет чистым суждением вкуса. Но дело изменяется, когда мы становимся на точку зрения общества. Изучение искусства первобытных племен показало, что общественный человек сначала смотрит на предметы и явления с точки зрения утилитарной и только впоследствии переходит в своем отношении к некоторым из них на точку зрения эстетическую»... И дальше мы читаем: «Это не значит, что для общественного человека утилитарная точка зрения совпадает с эстетической. Вовсе нет. Польза познается рассудком; красота — созерцательной способностью. Область первой — расчет; область второй — инстинкт. Притом же — и это необходимо понять — область, принадлежащая созерцательной способности, несравненно шире области рассудка: наслаждаясь тем, что кажется ему прекрасным, общественный человек почти никогда не отдает себе отчета в той пользе, с представлением о которой связывается у него представление об этом предмете». «Главная отличительная черта эстетического наслаждения — его непосредственность»[1]).

Высказанные здесь Плехановым в такой ясной форме соображения могут казаться на первый взгляд совершенно простыми; в действительности они заключают в себе очень сложный и очень тонкий ход мысли. Искусство имеет утилитарное происхождение и в общественном смысле утилитарное значение, но в то же время отличительным признаком искусства является бескорыстное, непосредственное к нему отношение. «Но именно потому, — заключает Плеханов свою статью «Французская драматическая литература и французская живопись и т. д.», — что мы имеем в виду не отдельное лицо, а общество (племя, народ, класс), у нас остается место и для кантовского взгляда на этот вопрос: суждение вкуса несомненно предполагает отсутствие всяких утилитарных соображений у индивидуума, его высказывающего»[2]).

Остановимся на этих важных выводах и посмотрим, в каком смысле и в какой степени может иметь значение для понимания искусства кантовский взгляд и какая роль отводится этому взгляду точкой зрения Плеханова. Для этого необходимо хотя бы в самых сжатых чертах коснуться кантовой эстетики, занимающей господствующее место и в современных эстетических теориях.

---

[1]) «Искусство», стр. 196 — 197.

[2]) Там же, стр. 127. Подчеркнуто мною.

Кант, как известно и как это выше упоминалось в выдержке из Плеханова, определял эстетическое отношение к предмету, как отношение абсолютно свободное от какого бы то ни было утилитарного момента. Эстетическое созерцание, как таковое, должно быть чуждо заинтересованности. «Если кто-нибудь, — рассуждает философ, — спрашивает меня, нахожу ли я дворец, который я перед собою вижу, прекрасным, то, конечно, я могу сказать, что я вообще не люблю таких вещей, которые сделаны только для ротозейства, или ответить, как тот ирокезец Захем, которому в Париже ничто так не понравилось, как харчевня; кроме того, вполне по Руссо, я могу указать на суетность вельмож, которые тратят пот народа на такие вещи, без которых можно обойтись; наконец, я легко могу доказать, что если бы я находился на необитаемом острове без надежды когда-либо снова вернуться к людям и если бы только путем своего желания, как бы волшебством, я мог создать такое великолепное здание, то я отнюдь не дал бы себе этого труда, если бы я уже имел хижину, которая была бы для меня достаточно удобна. Все это возможно, конечно, допустить и одобрить, но не об этом речь. Здесь хотят только узнать, сопровождается ли во мне это простое представление о предмете чувством чистого, бескорыстного, непосредственного наслаждения (Wohlgefallen), как бы я ни был вообще равнодушен к существованию предмета этого представления» [1]). Мы видим таким образом, что с точки зрения Канта отрицательное отношение к предмету утилитарного порядка, какими соображениями оно бы ни определялось, не может помешать эстетическому восприятию, и, с другой стороны, ни одна утилитарная сторона того же предмета, как бы важна она ни была, не касается эстетического восприятия, как такового. Убеждение Руссо в ненужности эстетических предметов или, точнее, предметов искусства, подсказанное нравственными соображениями, не устраняет возможности эстетического восприятия от отвергаемых предметов. С другой стороны, если ирокезцу понравилась харчевня вследствие представления о возможности утолять голод, то испытанное дикарем удовольствие при виде харчевни отнюдь не может считаться эстетическим удовольствием. В приведенной выдержке отмечается мыслителем также и общественный мотив, под влиянием которого создаются эстетические предметы. Одинокий обитатель острова, обладающий удобной хижиной, не стал бы строить дворца для собственного своего эстетического удовольствия, не стал бы и в том случае, если бы к его услугам оказались волшебные силы. Дворцы строятся, следовательно, прежде всего для созерцания других и, конечно, не из альтруистических побуждений. Основная цель таких предметов — это внушить другим уважение, импонировать силой, богатством, быть может даже вкусом. Это именно хочет сказать Кант третьим примером из приведенной выдержки. Философ, следовательно, понимает общественное проис-

[1]) «Kritik d. Urtheilskraft», S. 44 — 45. Kehrbach. Русский перевод Соколова, стр. 43 — 44. В переводе неправильно передано слово «Wohlgefallen», которое передано несоответствующим словом «удовольствие». Для слова «Wohlgefallen» нет в русском языке соответствующего слова. Наиболее близко к смыслу является «чистое, бескорыстное и непосредственное наслаждение».

хождение искусства. Тем не менее, определение эстетического впечатления остается то же, так как причины создания эстетических предметов не касаются, с точки зрения философа, эстетического впечатления, как такового.

Отсюда следует дальше коренное отличие эстетического отношения к предмету от рассудочного к нему отношения. Образование отвлеченного понятия, имеющее своей основой совокупность признаков и свойств предметов, является делом рассудка; эстетическое суждение чуждо по существу какой бы то ни было мысли о предмете. Оно — чистое созерцание. Ясно, что в качестве чистого созерцания эстетическое впечатление остается суб'ективным в полном смысле. С этой точки зрения суб'ект, созерцающий, скажем, Реймский собор, вправе лишь утверждать, что собор ему нравится, и не более. Отразить возражение или выражение несогласия возможно, лишь вооружившись суб'ективной формулой «о вкусах не спорят», а это значит возвести в принцип суб'ективизм и абсолютный индивидуализм эстетического вкуса. Но, с другой стороны, эстетическое суждение выходит за пределы суб'ективно-индивидуального суждения, имея своим внутренним стремлением утверждение общезначимости эстетических суждений. Суб'ект, который выразил бы свое эстетическое отношение к Реймскому собору словами «он мне нравится», показался бы в сущности до чрезвычайности наивным, так как Реймский собор является общепризнанной ценностью. Отношение выразится общим суждением: «Реймский собор прекрасен». Последнее суждение общезначимо, ибо ясно притязает на необходимое согласие других людей с ним. А потому, заключает Кант: «о вкусе можно спорить». Перед нами, следовательно, определенная антиномия, ясно сформулированная Кантом: «1. Тезис. Суждение вкуса основывается не на понятиях, ибо иначе об них можно было бы диспутировать (решить вопрос посредством доказательств). 2. Антитезис. Суждение вкуса основывается на понятиях, ибо иначе, несмотря на их различие, об них нельзя было бы спорить». Эта эстетическая антиномия исходит из того же начала и завершается тем же результатом, как и антиномия в теории познания и этики Канта. В теории познания антиномия выражается между суб'ективно-меняющимся эмпирическим сознанием, неспособным дать всеобщность и необходимость, и сознанием трансцендентальным, являющимся источником всеобщности и необходимости. В области этики мы видим тоже безысходное противоречие между релятивно-изменчивой моралью и категорическим императивом. Все эти антиномии находят в конечном счете свое примирение и свое благополучное разрешение в сверх-чувственном миропорядке, который и является источником об'ективных законов в области познания и об'ективных ценностей в сфере этики и эстетики. Сам Кант подчеркивает эту параллель, на которую, кстати сказать, литература, посвященная философии и эстетике Канта, не обратила достаточного внимания. Так мы читаем в «Критике способности суждения»: «Следовательно, ясно, что устранение антиномии эстетической способности идет по дороге, похожей на ту, по которой шла критика в решении антиномии чистого теоретического разума, и что точно так же и здесь, как в критике практического разума,

антиномия против нашей воли заставляет нас смотреть за пределы чувственного и a priori искать объединительный пункт для всех наших способностей в сверхчувственном [1]).

Далее, тезис, т.-е. суб'ективный характер эстетического вкуса, и антитезис, фактически существующее притяжение на об'ективные эстетические нормы, — могут по Канту мирно сосуществовать вместе и оба быть признаны, как верные, вследствие того, что тезис и антитезис принадлежат к различным мирам, — первый к миру эмпирическому, второй к миру сверх-чувственному Спрашивается, дает ли возможность этот дуализм устанавливать те или иные законы эстетических вкусов? Сам Кант отвечает на этот вопрос весьма проблематично. Для ясности позволю себе привести здесь и этот ответ:

«Безусловно, — говорит мыслитель, — невозможно дать определенный об'ективный принцип вкуса, который мог бы руководить, исследовать и доказать его суждение, ибо тогда это не было бы суждением вкуса. Суб'ективный принцип, а именно неопределенную идею о сверх-чувственном в нас, можно определить только как единственный ключ к разгадке этой, в своих источниках скрытой от нас, способности; иначе уже ни через что он не может сделаться для нас понятным» [2]). Критерий об'ективности и общезначимости, данный Кантом в синтезе воображения и рассудка, также не может выполнить своей задачи. Не может, во-первых, потому, что все формы рассудка так же берут свое начало в сверх-чувственном априоризме, во-вторых, — творческое воображение абсолютно свободно, представляя собою произвольную игру творческой способности. Полная и безусловная изоляция, оторванность эстетического созерцания от всех других отношений созерцающего суб'екта к эстетическому предмету сделало эстетическое впечатление абсолютно суб'ективным. В самом предмете по существу не оказалось ничего, что могло бы быть причиной эстетического восприятия. Общая формулировка Канта, гласящая, что эстетический предмет являет собою целесообразность без цели, рушится при первом прикосновении критики, исходящей из принципов кантовской же эстетики. Что собственно означает целесообразность без цели? Это означает, что предмету присуща самодовлеющая целесообразность, не имеющая никакой внешней цели. Симметрия и гармония строения розы не имеем никакой внешней цели, а между тем все в ней целесообразно, т.-е. устроено так, как будто она создана по заранее определенному, начертанному плану. Эта нецелесообразная целесообразность, т.-е. целесообразность, не заключающая в себе никакой внешней цели, вызывает в нас эстетическое впечатление. Но, во-первых, гармония, ритм, симметрия, из которых слагается эта нецелесообразная целесообразность составляет предмет общего понятия и может, следовательно, совершенно научно-об'ективным путем вести к об'ективным нормам эстетических ценностей на основании эмпирического материала. Сущность нецелесообразной целесообразности противоречит исключительности и самодовлеющему характеру эстетического созерцания. Что же

[1]) Стр. 220 русского перевода Соколова. Подчеркнуто мною.
[2]) Там же, стр. 220.

положность ко всем непосредственно утилитарным свойствам. Терпит поражение прежде всего искусство. Гирн и в этом случае вполне прав, когда, подвергая критике требование полной независимости искусства от утилитарных мотивов, говорит: «Абсурдно утверждать, что пение Тайэфера потеряло свою эстетическую ценность, так как способствовало победе при Гастингсе. И как бы строго мы ни придерживались требования, чтобы каждое произведение искусства было создано ради него самого, мы не сможем отрицать того факта, что многие из лучших любовных песен первоначально были созданы не эстетически свободно, не независимо от всяких побочных целей, а с определенным намерением добиться внимания и расположения любимой женщины. Требование науки относительно выявления условий эстетической продукции делает все более заметным влияние, оказываемое подобными неэстетическими мотивами» [1]).

К этим справедливым мыслям следует прибавить, что признание утилитарных мотивов в области искусства является не только требованием науки, вскрывающей причины возникновения и развития искусства, но и несомненным требованием искусства, как такового. Если искусство оказалось бы совершенно освобожденным от каких бы то ни было утилитарных сторон, оно, повторяем, потеряло бы свой собственный отличительный признак — производить эстетическое впечатление.

Теперь вернемся к взгляду на эстетическое впечатление Плеханова. «У нас, — пишет Плеханов, — остается место и для кантовского взгляда на этот вопрос: суждение вкуса, несомненно, предполагает отсутствие всяких утилитарных соображений у индивидуума, его высказывающего». Тут речь идет о психологии эстетического восприятия, совершенно правильно сформулированной Кантом. Но Кант превратил индивидуальную специфическую психологию в метафизическую систему эстетической трансцедентной ценности, лишенной по существу исторических и социальных корней. Метафизик Кант и вся его школа рассуждают по формуле — «или — или»: либо польза, либо эстетические ценности. Одно исключает другое. Диалектик противопоставляет этому метафизическому принципу свой диалектический принцип, основанный на научных исследованиях происхождения и хода развития искусства и гласящий: и польза, и эстетическая ценность.

(Окончание следует).

---

[1]) Там же, стр. 8—9.

Нигилизм Писарева в социологическом освещении.

В. Переверзев.

Для понимания и оценки любого направления мысли чрезвычайно важно видеть его в том идеологическом окружении, с которым связано было его существование. Всякое направление есть лишь звено в общем процессе идеологического развития. Вне этого процесса оно не функционирует, а понять живое явление, не наблюдая его в процессе функционирования, трудно. Вот почему, собираясь говорить о нигилизме Писарева, я считаю необходимым хоть в двух словах набросать общую картину идеологической жизни его эпохи.

То была бурная, кипучая эпоха реформ, эпоха ликвидации крепостного права. Давно подготовлявшийся крах крепостного порядка наступил. Старое здание общественного бытия расселось и трещало во всем составе, угрожая катастрофическим обвалом.

Падение Севастополя и весь позорный провал Крымской кампании обнаружили, что ветхое здание крепостничества стало опасным для жизни страны. Требовался либо капитальный ремонт, либо полный слом и новая постройка. И в том и в другом случае обитателям старого здания предстояла перспектива выселения из насиженных углов, перспектива перемещений, передвижки, распределения по новым квартирам и устройства на новых местах. Все общественные группы старого крепостного порядка, от обитателей весьма недурно обставленных верхних этажей до обитателей темных подвалов, заволновались. Крепостные жильцы подвальных помещений заволновались надеждой на лучшую участь и строили планы переустройства в своих интересах. Крепостники, помещавшиеся в верхних этажах, волнуемые опасением потерять выгоды своего положения, спешили предложить свои планы переустройства. Все заговорили, заспорили, зашумели.

В связи с предстоявшей переустройкой социально-экономических отношений, резко обостряются классовые противоречия, что, в свою очередь, содействует необыкновенно быстрому росту классового самосознания и размежеванию направлений общественной мысли. Каждый класс, каждая общественная группа спешит идеологически организоваться, отмежеваться

от своих социальных противников, выступить идейно сплоченной для защиты своих интересов. Органом этого сплочения и размежевания классовых групп является периодическая печать. Интенсивное брожение общественной мысли, дифференциация и борьба направлений сказались в необыкновенном росте журналистики и повышенно-полемическом ее характере. Каждая общественная группа выдвигает свой журнал в качестве идеологической базы и глашатая своих идей. Почти все возникающие в 60-е годы органы идут под знаком реформы, идеи перестройки и обновления старого порядка. Прямых охранителей, грубых и безоговорочных защитников крепостничества едва слышно. Они, конечно, существуют и даже имеют свой журнал «Домашнюю беседу», редактируемую в крепостничестве юродствующим Аскоченским, своего рода Пуришкевичем 60-х годов. Но роль этого, с позволения сказать, журнала сводится к роли шута горохового. Ни один сколько-нибудь серьезный общественный орган не привлекает такая глупая роль. Налет хотя бы самого расплывчатого и поверхностного либерализма является необходимым минимумом. На уровне этого минимума и стоят бесцветно либеральные журналы: «Библиотека для чтения» под ред. Дружинина и «Отечественные Записки» под редакцией Краевского, а потом Дудышкина. Вокруг этих журналов группировались все, недоросшие до классового самоопределения, до точной формулировки своей программы освобождения, до отмежевания себя, как особого направления, партии.

Далее идут журналы совершенно определенной классовой окраски и строго выдержанного направления. Здесь прежде всего следует назвать умеренно-реформистские органы дворянской мысли, которая течет по двум руслам: западническому и славянофильскому. «Русский Вестник» Каткова представлял собой западническую фракцию дворянского реформизма; «Русская Беседа» Кошелева — славянофильскую. «Русский Вестник» строил программу обеспечения дворянских интересов в предстоящей реформе с помощью выработанных на Западе приемов экономического и политического закабаления освобождаемого крестьянства. «Русская Беседа» строила эту программу, выдвигая исконные русские приемы, с помощью которых можно было не хуже освободить крестьян без порухи дворянскому благополучию. Обе группы заботились о том, чтобы побольше перенести в будущее из прошлого Спор западников и славянофилов об общинном и личном начале был в сущности спором о том, что лучше обеспечить дворянское имение рабочими руками: свободная личность без земли, или малоземельная община, держащая личность на привязи.

В противовес дворянскому реформизму умеренные круги буржуазии выдвинули свой реформизм с более демократичной социальной и политической программой. Дворянскому западничеству «Русского Вестника» противостоит орган буржуазного реформизма «Атеней», редактируемый Коршем. С дворянским славянофильством соперничает своеобразное буржуазное славянофильство, известное под названием почвенничества. Органом почвенников являлся журнал Достоевских «Время» (впоследствии «Эпоха»), главными силами которого были критики-публицисты — Ап. Григорьев и Страхов.

Но не в этих умеренно реформистских органах выражалась передовая, смело прозревавшая будущее, мысль эпохи. Не бывают вождями мысли те, кто руководится девизом умеренности, ибо умеренность — трусость мысли. Средоточием смелой, подлинно прогрессивной, живой для ряда поколений мысли были различные оттенки радикально-освободительных крайних течений. Здесь прежде всего следует назвать нелегальный, зарубежный «Колокол» Герцена, трансформировавший умеренное дворянское славянофильство в своеобразную утопическую систему «русского социализма». В «Современнике» Некрасова Чернышевский, Добролюбов с целым хором второстепенных публицистов, вроде Антоновича, Михайлова, Елисеева, Жуковского и др., развернули буржуазно-демократический радикализм в систему западнического социализма в стиле утопии Фурье.

«Русское Слово» Благосветова, развивая смело, до крайних выводов, идею раскрепощения личности, робко и непоследовательно проводимую умеренным западничеством, развернуло знамя так называемого нигилизма. Самым ярким и талантливым выразителем этого крайнего направления западнической мысли и был Дмитрий Иванович Писарев.

О нигилизме и писаревщине до сих пор еще нет дельного, сколько-нибудь серьезного об'ективно-исторического исследования. Ходячее представление о нигилизме и писаревщине, как о легкомысленно крикливом искажении идей «Современника», является пережитком народническо-полемической традиции, с которой пора бы уже покончить. Совершенно детским является ходячее об'яснение писаревщины тем, что вторая половина 60-х годов, под давлением начавшейся реакции, сопровождалась понижением гражданской общественной мысли, перемещением интереса в сторону вопросов лично-этических, выражением чего и явилась писаревщина. Основные положения Писарева формулированы уже в ранних статьях 1861 года и чрезвычайно четко в статье — «Схоластика XIX века». Но в 1861 году реакция была еще далеко не так сильна, чтобы перемещать внимание публицистов с вопросов общественных на вопросы личной этики. До 1863 года «Современник» непрерывно повышает гражданский пафос, да не отказывается от него и после 1863 года, до самого закрытия. Если бы даже было верно, что писаревщина, нигилизм характеризуются гражданским индифферентизмом, то и тогда «второй половиной 60-х годов» тут ровно ничего не об'яснишь. Но в сущности это даже и неверно, и общественный индифферентизм нигилизма — чистейшая выдумка. Нигилизм Писарева в действительности один из оттенков крайней радикальной общественной мысли с совершенно ясной программой разрешения социального вопроса. Не искажением и опрощением отрицательных доктрин под влиянием обмеления общественной жизни во вторую половину 60-х годов об'ясняется глубокое и резкое отличие писаревского нигилизма от других крайних направлений эпохи: оно коренится в противоположности классовых интересов, представляемых этими умственными течениями, в глубоком различии классовых основ разных оттенков радикализма. Для понимания Писарева необходимо ясно предста-

вить себе, на какой общественный класс опираются его идейные построения, на кого рассчитана его программа. Ответить на этот вопрос вовсе не так трудно, и если до сих пор на него не было дано толкового ответа, то об'яснять это приходится только тем, что в идеологиях интересовались чем угодно, только не их классовой сущностью. Уже в первой программной статье: «Схоластика XIX века» Писарев довольно ясно заявляет, какую общественную группу он считает творческой группой и носительницей общественного прогресса. «Не забывайте, — пишет Писарев в III главе этой статьи, — что в нашем обществе есть тысячи людей, понимающих наш книжный язык, носящих наш костюм, словом — господ, которые в состоянии прочесть и понять ученую статью в журнале и которые в то же время живут среди народа, в деревнях и уездных городах нашего обширного отечества. Эти люди поневоле выучиваются говорить о народе и присматриваются к его потребностям. Эти люди, по самому своему положению, стоят на рубеже двух элементов, общества и народа, и как будто призваны быть передатчиками и проводниками идей и знаний сверху вниз. Отчего же мы ими не пользуемся? Оттого, мне кажется, что до сих пор мало обращали на них внимания. Наша журнальная критика и журнальная наука могли особенно благодетельно действовать на это сословие, но, к сожалению, ни критика, ни наука не имели в виду этого класса читателей и не заботились даже о том, чтобы сделаться доступными им по форме». И далее: «Высшая аристократия и простой народ в сущности мало изменились со времени, например, Александра I. Что же касается до среднего сословия, то каждое десятилетие производит в нем заметную перемену; поколение резко отличается от поколения; идеи европейского Запада действуют почти исключительно на высшие слои этого среднего класса; этот класс наполняет собою университеты, держит в руках литературу и журналистику, ездит за границу с ученой целью, словом, он выражает собою национальное самосознание». К этому основному положению Писарев упорно возвращается в каждой новой статье, все определительнее развертывая содержание термина «среднее сословие». Так, заканчивая статью «Цветы невинного юмора», он пишет: «Акклиматизация естествознания в нашем обществе неизмеримо полезнее для нашего народа, чем издание книг, предназначенных собственно для него, и чем всякие добродетельные толки о необходимости сблизиться с народом и любить народ. Если естествознание обогатит наше общество мыслящими людьми, если наши агрономы, фабриканты и всякого рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди вместе с тем выучатся понимать как свою собственную пользу, так и потребности того мира, который их окружает. Тогда они поймут, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собой; поймут, что выгоднее и приятнее увеличивать общее богатство страны, чем выжимать или выдавливать последние гроши из худых карманов производителей и потребителей... Если все наши капиталы, если все умственные силы наших образованных людей обратятся на те отрасли производства, которые полезны для общего дела, тогда, разумеется, деятельность нашего народа усилится чрезвычайно, богатство его будет возрастать постоянно и качество

его мозга будет улучшаться с каждым десятилетием». Наконец, в синтетической, так сказать, центральной статье «Реалисты», являющейся камнем веры нигилизма, эта классовая позиция выражена еще яснее и определенней: «Оживить народный труд, дать ему здоровое и разумное направление, внести в него необходимое разнообразие, увеличить его производительность применением дознанных научных истин, — все это — дело образованных и достаточных классов общества, и никто, кроме этих классов, не может взяться за это дело, ни привести его в исполнение. К какой бы экономической и социальной доктрине ни примыкал тот или другой писатель, во всяком случае осязательные исторические и бытовые факты для всех писателей остаются неизменными. И что же говорят эти факты? То, что до сих пор, всегда и везде в той или другой форме физический труд был управляем капиталом. А накопление капитала всегда основано на физическом или умственном превосходстве того лица, которое накопляет... При встрече с таким неотразимым проявлением естественного закона, надо не возмущаться против него, а, напротив того, действовать так, чтобы этот неизбежный факт обращался в пользу самого народа. У капиталиста есть ум и богатство. Эти два преимущества упрочивают за ним господство над трудом. Но господство это, смотря по обстоятельствам, может быть вредно или полезно для народа. Если вы дадите этому капиталисту кое-какое смутное полуобразование — он сделается пьявкой. А дайте ему полное, прочное, чисто человеческое образование — и тот же самый капиталист сделается не благодетельным филантропом, а мыслящим и расчетливым руководителем народного труда, который во сто раз полезнее всякого филантропа.. Разбудить общественное мнение и сформировать мыслящих руководителей народного труда—значит открыть трудящемуся большинству дорогу к широкому и плодотворному умственному развитию. А чтобы выполнить эти две задачи, от разрешения которых зависит вся будущность народа, надо действовать исключительно на образованные классы общества. Судьба народа решается не в народных школах, а в университетах». Кажется, яснее определить свою классовую позицию и свое понимание общественного развития трудно. Писаревщина, это — ставка на индустриализм. Писарев, это — идеолог промышленного капитализма, резкий крайний отрицатель общественных классов крепостного общества и пламенный идеализатор классов промышленно-капиталистического общества. Он махнул рукой и на барина и на мужика, не ожидая от них ничего путного. Все его надежды покоятся на образованном предпринимателе и технической интеллигенции. Культурный капиталист и мыслящий пролетариат — вот две социальные категории, которые кладутся Писаревым в основу социального обновления.

Следует при этом иметь в виду, что Писарев почти отождествляет обе эти категории, что он даже не подозревает возможности противоречия и вражды между культурным капиталистом и мыслящим пролетариатом. И в своих рассуждениях часто заменяет одно другим. Для правильного понимания Писарева это очень существенный момент. Противоречия индустриального строя, антагонизм труда и капитала не осознаются Писаревым.

В его построениях нет нигде четкого разграничения индустриализма капитала от индустриализма труда. Он идеолог индустриальной культуры вообще, идеолог недифференцированного, расплывчатого индустриализма, который, развиваясь и дифференцируясь, неизбежно ведет либо к системе капиталистического индустриализма, либо к системе индустриализма социалистического в духе сен-симонизма. Все зависело от того, смотрел ли идеолог на индустриализм, как на фактор обогащения или как на фактор борьбы с бедностью, искал ли он опоры в капиталисте или в мыслящем пролетарии. Тем или другим акцентом определяется характер и дальнейшая эволюция доктрины.

Акцент Писарева несомненен: он делает ударения на интересах труда, на интересах массы; он в системе индустриализма ищет решения вопроса о голодных и раздетых. «Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем стоило бы заботиться, размышлять и хлопотать. Так писал Писарев в статье «Реалисты», являющейся наиболее систематическим изложением его взглядов («Реалисты», XXVII гл.).

«Лучшие мыслители, — пишет Писарев в XI гл. статьи «Посмотрим» (201), — с начала нынешнего века сосредоточили все свои умственные силы на решении того вопроса: каким образом голодных людей кормить и всех вообще обеспечить». И, заканчивая эту главу, он утверждает «ясную, как день, простейшую истину, что для публициста, имеющего в виду интересы большинства, возможен в настоящее время только один вопрос, поглощающий все остальные: как накормить голодных людей. Как обеспечить всех вообще». Мыслью об этом вопросе пронизана вся публицистическая деятельность Писарева. И сочувствия этой своей мысли он ожидает прежде всего от «мыслящих пролетариев», в увеличении числа которых он только и видит залог успеха своих идей. «Люди, наслаждающиеся сытостью, — говорит он, — не только не питают ни малейшей нежности к решению общественной задачи, но даже, напротив того, видят в каждой из подобных новых идей явное и дерзкое посягательство на их благосостояние. Но успех новых идей в значительной степени ускорится тем обстоятельством, что в ряды образованного общества постоянно прибывают из низших слоев такие люди, которые, проводя свою молодость без сытости, встречают новые идеи с пылким деятельным и совершенно сознательным сочувствием. Спрашивается теперь: что же должны делать те люди, которые берутся быть руководителями общественного сознания?»—спрашивает Писарев. И дает, не оставляющий сомнения в социально-трудовом характере его индустриализма, ответ: «Всеми возможными средствами усиливать приток новых людей из низших классов в образованное общество, другими словами, вербовать агентов найденного разумного учения и увеличивать массу мыслящего пролетариата» («Посмотрим», гл. XI).

Индустриализм Писарева не развился до ясно-формулированной социалистической системы, но социалистическая окраска его едва ли может быть оспариваема. Через индустриализм Писарев ощупью тянется к социализму,

видя в высоко развитой технике производства единственный путь к решению проблемы голодных и раздетых. В этом смысле нигилизм Писарева можно рассматривать, как зачаточную теоретически слабо аргументированную форму будущего научного социализма. Ведь система научного социализма, в конце концов, и есть индустриализм в пределе, так сказать, последнее слово логики индустриализма. Научный социализм—это крайняя левая мысль индустриального строя, отчетливо понявшая необходимость смены капиталистического фазиса этого строя социалистическим. Нигилизм, писаревщина и есть крайняя левая индустриальной идеологии, недоросшая еще до науки, до понимания сил и законов, обусловливающих неизбежность движения индустриального строя от капитализма к социализму; это индустриализм с пламенным желанием обратить мощные производительные силы индустриальной техники для решения проблемы голодных и раздетых, но без ясного понимания того, как это может быть сделано. Писарев и нигилисты 60-х годов выразили идею индустриального социализма в той расплывчатой, донаучной форме, в какой только и могла быть она выражена в условиях нарождающегося, еще не раскрывшего своей двуликой сущности индустриализма.

Теперь, когда мы уяснили себе экономическую и классовую позицию Писарева, как крайнюю левую индустриализма, становятся понятными его взаимоотношения с другими течениями радикальной мысли 60-х годов. Народнический уклон этих течений, их отвращение к индустриальной культуре, связанной с пауперизацией крестьянства, резко отмежевывают их от Писарева. Ни «русский социализм» Герцена, с его славянофильской окраской, представлявшей собою крайнюю левую помещичьего освобожденчества; ни западнический утопический социализм «Современника», представлявший собою крайнюю левую мелкобуржуазного радикализма, не могли принять Писарева с его решительной ориентацией на индустриальное хозяйство и индустриальные классы, с его больше чем скептическим взглядом на общину и народ. Вражда была неизбежна. И она должна была приобрести исключительно ожесточенный характер, потому что Писарев не был из тех жалких противников, которые выступают против смелости мысли, против крайностей, увлечений, утопии во имя умеренности и осторожности. Он сам не останавливался ни перед какими крайними выводами, сам отличался дерзостью мысли, которая пугала всех умеренных филистеров, всех обывателей либерализма из «Русск. Вестн.» и «Атенея». Он сам издевался над трусостью мысли умеренных либералов помещичьего и буржуазного толка, противопоставляя их куцой, убогой трезвости здоровый, даже в своих рискованных взлетах, порыв утописта. «Мечта какого-нибудь утописта, — писал он, — стремящегося пересоздать всю жизнь человечества, хватает вперед в такую даль, о которой мы не можем даже иметь никакого понятия. Осуществима ли, не осуществима ли мечта — этого мы решительно не знаем. Видим только то, что эта мечта находится в величайшем разладе с той действительностью, которая находится перед нашими глазами. Существование разлада не подлежит сомнению, но этот разлад все-таки нисколько не вреден и не опасен»... «Экономисты, например, очень не любят социалистов.

Мы знаем по «Русскому Вестнику», что экономисты — люди почтенные, а социалисты — прощалыги и сумасброды. Но все-таки совершенно невозможно отрицать, что экономисты давным-давно обратились бы в стадо баранов и волов, пережевывающих старую жвачку Адама Смита, если бы социалисты своими предосудительными глупостями не заставляли их ежеминутно бросаться в полемику и отражать новые нападения новыми аргументами» (См. «Промахи незрелой мысли», IV гл.). Смелый полет утопической мысли ему симпатичней, чем пережевыванье старой жвачки избитых истин. Если он и борется с утопистами, то не во имя «баранов и волов, пережевывающих старую жвачку Адама Смита». Это был очень опасный враг, противопоставлявший дерзким идеям мелкобуржуазного социализма дерзкие идеи индустриального социализма, противопоставлявший материализму — материализм, антиэстетизму — антиэстетизм.

Материалисты из «Современника» могли только смеяться над старушечьим бормотаньем духовного любомудра Юркевича, которым умеренные всех мастей пытались зачураться от Чернышевского. С Писаревым приходилось быть серьезным, ибо он сам искал обоснования своей позиции в материализме. Это был опасный противник, претендовавший на большую верность и последовательность материалистической мысли. Нужно было доказывать, что это не так, что материализм Писарева слабее, элементарней, чем материализм «Современника», что было гораздо труднее, чем полемика со старушечьим «аминь, аминь, рассыпься!». Во всяком случае философская полемика Антоновича с Писаревым едва ли сплела лавры «Современнику».

В чем расходился материалист Писарев с материалистами из «Современника»? Философская ориентация Писарева находится в полном согласии с социально-экономической ориентацией на индустрию, жизненным нервом которой является лаборатория естествоиспытателя. Его философия в отрицании всякой философии, как бесполезной схоластики, которая должна уступить место точной, экспериментальной науке. Писарев отводит место философии в музеях всяких древностей. Лаборатория натуралиста, — вот тот единственный храм мудрости, в который верит Писарев. Современная философия в естествознании, и никакой больше философии нам не нужно. В этом отождествлении философии с естествознанием, с опытной наукой и заключается, по мнению Писарева, настоящий материализм. Никакого материализма, кроме системы точных экспериментальных наук, он не принимает. Он не только настроен враждебно ко всякой мистике и идеализму, но скептически относится и к системам умозрительного материализма, к так называемому теперь метафизическому материализму, видя в нем только лучшую форму донаучной схоластики. Так отзываясь в общем сочувственно о полемике Антоновича с идеалистами, Писарев упрекал его в уступках схоластическому мышлению, поскольку тот вместо принципиального отрицания философии, хлопочет о философском обосновании науки, как будто наука нуждается в философском обосновании, а не наоборот. Антонович, по мнению Писарева, делает ошибку, вступая с философами в спор о познавательной ценности науки, совершенно бесспорной, вместо того, чтобы

требовать от них доказательств познавательной ценности философии, которая больше чем сомнительна. «С какой стороны ни посмотришь на диалектику и отвлеченную философию, — рассуждал Писарев, — она всячески покажется бесполезной тратой сил и переливанием из пустого в порожнее... Антонович написал обширную рецензию первых двух лекций Лаврова, провел в этой рецензии свежий и современный взгляд на философию, но, сколько мне кажется, пустился в совершенно ненужные частности и тонкости. Восставая против диалектики, он сражается с нею диалектическим оружием, он доказывает логическую последовательность тогда, когда следовало бы доказать практическую бесполезность. Дело не в том, верно ли решаются вопросы о сущности вещей и о том, что такое я, а в том, нужно ли решать эти вопросы. Антонович спорит с Лавровым как адепт одной школы с адептом другой, но было бы, мне кажется, проще и полезнее для публики, если бы он стал на точку зрения совершенного профана и спросил бы: а какими знаниями и идеями обогатит меня ваша хваленая философия. Один этот вопрос был бы, мне кажется, серьезнее и радикальнее всего длинного ряда доказательств, которые Антонович выводит против Лаврова («Схоластика XIX века», гл. X). Вражда ко всякому умозрению, ко всякой метафизике, не исключая и материалистической, культ опытного знания эмпирической науки, развитие которой только и дает надежную базу для постройки свободного от всякой мистики, подлинно материалистического миропонимания — вот позиция Писарева. Идеалистической мистике Писарев противопоставляет не метафизический материализм, а строгий решительный эмпиризм, в котором видит высшую фазу материализма.

«Умозрительная философия скончалась вместе с Гегелем и приемы опытных наук проникли и продолжают проникать до сих пор во все отрасли человеческого мышления. Отрешаясь от школьных фантазий, наука в высшем и всеоб'емлющем значении этого слова получает, наконец, в мире свое полное право гражданства; она формирует не специального исследователя, а человека. Она закаляет ум, она приучает его действовать этим умом во всех обстоятельствах вседневной жизни» («Цветы невинного юмора», гл. VI).

Писаревский эмпиризм характеризуется той же нечеткостью мысли, с какой мы имели дело и в его индустриализме. Подобно тому, как противоречивые тенденции индустриализма остались неосознанными Писаревым, остались неосознанными и противоречивые тенденции эмпиризма. Мимо сознания Писарева проходит тот факт, что эмпиризм имеет тенденцию развиваться в двух направлениях, что он оказывается базой и для мистики и для материализма в зависимости от того, признается ли за опытом только суб'ективная значимость или же и значимость об'ективная. Писарев берет за одни скобки и эмпирика-позитивиста и эмпирика-материалиста, не подозревая, что они развивают глубоко антагонистические тенденции эмпиризма, как он брал за одни скобки «просвещенного предпринимателя» и «мыслящего пролетария», не подозревая, что каждый из них — воплощение противоречивых тенденций индустриализма.

Проповедуя эмпиризм, Писарев не различает материализма от позитивизма, который пристраивает лабораторию к церкви. Он отождествляет материализм с эмпиризмом, в котором есть только семена материализма, но есть и семена мистицизма, из которого можно вырастить научный материализм, но можно вырастить и эмпирио-мистицизм.

Выражая свой материализм в расплывчатых терминах эмпиризма, Писарев, конечно, очень далек от законченных форм научного материализма. Его материализм можно определить как смутный, неопределенный, не выделившийся из туманности эмпиризма научный материализм. С современной точки зрения это, конечно, очень примитивный, слабый материализм. Но он был достаточно крепок, чтобы бороться, и не без успеха, с метафизическим материализмом «Современника». Сказанное о философской распре в равной степени относится и к той длительной, упорной и чрезвычайно резкой полемике, которая велась между Писаревым и «Современником» об эстетике и искусстве. Как в области философии Писарев боролся с «Современником» на общей основе материализма, так и здесь борьба велась на общей основе разрушения эстетики. Барский эстетизм, культ красоты, требующий уважения к красоте и искусству только потому, что они красивы — вот общий враг Писарева и «Современника». Право на уважение дается лишь полезностью, и бесполезное, не исключая и бесполезной красоты и бесполезного искусства, заслуживают только презрения и уничтожения — вот их общее утверждение. Они стоят на одной позиции утилитаризма, ожесточенно обстреливая укрепления эстетов. Но с неменьшим ожесточением обстреливают они друг друга, потому что глубоко различное содержание вкладывается ими в утилитаризм, как глубоко различно было у них понимание материализма.

Утилитаризм «Современника» — это утилитаризм потребительского типа. Критерием полезности здесь является способность удовлетворять потребности большего или меньшего количества людей. Наибольшей полезностью обладает то, что удовлетворяет потребностям наибольшего количества людей. Искусство полезно, лишь поскольку оно опирается на потребности масс, поскольку служит ее интересам, и только такое искусство имеет право существовать. Легко разглядеть в этих воззрениях выражение эстетических требований мелкобуржуазной, трудящейся бедноты, пред'являющей свои права на искусство.

Потребительскому мелкобуржуазному утилитаризму Писарев противопоставляет утилитаризм производственный, индустриальный. За основание полезности он берет не человеческую потребность, а экономическую выгодность. Подлинно полезно только то, что содействует успеху производства, поднимает производительность человеческого труда, единственного источника всего потребительски-ценного. Искусство и эстетика только в том случае могут быть признаны полезными и законно существующими, если они имеют базу в труде, в производственной деятельности, содействуя их успеху. Только одну эстетику приемлет Писарев: эстетику приятного труда; только одно искусство считает он достойным существования: ставший искусством труд.

Полемическая страница из статьи Писарева «Посмотрим» дает нам довольное ясное представление о том, чем отличалась производственно-утилитарная точка зрения Писарева от потребительского утилитаризма «Современника», на котором базируется Антонович: «Вообразите себе, — говорит Антонович, — что человек, наслаждающийся произведением искусства, сам для себя производит искусство и сам же для себя производит хлеб и таким образом не заедает чужого хлеба; земледелец в свободное время сделал себе сопелку, балалайку или скрипку и извлекает из них эстетические наслаждения для себя и для своих знакомых. Позорно или нет это наслаждение, следует ли уничтожить это искусство или нет? И, наконец, применяется ли к этому случаю ваше рассуждение и не сильно ли оно компрометирует вашу мыслительную способность?» «Охота вам, г. Антонович, — отвечает на эту тираду Писарев, — говорить такие бесполезности? Мы с вами для кого пишем: для земледельцев, сделавших себе сопелку, или для джентльменов, абонированных в итальянской опере и выписывающих себе на чужие деньги тысячные рояли? Если вы признаете законность сопелки, сделанной в свободное время самим меломаном, то вы и должны стараться о том, чтобы привести ваших читателей к этой сопелке, которая, конечно, безобиднее тысячных роялей, купленных на чужие деньги. Но так как с эстетической точки зрения сопелка стоит ниже рояля и оперы, то-есть ублажает слух меломана менее приятными и разнообразными звуками и аккордами, то вы должны непременно заменить эстетическую точку зрения экономической, если только желаете действительно поворотить наших читателей к той сопелке, которой неприкосновенность вы стараетесь отстоять. Кроме того, я вам замечу, что вы совершенно напрасно считаете вашу сопелку вполне неприкосновенной. Вы говорите, что земледелец сделал ее в свободное время и извлекает из нее эстетические наслаждения также в свободное время. Употребляя свое свободное время на сопелку, земледелец, конечно, не заедает чужого хлеба, но зато он, несомненно, отнимает у самого себя некоторые материальные удобства и некоторые высшие и особенно плодотворные умственные наслаждения. Предположите, что один земледелец гудит в свою сопелку, а другой в это время учится грамоте, а третий, выучившись грамоте, учит ей своих детей, а четвертый, также выучившись грамоте, читает популярный трактат о болезнях лошадей и рогатого скота, а пятый, также выучившись грамоте, читает газеты. Кто из этих земледельцев употребляет свое свободное время более разумным и полезным для себя образом: первый ли, предающийся своей сопелке, или остальные четверо, превращающие понемногу себя и своих детей в мыслящих членов цивилизованного общества? И о чем должен заботиться настоящий друг народа: о том ли, чтобы распространять между земледельцами вкус к сопелкам, или о том, чтобы распространять между ними охоту к чтению книг и газет? Вы мне скажете, что лучше сопелка, чем «Московские Ведомости». О, разумеется! Но я говорю вам не о дурных книгах и газетах, а о хороших. Вы мне скажете далее, что лучше сопелка, чем табак. Опять-таки скажу вам: разумеется. Но я доказываю вам совсем не то, что нет на свете ничего хуже сопелки,

а только то, что есть очень много вещей лучше ее, и что если она отвлекает человека от этих лучших вещей, то становится очевидным злом. Вы мне скажете, наконец, что чтение — не отдых, потому что все-таки требует некоторого напряжения умственных способностей. Для нас с вами, отвечу я, чтение действительно не отдых, потому что мы с вами чувствуем потребность отдохнуть именно от слишком продолжительного чтения или писания. Но для того, кто утомлен паханием или молотьбой, чтение составляет превосходный отдых точно так, как для нас с вами может служить превосходным отдыхом копание грядок или пиление дров. Если вы имеете хоть слабое понятие об идеях Фурье, то вы должны знать, что человека утомляет не работа сама по себе, а только продолжительность и однообразие работы и что вследствие этого, переходя во время от одного занятия к другому, человек может работать беспрерывно, с утра до ночи, не только без утомления, но даже с величайшим удовольствием и увлечением. Вы спрашиваете у меня: позорно или нет наслаждение сопелкой? Я скажу вам, что ваш вопрос не имеет определенного смысла. Что такое позорно? Зачем употреблять такие звонкие, напыщенные и неясные выражения, в которых высказывается только суб'ективное мнение говорящего лица, а не об'ективное свойство рассматриваемого предмета. Если бы вы у меня спросили, полезно ли, разумно ли, выгодно ли это наслаждение, то я вам ответил бы, что можно найти много наслаждений выгоднее, полезнее и разумнее. Если земледелец будет употреблять все свое свободное время на сопелку, то это будет очень печально как для земледельца, так и для общества; если он будет употреблять на сопелку значительную часть своего свободного времени, то и это будет вовсе нехорошо; чем меньшую долю времени от отдает сопелке и чем большую долю он посвятит какой-нибудь ручной работе или чтению, тем прочнее будет его материальное благосостояние, тем шире умственное развитие и тем полезнее он будет для общества, как работник, как гражданин и как отец семейства. Вы видите таким образом, что против вашей сопелки повторяются в малых размерах все те возражения, которые можно сделать против оперы и роялей» (стр. 205—207).

Обычно писаревское разрушение эстетики принято представлять как доведение до крайностей воззрений Чернышевского и его школы. В действительности это две совершенно самостоятельных позиции: одну из них можно бы определить как утилитарно-антропологическую, другую — как утилитарно-экономическую.

И эта утилитарно-экономическая позиция Писарева далеко не так слаба, как это принято думать. К пониманию искусства Писарев пытался подойти, базируясь не на антропологическом принципе потребительной полезности, а на экономическом принципе его производственной полезности. Ссылка антропологистов на то, что искусство удовлетворяет человеческой потребности, нисколько не убеждала Писарева в его полезности. Есть вздорные, вредные потребности, и то, что их удовлетворяет,' тоже вздорно и вредно. Сама потребность должна быть экономически оправдана, чтобы быть полезной. Критерий полезности — экономический критерий. Искусство

должно иметь экономический смысл, или оно не имеет вовсе никакого смысла — так ставил вопрос Писарев, и едва ли с материалистической точки зрения можно возражать против такой его постановки.

Экономический смысл искусства Писареву был, однако, очень не ясен, и отсюда все его дерзкие парадоксы «разрушения эстетики» и «отрицания искусства», по существу несправедливые, но совершенно неопровержимые, пока не раскрыта связь искусства с производством. «Современник» мог сколько угодно сердиться на эти парадоксы, но он был совершенно бессилен оспорить их, потому что экономический смысл искусства был ему ясен еще менее, чем Писареву, а антропологические доводы против этих парадоксов были ребяческой наивностью в сравнении с экономическим их обоснованием. Писарев смело мог смеяться над сердитым бессилием полемических статей Антоновича.

Знакомство с идеями Писарева приводит к заключению, что представляемый им нигилизм являлся крайним левым течением зарождавшегося индустриализма, индустриальной мысли. Здесь об'яснение той вражды, которая разделяла его с крайними течениями помещичьего и мелкобуржуазного радикализма, питавшими непримиримую ненависть к индустриальной культуре. Здесь об'яснение пред'являемых со всех сторон нигилизму обвинений в том, что он был равнодушен к социально-экономическим нуждам народа, что он был буржуазно-индивидуалистичен, что он легкомысленно, по-мальчишески задорно пользовался отрицательными доктринами и т. д. В действительности, как мы видели, все эти обвинения вызывались лишь тем, что нигилизм пользовался совсем не так отрицательными доктринами, как пользовались ими обвинители, что он вкладывал в них резко своеобразное содержание, враждебное народничеству и утопическому социализму. Но это вовсе не значит, что обвинители были правы, ибо расходиться с народничеством и утопизмом вовсе еще не значит грешить индивидуализмом, буржуазностью, легкомыслием и прочими грехами. Не во имя индивидуализма, не из равнодушия к нуждам народа разошелся нигилизм с народниками, а из убеждения, что путь к разрешению проблемы голодных и раздетых лежит через высоко развитую технику индустриализма и научно-материалистическое миросозерцание.

Развивая эти идеи, нигилизм предвосхищал будущие построения марксизма, был зачаточной формулировкой будущей системы научного материализма и научного социализма. Нигилист Писарев не меньше, а по нашему мнению даже и больше, чем социалист Чернышевский, воспитывал и подготовлял умы революционных поколений к восприятию марксизма. Было бы весьма интересно изучить роль Писарева в умственном развитии наших марксистов. Есть основание предполагать, что оно было весьма заметным. По крайней мере, мои воспоминания говорят, что молодежь моего поколения свой путь к марксизму начинала с Писарева. От Писарева мы переходили к Плеханову, чтобы потом засесть за «Капитал» и «Анти-Дюринг». Вообще вопрос об идеологической ценности Писарева подлежит пересмотру. Марксистам пришлось многое перетряхнуть в традиционных квалификациях идеоло-

гических явлений. Нужно перетряхнуть и традиционную народническую квалификацию Писарева. До сих пор это не только не сделано, даже не начато. Традиция остается в такой силе, что даже Плеханов в своих, правда случайных, высказываниях остается в ее власти. Пора начать критический пересмотр традиции. Моя статья и имеет целью сделать почин в этом направлении.

Япония в наши дни.

А. А. Иоффе (В. Крымский).

Революционны ли японский пролетариат и крестьянство?

(Глава из книги).

Для того, чтобы судить о судьбах и перспективах японской революции, необходимо подвергнуть серьезному анализу рабоче-крестьянский фронт в Японии.

К этому анализу мы теперь и перейдем.

Когда говоришь с японским государственным деятелем или буржуазным ученым, то он, под гипнозом тысячелетий исторического существования Японии, всегда уверяет, что все в Японии уже было, все Япония уже пережила. Даже Советская власть в Японии уже некогда существовала... Не менее уверен средний японец в благоразумии своего правительства: у нас-де никогда не может быть революции уже потому, что наши правительства всегда слишком умны, чтобы допустить до этого; если иначе никак нельзя, то мы уступим и дадим массам то, чего они требуют, не доводя их до революции.

Впрочем, точь-в-точь такие же речи приходилось слышать и в Германии в самый канун германской революции. Беда здесь всегда, очевидно, в том, что, когда власть признает, наконец, необходимость уступок, то всегда оказывается уже поздно, и этих уступок — вчера еще, быть может, действительно могущих удовлетворить и поэтому временно задержать революционное движение — сегодня уже недостаточно.

В своем отрицании возможности революции в Японии, — японская буржуазия доходит до того, что отрицает самый факт бывших уже революций, и японская история революцию 1868 года упорно называет не революцией, а реставрацией, пользуясь тем, что одним из внешних проявлений этой революции было уничтожение шогуната и юридическое оформление неограниченной власти императора.

Феодальная борьба в Японии, как и везде, развивалась по линии борьбы крупнейших феодалов против императора (микадо), и около десяти столетий назад закончилась победой первых и организацией такого строя, при котором фактическая государственная власть в Японии совмещалась в руках не императора, а его главного военноначальника, шогуна (или по другой транс-

крипции, сегуна), вся же страна была разбита на ряд феодальных владений, управляемых более мелкими феодальными владетелями, даймио.

В течение времени этот феодальный порядок стал неудобен: шогуны восстановили против себя население, большинство даймио стало против них, воинственные самураи (рыцари, совсем маленькие феодалы), особенно из молодого поколения, выдвинули лозунг об'единения Японии, уничтожения ее расслоения на мелкие феодальные владения и борьбы против иностранного капитала. Среди таких молодых самураев, зараженных новыми идеями, особенно выделялись Ямагато, Окубо, Кидо, Сайго, Итагаки, Соеджима и Гото, — лидеры нового движения и будущие, после победы, приближенные и советники молодого императора.

Так как, таким образом, император оказывался на стороне революции, а последняя была направлена против «Токугава-шогуната», т.-е. против последнего шогуна из рода Токугава, то и создавалось то видимое впечатление, будто дело идет о восстановлении, реставрации власти императора.

На самом деле, конечно, революция была гораздо глубже одного только факта реставрации; в действительности она была победой буржуазии и приводила к тому своеобразному сочетанию феодального режима с буржуазным, которое характеризует Японию и по настоящее время. Но мешавшее развитию капитализма деление страны на, также и экономически обособленные и замкнутые, феодальные владения было уничтожено одним ударом; недаром уже 17 июня 1869 года императорский декрет об'являл полное уничтожение феодальной системы: упразднение феодальной власти даймио (и самого этого института), об'явление всех японских территорий собственностью императора и всех японцев — непосредственными его подданными, это настолько вкоренилось теперь в японском сознании, что, например, когда мы в переговорах с японцами пытались писать в договорах: «граждане обеих договаривающихся сторон...» и т. д., японские представители категорически возражали против такого термина, требуя написания: «подданные», а так как мы, наоборот, настаивали «что у нас» «подданных» нет, а есть только «граждане», то неизменно писалось: «граждане и подданные обеих договаривающихся сторон...» и т. д.).

Последующая эпоха, известная в японской истории под названием «Эра Мейдзи», была эпохой лихорадочной пересадки на японскую почву западно-европейских и американских образцов, не только государственных, но и хозяйственных. Неограниченная власть императора очень скоро стала конституционно-ограниченной, и создался тот оригинальный тип абсолютизма, при действительно неограниченной фактически власти крупнейшей буржуазии, о котором мы говорили выше.

Японская революция 1868 года, как революция буржуазная, в сильнейшей мере способствовала развитию капитализма в Японии, что, прежде всего, коснулось аграрных отношений, как наиболее важных при чисто-феодальном строе.

При феодализме фактическим собственником земли был феодальный владетель, и крестьянство находилось в рабской от него зависимости. Рево-

люция ликвидировала эти отношения, об'явив всех лиц, фактически обрабатывающих землю, и юридическими собственниками обрабатываемых ими земельных участков. Земля стала товаром, но, так как при капиталистических условиях новые собственники ничего, кроме самой земли, не получавшие, оказались экономически совершенно беспомощными, то началась массовая распродажа принадлежащей им земли. Отсюда — с одной стороны, новое скопление огромных земельных площадей в руках новых собственников, земельной буржуазии, и, с другой стороны, пролетаризация крестьянства; создание широких кадров лишенных собственности пролетариев, столь нужных для развивающейся промышленности — наемных рабочих, и создание неменьших кадров безземельного пролетариата.

Аграрное население Японии до сих пор составляет не менее 50% всего населения (по некоторым подсчетам до 60%). Огромная часть этого населения состоит из лишенных земельной собственности арендаторов и таких мелких собственников, которые вынуждены приарендовывать чужую землю.

По удерживающейся до сих пор традиции, — ибо никаких законов, нормирующих арендные права, по нашим сведениям в Японии, до сих пор не существует, — собственник земли удерживает в свою пользу с арендатора до 60% урожая.

Это, конечно, создает совершенно невыносимое положение для арендаторов.

Профессор О. Плетнер, в своей книге «Япония» (ГИЗ. 1925 г.) для 1912 года дает следующий бюджет японского крестьянина, арендующего 6 тан земли (1 тан = 218,4 кв. сажени):

Доход в иенах.

С рисовых и других полей	273,50
Посторонние доходы	25,00
Всего...	298,50

Расход в иенах.

Арендная плата	111,50
Удобрение	30,00
Налоги	3,20
Еда (семья в 6 человек)	129,60
Одежда (семья в 6 человек)	12,24
Мелкие расходы	11,80
Непредвиденные расходы	3.50
Всего...	301,84
Дефицит	3,34

Это значит, что средний японский крестьянин-арендатор, при минимуме удовлетворения своих потребностей, отвратительно питаясь и едва-едва одеваясь, — все же имеет из году в год более трех иен убытку, и не только не в состоянии улучшить своего производства, не только не может обновить тех чрезвычайно примитивных орудий, которые у него имеются, не в силах

вообще произвести каких бы то ни было затрат, чтобы поднять доходность своего участка земли, но должен еще изыскивать средства, чтобы покрыть свой перманентный, постоянный дефицит, т.-е., по большей части, занимать у того же хозяина и, таким образом, подпадать к нему в еще большую кабальную зависимость. Японская печать сообщает, что за последние годы банки начинают брать на себя роль посредников между арендаторами и их хозяевами, но от этого, конечно, положение первых не улучшается, ибо арендаторы попадают в кабальную зависимость к банкам.

При оценке вышеприведенного примера, нужно еще иметь в виду, что он относится к 1912 году, т.-е. к эпохе еще довоенной, а с этого времени везде, и в особенности в Японии, жизнь очень вздорожала. На среднем японском крестьянине это вздорожание отражается в сторону ухудшения, а не улучшения, ибо в большинстве своем он выступает, как потребитель, а не как производитель. Производимый ими рис большая часть японских крестьян сами же со своей семьей поедают без остатка, так что поднятие цен на рис им никакого повышенного дохода не дает, там же, где японский крестьянин может продавать рис и другие продукты, — как правило, он в состоянии делать это лишь в таком незначительном проценте, что приобретаемое им от вздорожания цен на эти продукты сторицей покрывается вздорожанием того, что он для своего хозяйства сам должен покупать.

Поэтому неудивительно, что теперь не только индустриальный рабочий, но даже и сельскохозяйственный батрак зачастую находятся в лучшем материальном положении, чем крестьянин-арендатор.

Вполне естественно, что такое бедственное положение японского крестьянства приводит его к необходимости активных выступлений в защиту своих интересов. Японское крестьянство, так сказать, стихийно организуется. По словам т. Виленского-Сибирякова («Япония». Изд. В. Н. А. В. 1923 год) в Японии в 1921 году «существовало 416 крестьянских союзов, которые об'единяли около 50 тысяч членов. На-ряду с этими существовало 163 союза землевладельцев, об'единявших около 30 тысяч членов». Цитированный выше проф. Олег Плетнер сообщает, что в марте 1922 года «был основан японский крестьянский союз (Нихон Номин Кумиай). К 1923 году союз этот насчитывал 10.000 членов и 216 отделений по всей стране. Крестьянский союз находится под контролем вождей оппортунистического характера, но значение его в том, что это — первый шаг по пути к организованным выступлениям и к об'единению с рабочим движением» (проф. Олег Плетнер. «Япония». ГИЗ. 1925 г.).

Как общее правило, крестьянские организации ставят своей задачей борьбу за снижение арендной платы и общее улучшение положения крестьянства, но в последние годы в выступлениях крестьян уже выдвигались и политические требования. «По официальным данным в 1919 году в Японии имело место 408 зарегистрированных конфликтов между арендаторами и землевладельцами. Интересно отметить, что большинство этих конфликтов были связаны с вопросами понижения ренты, чего добивались арендаторы. Причины: в 31 случае арендаторы протестовали вообще против повышения аренд-

ной платы, в 102 случаях они добивались понижения ренты по причине плохого урожая, в 34 случаях добивались понижения ренты по причине падения цен на рис и в остальных случаях были тоже вопросы, связанные с рентой» (Виленский-Сибиряков — «Япония»). Это было в 1919 году, а «в 1921 число таких волнений выросло до 1.255».

Не всегда эти конфликты удается уладить мирным путем, разрешением третейского суда; очень часто конфликты эти выливаются в крестьянские волнения, бунты, которые жесточайшим образом подавляются силой оружия.

Из таких восстаний наиболее известны, ибо наибольший размах получили, так называемые «рисовые бунты» в 1918 году, который ведь вообще во всем мире был самым тяжелым и опасным годом для буржуазии.

Тогда движение началось с волнений в небольшой рыбацкой деревушке, очень скоро охватило всю центральную Японию (Осака, Киото, Кобэ) и даже перебросилось в Токио. В течение трех недель, начиная с 3 августа 1918 года, в 33 провинциях из общего числа 47 провинций Японии, имели место массовые выступления с разгромом продуктовых лавок и дворцов богачей. Как уже указывалось, главными участниками этих «бунтов» были крестьяне-арендаторы и «каста отверженных», «Эта», а также беднейшие слои городского пролетариата. Для подавления восстания правительству пришлось мобилизовать 10 дивизий и об'явить на территории восстания военное положение. Движение было зверски задавлено: «7.813 человек были приговорены к различным наказанием за различные выступления, совершенные во время восстания, и некоторые из них были осуждены на смерть» (Г. Тани — «Капитал и труд в Японии»).

Все-таки после подавления этого восстания реакционный милитаристский кабинет генерала Тераучи полетел в отставку, и в стране начался «расцвет реформизма» и «демократизма». Ухудшение положения рабочего класса во всем мире со второй половины 1921 года привело к значительному ухудшению положения и в Японии, а после землетрясения и покушения на жизнь принца-регента в Японии начался такой невиданный еще разгул темных сил, который быстрейшим темпом уничтожает все отмечавшиеся расовые и исторические особенности японского революционного движения и переводит его на обычные для всех капиталистических стран рельсы.

Особенно это верно в отношении рабочего движения.

Чрезвычайно трудно установить точное число японских рабочих, ибо официальная статистика учитывает лишь рабочих, работающих на фабриках и заводах, подлежащих контролю фабричной инспекции, а маленькие предприятия с числом наемных рабочих в 2 — 3 человека никакому контролю не подлежат и поэтому нигде не учитываются. Несмотря, однако, на указанную уже чрезвычайную концентрированность японского капитала, таких маленьких предприятий в Японии все же еще очень много, особенно в тех областях промышленности, где кустарное производство еще играет большую роль (шелковое производство, отчасти ткацкое, вообще кустарные промыслы, как выделка циновок, сандалий, производство пряжи и т. д.). По существу эти крохотные предприятия в большинстве своем уже лишены самостоятель-

ности и закабалены крупными промышленными предприятиями или банками, но их существование все же запутывает все статистические данные не только в области учета количества японских рабочих, но также в области учета условий их труда, ибо само собою понятно, что самая сильная эксплоатация и выжимание соков из рабочих имеет место как раз в таких маленьких предприятиях, которые не имеют над собою даже контроля фабричной инспекции.

Совершенно никакому учету не поддаются рабочие, занятые в коммерции, торговле, также домашняя прислуга. Наконец, чрезвычайно трудно учитывается такой текучий элемент, как рикши, число которых (так же, как и наших извозчиков) сильно колеблется в зависимости от сезона и от того, был ли урожай или нет, много ли крестьян должно было отправиться в город на заработки.

Ежегодник газеты «Майничи» на 1921 год исчисляет общее число наемных рабочих в Японии в 10.825.929 человек, считая в этом числе также и сельско-хозяйственных рабочих и рыбаков, и вряд ли эта цифра преувеличена.

Даже в отношении числа фабрично-заводских рабочих цифры весьма противоречивы; в то время, как одни источники считают около 4-х миллионов фабрично-заводских рабочих в Японии, другие дают цифру только около 2-х миллионов.

В прекрасной книжке тов. Г. Тани «Капитал и труд в Японии» приводятся следующие данные: в декабре 1921 года числилось в Японии рабочих, занятых на государственных фабриках и заводах 184.551 человек, а на частных — 1.896.274 человека. Всего, следовательно, — 2.080.825 человек. А проф. О. Плетнер для того же 1921 года определяет число фабрично-заводского пролетариата всего в 1.648.731 человек. Мы полагаем, что цифра тов. Тани ближе к действительности.

Что касается организованности японского пролетариата, то подавляющее его число совершенно неорганизовано, хотя имеются не только союзы современные, тред-юнионистского типа, но и огромное число специфически-японских мелких союзиков, также таких как союзы рикш, кельнерш из ресторанов и чайных и, как говорят, даже гейш. Общее число рабочих и работниц как в крупных, так и в мелких союзах, опять-таки чрезвычайно трудно поддается какому бы то ни было учету, и цифры тут тоже весьма противоречивые.

Большинство авторов все же сходится на том, что общее число японских рабочих и работниц, организованных в профессиональных союзах, в настоящее время составляет с разными колебаниями приблизительно 200.000 человек, а самих профессиональных союзов — около 450.

По данным социального бюро японского министерства внутренних дел в 1924 году в Японии было 447 профессиональных союзов со 175.454 членами. Тов. Тани определяет число членов профсоюзов в 243.000 человек. В весьма интересной, вышедшей недавно за границей капитальной работе меньшевика Вл Войтинского (Вл. Войтинский — «Весь мир в цифрах». Книгоиздательство «Знание». Берлин 1925 г.) для Японии приводятся следующие цифры: «по

данным, опубликованным в «Revue Internationale du Travail», к 1 января 1921 года — 671 союз и 246 тысяч членов. В конце 1923 года в Японии, по данным специальной анкеты, было 430 синдикатов (профсоюзов), об'единявших около 125 тыс. членов и больше 2.000 обществ взаимопомощи, имевших 434 тыс. членов. Последние общества порой выступали в роли профессиональных союзов (во время стачек), и этим, повидимому, об'ясняется противоречивость цифр японской синдикатной статистики».

Последнее указание Вл. Войтинского совершенно правильно, и действительно в Японии за частую трудно отделить общества взаимопомощи от профсоюзов, но все же, как мы указывали выше, надо считать, что в настоящее время в Японии несколько больше 200 тыс. организованных рабочих и около 450 профессиональных союзов. Это значит, что на один союз в среднем приходится что-то около 440 человек, а число организованных даже по отношению к количеству только фабрично-заводского пролетариата весьма невелико, а в отношении общего числа японских рабочих в десять с лишним миллионов настолько мало, что об организованности японского пролетариата и говорить нельзя.

В рабочих организациях Японии с момента их возникновения (1919 год) борются анархо-синдикалистское и коммунистическое влияния. До недавнего времени анархо-синдикалисты были значительно сильнее, но влияние их с каждым годом падает, в то время, как коммунистическое влияние параллельно возрастает.

Можно определенно сказать, что политических партий рабочего класса в Японии почти еще не существует. Анархисты в партию не организованы, и работа их носит чисто-кружковой характер. Коммунистическая партия организовалась только в 1921 г., существует лишь нелегально и поэтому еще очень мала и слаба (в настоящий же момент почти вся рассажена по тюрьмам); реформистская, теперь социал-демократическая, партия, хотя и значительно старше (организована в 1902 году) и многочисленнее, но утратила почти всякое доверие и влияние на пролетарские массы.

Долгое время в Японии существовали только организованные полицейскою властью профессиональные союзы, и, хотя теперь, уже как указано, имеется истинно-пролетарское профессиональное движение, эти патриархальные полицейские профсоюзы все еще существуют.

Впрочем, рабочее движение — единственная почти область, где патриархальность нравов быстро и радикально исчезает; чрезвычайно тяжелые условия труда, нищенская заработная плата при 9 — 12-часовом рабочем дне, отсутствие на практике какой-либо нормировки условий труда, непризнание правительством права союзов и стачек и жестокая безработица, все это — в условиях почти беспрерывного после мировой войны промышленного и торгового кризиса и безудержного дорожания жизни — весьма озлобляет рабочих и в сильнейшей степени и чрезвычайно быстро революционизирует их.

Классовая борьба и в Японии все более обостряется и теряет свой патриархальный характер, что свое отражение находит и по другую

стороны баррикады: в лагере буржуазии возникают фашистские организации, целиком воспроизводящие свои европейские и американские прообразы. Сильнейшей из таких является организованная в 1919 году (т.-е. в то же время, когда возникли и первые профсоюзы) в общенациональном масштабе «Кокусуи-Кай» (в переводе: «Ассоциация избранных граждан»), существующая при молчаливом содействии министерства внутренних дел и деятельной финансовой поддержке крупнейших капиталистов. Официально целью этой организации является: «национальное благоденствие, основанное на классовом сотрудничестве», но фактически это — чисто фашистская организация для подавления рабочего и революционного движения. Члены Кокусуи-Кай постоянно носят при себе оружие и часто делают вооруженные нападения на рабочие собрания, особенно во время забастовок.

Впервые рабочее движение в Японии проявилось около 40 лет назад, в связи с общим либеральным движением в пользу введения конституции и парламентаризма. И первая забастовка в Японии (забастовка рикш в связи с постройкой первой конно-железной дороги) была в 1884 году. Но так как капитализм в Японии особенно быстро развивается с японско-китайской войны 1894 — 1895 г.г., то с этого же времени надо, собственно говоря, считать начало рабочего движения в Японии. Через два года после окончания этой войны в Японии разразился тяжелый экономический кризис, и первая забастовочная волна прокатилась по Японии тоже в 1897 году. В то же самое время началось организационное движение среди рабочих некоторых отраслей японской промышленности под руководством так называемого «Общества для подготовки организации профессиональных союзов». В 1899 году это общество имело уже свыше 5.000 членов, и был организован ряд отдельных профсоюзов. Состоявшаяся в 1901 г. в Токио массовая демонстрация рабочих «Братское собрание рабочих» уже привлекла около 30 тыс. человек (Тани — «Капитал и труд в Японии»).

Но немедленно же после японско-китайской войны командующие классы Японии стали готовиться к русско-японской и не только невероятно эксплоатировали труд японского пролетариата в интересах скорейшего развития капитализма, но и под предлогом подготовки к войне «для защиты национального достоинства», т.-е. спекулируя на патриотизме всего японского народа, в том числе и трудовых масс, — вели чрезвычайный нажим против рабочего движения и путем прямого насильственного подавления всякой рабочей самостоятельности и путем административного вмешательства в жизнь рабочих организаций по примеру нашего, скверной памяти, Зубатова.

Социалистическое движение в Японии стало развиваться приблизительно с того же времени, сначала, конечно, под руководством радикально настроенной интеллигенции. В 1902 году, как уже указывалось, организовалась японская социал-демократическая рабочая партия, которая сперва вела себя весьма революционно, но уже незадолго до самого начала русско-японской войны раскололась, так как часть ее решительно высказалась за войну.

Эта часть осталась оплотом реформизма и, отчасти, вышеотмеченной «зубатовщины».

Тем не менее, поход буржуазии против рабочего движения во всех проявлениях этого похода продолжался и в известном смысле продолжается до сих пор. В эту тяжелую эпоху целый ряд японских революционеров погиб на виселицах или в тюрьмах. Еще в 1911 году известен процесс японских социалистов, так называемое «дело Котоку», когда из 24 человек обвиняемых — 12 были повешены, а остальные получили пожизненное тюремное заключение и в большинстве своем умерли в тюрьме, при чем все дело было явно-дутое, и ничего обвиняемым не доказали и доказать не могли.

В общем и целом, японское рабочее движение в ранней стадии своего развития, как уже указано, находилось под влиянием анархо-синдикализма, лидерами которого тогда были известные вожди рабочего класса: Осуги, который так и остался до конца жизни анархистом и был вместе со всей своей семьей зверски убит фашистами в 1923 году, после землетрясения, и т.т. Ямакава и Арахата, которые впоследствии стали коммунистами и в настоящее время являются лидерами японской коммунистической партии.

Оживление японского рабочего движения началось с 1912 года, когда организовано было «братское общество», «Юайкай», которое под руководством реформистского вождя, Сузуки, и под влиянием примера американского рабочего движения, после ряда перипетий, стало ядром «Японской федерации труда» (Нихон Родо Содомэй).

Сузуки — японский Гомперс. Можно, конечно, сомневаться, как это делает тов. Виленский-Сибиряков, является ли руководимая им организация «зубатовской» по преимуществу, но по существу нельзя спорить, что она близка к правительству и никакой революционностью не отличается. Однако революционные сдвиги внутри японского рабочего движения не могут, конечно, не находить своего отражения и на реформистских организациях.

В 1920 году была организована «Японская Социалистическая Лига» (Нихон Шакайшуги Домей), которая вскоре должна была перейти на полулегальное существование, а в мае 1921 года была окончательно ликвидирована правительством.

В 1921 году, как указывалось выше, была организована японская коммунистическая партия, и влияние ее вскоре сказалось на всем рабочем движении в Японии. Неудачу, с точки зрения японских реформистов, созванной в сентябре 1922 года общенациональной конференции «Всеяпонской Всеобщей Федерации профсоюзов» следует отнести, главным образом, за счет коммунистического влияния. Борьба коммунистов против реформистов привела, в частности, к победе в профдвижении лозунга: «от качества к количеству» т.-е. к признанию необходимости об'единения в профсоюзах возможно большего числа рабочих, а не только их привилегированной верхушки, и точно так же к сознанию необходимости политической борьбы, что, конечно, отрицают реформисты (Г. Тани — «Капитал и труд в Японии»).

Дифференциация внутри японского рабочего движения гигантски развивается. Такие массовые организации, как Всеобщая Японская федерация

труда, даже в своей реформистской части, несмотря на бесспорную близость реформистских вождей к правительству и к буржуазии, — не могут утратить своей классовой сущности, и классовое чутье пролетарских и бедняцких крестьянских масс толкает их на революционный путь даже через головы их реформистских вождей. Полицейские организации рабочих переходят в чисто-фашистский лагерь по примеру той Кокусаи-Кай, о которой мы писали выше, и которая в настоящее время, помимо фашистской буржуазии, об'единяет лишь штрейкбрехеров.

Даже реформистская часть рабочих организаций по мере развития рабочего движения все левеет, а внутри единой организации выделяется сплоченное ядро левого крыла профессионального рабочего движения, руководимое японской коммунистической партией.

Особенно это сказалось при перипетиях проведения в жизнь командующими классами закона против коммунистов и анархистов.

Ультра-буржуазный кабинет Като внес в парламент этот исключительный закон, карающий даже попытку к революционной организации и устанавливающий 10-летнюю тюремную кару для всякого, «кто принимает участие в организации или вступает в ассоциации в целях уничтожения системы собственности или изменения формы государства», а за всякое «содействие» такой организации карает 5 годами тюремного заключения.

Тогда 40 рабочих организаций ответили вызовом правительству, заявив, что за свои права рабочие готовы бороться с оружием в руках до последней капли крови. Буржуазия не рискнула проводить этот закон, и верхняя палата провалила его. Но после некоторой подготовки и жестокой расправы с рабочими организациями,— Като опять внес этот законопроект, и в 1925 году провел его через парламент. Незачем и говорить, что этот закон не запугивает рабочих, но, наоборот, революционизирует их, что сказалось и на XIV с'езде Японской федерации труда, в марте 1925 года, когда с чрезвычайной резкостью разгорелась борьба между правым и левым крылом по вопросу о создании рабоче-крестьянской политической партии. Правые оставались на старой тред-юнионистской позиции, между тем как левые придерживались коммунистической платформы.

Начавшаяся на этой конференции решительная борьба продолжалась до мая 1925 года, когда центральный комитет Японской федерации труда, состоящий из правых реформистов, принял решение об исключении из федерации 27 профсоюзов.

Эти исключенные союзы созвали свою конференцию профсоюзов, на которой приняло участие всего 32 профсоюза. Конференция постановила создать Японский Совет Профсоюзов (Нихон Родокумиай Хиогикай) в противовес реформистской Японской федерации труда и высказалась в ряде чрезвычайно важных и интересных резолюций в пользу национального и международного единства профессионального рабочего движения и за борьбу до конца против реформизма и рабочей бюрократии. Этот новый центр япон-

ского рабочего движения привлекает также симпатии и сочувствие многих таких рабочих организаций, которые до сего времени не входили в Федерацию труда (Г. Тани — «Капитал и труд в Японии»).

Таким образом в настоящее время японское профессиональное движение оказывается и организационно расколотым на правое и левое крыло, при чем последнее является уже определенно революционным. Это, конечно, не ослабляет, а усиливает рабочее движение, так как вносит революционную ясность в запутанное реформистами положение.

С другой стороны, и само рабочее движение в Японии решительно революционизируется, что свое отражение находит также в увеличении серьезности забастовок.

До недавнего еще времени забастовки в Японии носили совершенно стихийный и малосознательный характер и, как это часто бывает при подобных забастовках, сопровождались порчей рабочими машин и даже поджогами заводов. Теперь забастовки носят организованный характер и всегда почти являются выражением конфликтов между рабочей организацией и капиталистами. В период нынешнего тяжелого кризиса в промышленности и торговле Японии и при ужасной безработице, рабочие организации вынуждены сплошь да рядом сдерживать стихийное недовольство и злобу масс, однако это придает всему движению максимально организованный характер, а также способствует скорейшему изжитию той «простоты нравов», патриархальности и расовой солидарности, которые отчасти все еще сохраняются во взаимоотношениях между трудом и капиталом в Японии и о которых мы говорили выше, в то же время, однако, отмечая и там, что как раз в этой области современной японской жизни быстрее всего изживаются и уничтожаются эти пережитки седой старины.

Их уничтожению в сильнейшей мере способствует также та жестокость, которую в этой борьбе проявляют японские капиталисты и управляемое ими правительство и его органы. Жесточайшая расправа с социалистами и, особенно, с коммунистами началась в Японии еще до землетрясения 1923 года. После землетрясения разнузданная черная свора обрушилась на революционеров с еще большей силой; как мы уже указывали, в это именно время зверски был замучен со своей семьей анархист Осуги. Тогда же в предместьях Токио теми же фашистами были расстреляны 10 революционеров; в тот же период правительство засадило в тюрьмы почти всю японскую коммунистическую партию, а в 1924 году была казнена молодая японская террористка Намба Дайсукэ, в 1923 году после этого разгула реакции покушавшейся на жизнь принца-регента. Белый террор и сейчас продолжает свирепствовать в многострадальной Японии.

Неудовлетворенное проведением исключительного закона против коммунистов, правительство готовит теперь новый законопроект «об опасных мыслях», по которому даже м ы с л и о свержении существующего строя должны жестоко караться, и лелеет мечту о «государственной мобилизации труда» или «милитаризации промышленности», что должно дать возможность капиталистам окончательно поработить индустриальных рабочих.

Но, несмотря на все эти репрессии, командующие классы Японии весьма обеспокоены как фактом все растущей революционной организованности рабочих, так и фактом опять-таки все растущей безработицы. В настоящее время в Японии и по официальным правительственным сообщениям — не менее 2 миллионов безработных. А такая цифра в свое время заставляла страшно нервничать даже английскую буржуазию, насколько же должна пугать теперь японскую?..

Из всего изложенного с несомненностью явствует, что если на вопрос: «революционна ли японская буржуазия?» мы должны были ответить категорическим отрицанием, то на вопрос: «революционны ли японские пролетариат и крестьянство?», мы должны с не меньшей же категоричностью ответить утвердительно.

Однако это нисколько не подтверждает предположения о близости японской буржуазной революции. Наоборот, это еще более подчеркивает обратное, т.-е. что буржуазная революция в Японии невозможна. Из страха перед грядущей рабоче-крестьянской революцией японская буржуазия никогда не пойдет в бой против нисколько не мешающих ей абсолютизма и пережитков феодализма, а японские революционные пролетариат и крестьянство никогда не станут со своей буржуазией по одну сторону баррикады. Япония со своей своеобразной смесью концентрированного капитализма и пережитков бюрократического феодализма и абсолютизма должна будет непосредственно попасть в самую гущу пролетарской революции, а рабоче-крестьянские революционные кадры Японии, минуя обычный этап борьбы за торжество собственной буржуазии, сразу ринутся в бой во имя создания своей рабоче-крестьянской власти.

Это фактическое положение приближает японскую пролетарскую революцию к мировой и теснейшими узами связывает обеих. Революционный рабоче-крестьянский фронт в Японии становится крайним восточным флангом международного революционного рабоче-крестьянского фронта. В этой именно борьбе исчезает радикально специфически-японское своеобразие, оригинальное переплетение заимствованного нового с пережитками старого, и только тут именно и перспективы и прогнозы, предсказания будущего развития, совершенно идентичны с тем, что дано и для других капиталистических стран. Ибо в стране Восходящего Солнца на крайнем Востоке восходит Солнце Запада.

Ленин в эпосе народов Востока.

Леонид Соловьев.

ВВЕДЕНИЕ.

Приведенные ниже сказы и песни народов Средней Азии я собрал во время своих скитаний по Ферганским кишлакам и аулам и Таджикстану в период ноябрь 1924 года — август 1925 года.

Не услышав мнения декхан о Ленине, трудно себе представить, в какую громадную и величественную фигуру вырос Ленин в сознании кишлака.

Мы, привыкшие считать кишлак и аул темным и забитым, не представляем себе, что он понял лицо Ленина и вполне сознает суть его дела. Кишлак вырос неузнаваемо и растет не по дням, а по часам, и лучшей иллюстрацией этого безудержного роста политического сознания кишлака могут служить сказы и песни, сложенные кишлаком о вожде революции — Ленине.

Ленин-освободитель.

(Узбекское сказание).

Как грузный медведь разрушает муравейник
И языком слизывает тысячи муравьев,
Так войны разрушали мир
И уносили тысячи жизней.
Войны устраивали князья и баи,
Чтобы больше захватить денег,
И заставляли крестьян, подчиненных им,
Итти на убийство и смерть.
Когда преисполнилась чаша терпения неба,
Когда кровью насквозь пропиталась одежда Аллаха,
Когда от дыма пожаров и смрада гниющих трупов
Нечем стало дышать на небе —
Аллах собрал всех слуг своих
И спросил:
— Кто сделает счастливой землю?
— Кто из вас пойдет в эту бездну горя и крови
— И прекратит убийства и грабежи?
Стал Аллах выбирать сильнейшего и умнейшего,
Кто бы в силах был пойти на землю

И сделать землю счастливой.
Он положил большой камень, весом в шестьдесят пудов,
И сказал:
— Того пошлю на землю,
— Кто перевернет этот камень...
Потом он задал три загадки:
— Кто сильнее всех в этом мире?
— Кто счастливее всех в этом мире?
— Кто слабее и несчастнее всех в этом мире?
Многие пробовали перевернуть камень,
Но не могли даже пошевельнуть его.
Многие оттадывали загадки,
Но ответы их были льстивы или неумны.
Говорили, что Аллах сильнее и счастливее всех,
Что несчастнее и слабее всех шайтан.
Но глухо к лести было сердце Аллаха,
И тень печали ложилась на глаза его.
Говорили, что умерший Али [1]) был сильнее всех,
Что богачи счастливее всех,
Что тащишки слабее всех.
Но не мог достойного найти среди своих слуг Аллах.
И одел Аллах халат дервиша [2]).
И сошел на землю окровавленную и измученную,
И стал искать освободителя среди людей.
Первым увидел он человека,
Перебрасывавшего кули с зерном, как мячики,
И подошел к нему и сказал:
— Идем со мной, человек.
Привел его Аллах к камню
И сказал:
— Попробуй. Переверни.
Человек взял за край камня,
Поставил его на ребро и вдруг упал мертвым от натуги.
Дальше пошел Аллах, и много людей он пробовал,
Так много, что на камне
Осталось пять углублений от пальцев рук,
Пробовавших поднять камень.
Но не находил подходящего Аллах.
И когда он в горести и печали
Задумался, где искать ему избранника,
Увидел он человека с высоким лбом.
И сказал себе:
— Попытаю этого.

[1]) Древний легендарный богатырь.
[2]) Нищенствующий монах-странник.

Он повел человека к камню и сказал:
— Попробуй. Переверни.
Когда снял человек рубашку,
Заплакал Аллах: у человека руки были тонкие,
И не его рукам было перевернуть камень...
Но человек и не взялся за камень.
Он пошел, принес два бревна
И одно подсунул под камень,
А другое положил под первое.
И, нажав на другой конец,
Камень перевернул легко и без усилия.
И когда камень был перевернут,
Из-под камня потекла кровь.
Аллах увидел, что там лежит
Раздавленный ок-илен [1]),
Который держал камень с силой ста пудов
И не давал перевернуть его предшествующим.
Ибо нет человека, могущего поднять
Шестьдесят пудов веса камня и сто пудов силы ок-илена.
И изумился Аллах уму своего избранника,
Который, не обладая силой, перевернул 160 пудов.
И задал он ему три загадки
И получил ответы, достойные великого мудреца:
— Самый сильный — самый умный, кто пользуется любовью мира.
— Самый счастливый — самый честный, и кто дал счастие многим.
— Самый несчастный — тот, кого не любит никто.
Увидел Аллах, что велик по уму человек,
Что в его руках не пропадет дело освобождения,
Взял он его в свои чертоги и там держал около 50 дней и 50 ночей,
Передал ему часть своей мудрости
И послал его на землю.
Избранника звали Ленин.
Ленин пошел на землю в блеске своей мудрости
И сразу прекратил кровопролитие
И сделал людей счастливыми.
Потом он ушел отдыхать в чертоги Аллаха,
Оставив землю освобожденной и счастливой,
И имя его будет жить, пока живет слово «счастье».

Записано в кишлаке Махрам, Ферганской обл., со слов Махмуда Заиджанова.

---

[1]) Стрела-змея, очень ядовитая.

Ленин и Кучук-Адам.

(Таджикское сказание).

Недавно было это. Еще живы все люди, которые помнят тяжелые дни. Земля окуталась в плащ невзгод и горя. Стонали люди под ярмом богачей, лили слезы и жаловались степи, солнцу и звездам на земной произвол.

Тогда на земле появился Ленин, и сказали степи солнцу и звездам:

— Вот он, чья рука создаст новый мир.

Ленин не делал и не говорил ничего, но богачи знали, что должен притти на землю огненный мститель, и ледяными от ужаса стали сердца их, когда услышали они о Ленине.

Собрали они совет и подлыми языками лили яд в уши друг другу и шептали:

— Надо убить Ленина.

Был на земле злой колдун Кучук-Адам. Сердце его давно поросло отвратительной коростой злобы и бесчестья.

Позвали его на совет богачи и сказали:

— Кучук-Адам! Ты помогал нам властвовать, и мы награждали тебя. Ты помогал нам убивать и грабить, и мы награждали тебя. Помоги нам уничтожить Ленина, и мы выстроим тебе золотой дворец, осыпем его алмазами и поселим в нем сорок четыре девушки, равных которым по красоте не видела земля и которых ты возьмешь себе в жены.

Кучук-Адам ответил:

— Дайте мне сто таких дворцов, четыре тысячи четыреста жен, дайте мне десять тысяч рабов, наполните мои подвалы алмазами, наполните стадами мои земли, дайте мне сто тысяч танапов виноградников, и я убью Ленина.

Богачи дали Кучук-Адаму все это и прибавили каждый от себя по перстню и один перстень, подаренный Кучук-Адаму Кара-Адамом [1]), имел силу делать его носителя невидимым.

Вышел Кучук-Адам с совещания и пошел домой. Дома раскрыл он черные книги, жег волшебные травы, а после убил ребенка и, смешав его кровь с пеплом от трав, прочитал слова из черной книги и стал смотреть в кровь.

И кровь показала ему горы, долины, ущелья и пещеры, и там Ленина, который легкой поступью ходил и искал кизыл-таш и ок-таш [2]). Кизыл-таш нужен был ему для борьбы, а ок-таш — для счастья.

Затрепетало сердце Кучук-Адама, испугался он, что найдет Ленин камни и будет непобедим.

Приказал Кучук-Адам подать ему коня, быстрого, как вихрь, подать ему меч и пояс богатыря Али, запер он дверь в черную комнату пятью замками и помчался в горы.

---

[1]) Черный человек

[2]) Красный камень и белый камень.

А Ленин ходил по горам, ущельям и пещерам и увидел в одном ущелье, на дне ручья, кизыл-таш и ок-таш.

И когда хотел Ленин достать их, на него напал невидимый Кучук-Адам и схватил Ленина поперек тела и бросил его на камни.

Но отшвырнул ногой Ленин Кучук-Адама, и завязалась между ними борьба.

Гремел гром. Горы кидали камнями направо и налево, надеясь хоть случайно задеть Кучук-Адама. Молнии сыпались дождем, но Кучук-Адам спрятался за спину Ленина и был неуязвим.

Изнемогал уже Ленин в тяжелой, неравной борьбе, и пот крупными каплями капал с его лба.

И одна капля случайно упала на руку Кучук-Адама и прожгла руку насквозь. Взмахнул от боли рукой Кучук-Адам, и кольцо слетело с его руки, и стал он видимым.

Обратили на него ярость свою горы и тучи, били его камнями, жгли молниями, и пал Кучук-Адам, погребенный под скалами.

Снял с Кучук-Адама Ленин пояс богатыря Али, достал кизыл-таш и ок-таш и пошел по горам освобождать землю.

Горы давали тень ему от зноя, и солнце умерило пыл свой и не накаляло камней, чтобы не жгли они ноги Ленина. Когда он хотел пить — небо проливало дождь, когда он хотел есть — барсуки приносили ему пищу и джейраны [1]) давали ему свое молоко.

Так шел он пять дней и остановился поспать в одном ущелье.

Когда он заснул, очнулся Кучук-Адам, лежавший у ручья и, собрав стаю демонов, обманул бдительность гор и пошел убивать Ленина.

Горы не заметили его. Он пронесся над горами. Небо спало и не заметило его. Но заметил его маленький воробей. Он напряг всю силу своих слабых крыльев и полетел к Ленину быстрее ветра, предупредить его об опасности.

Он прилетел раньше Кучук Адама, предупредил Ленина и упал мертвым.

Ленин разбудил горы, натер меч свой поясом Али и стал его меч тяжелым и огненным, а когда налетела на него черная стая, то горы сдвинулись и образовали крышу, и некуда было бежать демонам, а огненный меч разил их и жег.

Пали все демоны в этом ущельи, а Кучук-Адам, превратившись в червяка, прополз в щель между гор и убежал от гнева Ленина.

Когда утром взошло солнце и растопило мрак в ущелье, нашел Ленин среди трупов демонов труп маленького воробья, зарыл его в землю и, поцеловав могилу, сказал горам:

— Воздвигните над телом его гробницу великую и великолепную, ибо мало было тело его, но велик дух, и жизнь свою он отдал за общее счастье.

---

[1]) Антилопа.

Сдвинулись горы над могилой воробья, и ушла гробница, равной которой не было ни у кого, вершиной за облака и рассказала тучам о смерти воробья.

Тучи, собравшись около вершины, слушали и плакали, что умер в маленьком теле великий и сильный дух.

Дальше пошел Ленин, а Кучук-Адам, забежав вперед, перегородил дорогу ему саем [1]).

Отравил он воду в сае и думал:

«Коснется Ленин воды и умрет, пораженный ядом».

Но Ленин подошел к саю и бросил в воду палку. Палка сгорела, сожженная ядом, а Ленин крикнул орлов, и перенесли они его через сай.

Кучук-Адам, увидевши неудачу, побежал вперед и, дождавшись, когда Ленин лег спать под горой, забрался наверх и хотел сверху сбросить трехпудовый камень на голову Ленина. Но камень спустился вниз тихо и лег около головы Ленина, стал мягким, как пух, и положил Ленин камень под голову вместо подушки.

В ярости стонал и грыз камни проклятый, огненный Кучук-Адам и бросал богохульства в небо, но небо отвечало ему презрительным молчанием.

Пролил от злобы слезы Кучук-Адам, и слезы те, падая на каменные скалы, прожигали камень насквозь.

* * *

Вышел из гор Ленин в степи, и мягки были степи под ногами его.

Ядовитые змеи, ящерицы и лягушки уползали с дороги, дабы видом своим не осквернять глаза Ленина, а сами тайком из травы смотрели на него и плакали, что никого не оставил без ласки Ленин, кроме них.

Ленин услышал этот плач и позвал к себе змей, ящериц и лягушек и всех прочих гадов, и всех обласкал он, не оставив никого не замеченным.

В счастьи расползлись по норам гады земли и говорили:

— Вот первый человек, который, видя нас, не хватает камня, а гладит нас и говорит нам ласковые слова.

А Кучук-Адам нашел в горах кара-таш [2]), обладавший силой убивать все, чего он коснется. Кучук-Адама он не убил, потому что Кучук-Адам был волшебник.

Погнался за Лениным Кучук-Адам и думал в гнусной радости:

«Догоню я Ленина, брошу в него кара-ташем, и умрет Ленин».

Когда бежал Кучук-Адам степью, то змеи сплелись и загородили ему дорогу. Споткнулся о них Кучук-Адам, упал и выронил черный камень.

И когда он хотел взять его снова, подпрыгнула лягушка к кара-ташу и проглотила его, и прыгнула в воду, и умерла в воде. Ужи закопали ее в ил, а около воды лег ок-илен.

---

[1]) Горный поток или овраг, лощина, по дну которой течет этот поток.

[2]) Кара-таш — черный камень.

И не решался подойти к воде Кучук-Адам, ибо нет лекарства от укуса ок-илена.

В ярости вырвал себе бороду Кучук-Адам и бросился на ок-илена с камнем, но встал ок-илен, посмотрел зеленым взглядом на Кучук-Адама, и холоден был взгляд ок-илена и спокоен, ибо уверенной была змея в своей силе.

Испугался взгляда змеи Кучук-Адам, заледенело ужасом и жутью его сердце, и, завыв от страха, трусливо убежал он от воды.

А Ленин вернулся, извещенный ласточкой о случившемся, и, перешагнув через ок-илена, приказал ужам принести ему труп лягушки.

Закопал он труп в землю и сказал степи, небу и гадам:

— В этом гнусном теле жили великая смелость и большая душа. Плачьте над ней. Она жизнь отдала за общее счастье.

И плакали степи, и плакало небо дождем над маленьким, скользким трупом, и вопили змеи и прочие гады плачем великим и скорбным.

* * *

И дальше, легкой стопой, не мнущей травы, пошел Ленин, проливая слезы о воробье и о лягушке. Его большая душа умела скорбить о маленьких.

Прошел Ленин степь и прошел в леса.

Колючие деревья отстраняли ветки с пути его, чтобы не оцарапать светлого лица. По ночам путь ему освещали «ут-чуальчаки» [1]), и если он спал, деревья стелили ему постель из своих веток.

Но впереди ждала Ленина смерть. Выкопал на пути его яму Кучук-Адам и заложил ее ветками и землей так искусно, что ничего не было заметно. А внутри ямы повтыкал он острые колья и думал, что пойдет Ленин, упадет в яму, и порвут колья его тело.

Но втянула земля в себя торчащие колья и сделалась мягкой, как пух, потому что не хотела больше земля лить слезы рабов и голодных, которых шел освобождать Ленин. И когда упал Ленин в яму, он не ушиб даже пальца.

Деревья наклонили ветки в яму и сплели из веток лестницу, и выбрался Ленин из ямы целым и невредимым.

Прошел Ленин горы, степи, леса и вышел в болота.

Кучук-Адам с тучей демонов летал по болоту, жег лживые огни и манил Ленина в трясину, но перед Лениным летел кулик и указывал Ленину правильный путь. Тверды были болота под ногами Ленина и только трава-тирмуз [2]) цеплялась и царапала его ноги и мешала ему итти. И проклял Ленин тирмуз, и стал с той поры тирмуз горьким, как полынь.

Вышел Ленин из болот израненным тирмузом и вступил в большие каменные города, где проходит по крышам «тимур-юл» [3]) и летают в небе машины.

[1]) Огненный червячек-светлячек

[2]) Один из видов полыни.

[3]) Железная дорога.

И направил путь свой Ленин в самый большой город, стоящий на берегу моря, на севере [1]).

Пока шел он городами, уши его слышали плач, глаза его видели кровь и слезы. И великим гневом, ненавистью и жалостью наполнилось сердце Ленина.

Следом за Лениным пришел в город Кучук-Адам и думал опередить Ленина и, раньше его попав в город на севере, посадить в тюрьмы всех угнетенных; знал Кучук-Адам, что достаточно сказать Ленину рабам одно слово, они пойдут за Лениным, и Ленин будет победителем.

Сел Кучук-Адам на машину-птицу и полетел на север. Но напали на машину орлы, исклевали ей крылья и не мог дальше лететь Кучук-Адам.

А Ленин сел на орлов и перелетел в этот город.

Там он взял себе помощника, ушел за город и жил в шалаше, постясь, укрепляя дух свой к грядущей борьбе и передавая мудрость свою помощнику.

А орлы, принесшие Ленина, каждый день летали смотреть далекого от города Кучук-Адама, идущего пешком.

И однажды сказали они Ленину:

— Завтра придет Кучук-Адам.

Тогда Ленин с помощником пошел в город и там поднял лежащих в пыли и зажег пламя газавата.

И когда на следующий день прибыл Кучук-Адам, то увидел он город в дыму пожаров и в облаке крови.

А на главной площади увидел он Ленина, говорящего народу о правде. И еще увидел Кучук-Адам трупы богачей-притеснителей. Они лежали без покрывал, и собаки лизали их кровь. Застыло сердце Кучук-Адама, об'ятое холодным ужасом, и убежал он от гневного пламенного города.

А Ленин кзыл-ташем победил врагов и ак-ташем начал строить новую жизнь.

Но велика была злоба в сердце Кучук-Адама и, превратившись в женщину, он решил еще раз попытаться убить Ленина.

Однажды пошел Ленин к освобожденным говорить им слова правды, и когда выходил он с собрания, прямо в сердце пустил ему две стрелы, напитанные ядом, Кучук-Адам, превратившийся в женщину.

Но не умер Ленин. Приполз к нему «ак-чуальчак» [2]), раз в сто лет выползающий, и пустил своей смолы в раны Ленина.

Ленин выздоровел, а женщину — Кучук-Адама — совет освобожденных приговорил к смерти.

Но не испугался Кучук-Адам. Он знал, что ничто не может убить его, кроме яда ок-илена. И думал он: притворюсь я мертвым, а после незаметно убью Ленина.

Но приполз в совет ок-илен и своим ядом напитал стрелы. Поразили прямо в сердце Кучук-Адама, и от его тела распространился смрадный дым.

---

[1]) Ленинград.

[2]) Белый червяк.

Шли года. Ленин строил новую жизнь. Не было слышно на земле стонов. Не было видно слез и крови. И говорили степи солнцу и звездам:

— Вот Ленин освободил землю.

А Ленин, с помощью ак-таша, без устали строил и строил. И был он в строительстве так же искусен и могуч, как в борьбе.

Когда почувствовал Ленин приближение смертного часа, он пошел в степь и зарыл в землю кзыл-таш, чтобы не попал он богачам и не воспользовались они им для порабощения бедных.

Потом он заперся в комнате и написал большую книгу, которая начиналась золотыми словами:

— Не жалейте жизни своей для счастья народа, как не жалел ее я.

И относительно всех народов написал в книге Ленин.

Относительно узбеков, таджиков, туркмен и киргиз отдельно. Много написал Ленин и завещал дать им свободу.

Потом умер Ленин, и мы оплакивали его, и горы, по которым ступал он, лили слезы о нем, и вздыхало небо о нем громами.

И все живое рыдало о нем, и плакали змеи, ящерицы и лягушки плачем великим и скорбным, о человеке, который один из всех приласкал их, и о них написал в своей книге:

— Не трогай гадов земных, и они не тронут вас. И они живут и хотят счастья.

Умер Ленин. И помощники его схоронили его тело, чтобы всякий бедняк мог притти и увидеть своего освободителя.

И исполнили они его заветы, и стала земля счастливой.

А имя его записал народ, и пройдет мой рассказ ступени тысячелетий, и узнают правнуки моих правнуков о Ленине.

И будут славить они его имя. А Кучук-Адаму, грязному душой своей, как дикий кабан, не устанут они слать проклятия.

Я кончил. Слава богу всемилостивому и всемогущему, давшему силу бедному языку рассказать о великом огненном мстителе, освободившем и осчастливившем землю.

Слава Ленину, великому и могучему.

* * *

Будут преклоняться наши потомки перед потомками Ленина. А потомков Кучук-Адама будет презирать земля до пятидесятого колена, и на улицах камнями будут побивать народ их, и плевать будут люди им в лицо.

Не видела земля такого злодея, как Кучук-Адам, дерзнувшего поднять руку на свет мира — Ленина.

* * *

Песнь свою я передал детям моим, они передадут ее своим детям и не устанет род мой славить имя Ленина.

И в этом найдут счастье мои потомки.

Слава богу всемилостивому и всемогущему.

Слава свету мира — Ленину. Позор и проклятье грязи и скверне земли — Кучук-Адаму.

Записано в Канибадаме, в красной чайхане, в мае 1925 г., со слов слепого старика маддаха (рассказчика, бродячего певца; фамилии старик не имеет).

Искандер и Ленин.

(Киргизский сказ).

Далеко, далеко, в неведомых краях, за золотым закатом, за степями, за горами — там, куда никто никогда не ходил, на Иссык-Тау [1]), жил праведник Худой-Бола [2]). Вел он свой род от самого Магомета. Ушел он в пустыню, чтобы не видели глаза его горя и слез на земле.

А на земле тогда шайтан взял большую власть, и его ставленники властвовали и душили людей.

И Худой-Бола, запершись в своей пещере, плакал о земном горе, и его плач был безутешен и не прекращался 150 лет.

Он плакал, что нет среди людей человека со смелой и сильной душой, который прогнал бы с земли шайтана, и что сам он стар и не может вести борьбу.

Худой-Бола имел кольцо, подаренное Магомету богом, и в этом кольце была сила, против которой не мог бы устоять шайтан.

Худой-Бола плакал, что некому из людей передать кольцо для борьбы.

И после того, как проплакал праведник сто пятьдесят лет, родились на земле у простой женщины два сына: Искандер и Ленин.

Искандер дожил до 18 лет, а в 18 лет рассказала ему мудрая мать о Худой-Боле и о кольце Магомета.

И решил Искандер освободить землю от шайтана. Он пошел на Иссык-Тау, где жил праведник, чтобы взять кольцо у него.

Он шел очень долго. Много раз всходило и заходило солнце. Много раз рождалась и умирала луна, прежде чем подошел Искандер к подножью Иссык-Тау.

Услышал он плач громкий и безутешный. Пошел по направлению плача и нашел пещеру Худой-Болы.

Он долго стучался в двери, но не отпирал праведник, потому что он отвратил лицо свое от людей, трусливых и жалких, лежащих, как черви, под пятой шайтана и не решающихся попробовать освободиться.

И до тех пор, пока Искандер не крикнул ему, зачем он пришел, не открыл ему двери праведник. А когда крикнул Искандер, то крик его услышали и праведник, и сорока, летевшая мимо.

---

[1]) Горячие горы.

[2]) Худой — бог, бола — дитя. Худой-Бола — божье дитя.

Полетела сорока дальше и везде кричала, что скоро придет Искандер и освободит людей от шайтана.

Шайтан, услышав об этом, велел сделать засаду, и когда Искандер возвращался обратно с кольцом, то напали на него шайтановы слуги, отняли у него кольцо, а самого Искандера они удавили веревкой и глумились над его трупом.

Кольцо они заперли на 50 замков в пещере, на Кара-Тау [1]).

Заплакал пуще прежнего Худой-Бола, узнав о случившемся. В гневе проклял он сороку и лил слезы, думая, что никогда больше не освободится земля от шайтана.

И без погребения оставили слуги шайтана тело Искандера, и ветер и вороны не оставили костей его.

Через 10 лет вырос брат Искандера — Ленин. Мать рассказала ему о шайтане, о Худой-Боле, о Искандере и о кольце. Воспылал Ленин гневом против шайтана и жалостью к попранным шайтаном.

Пошел Ленин к Худой-Боле, на Иссык-Тау. Худой-Бола дал ему кольцо, а чтобы не поймали Ленина слуги шайтана, сам провел по другой дороге.

Пришел Ленин и стал с помощью кольца бить шайтана и в один год свергнул его власть. Рабы утерли свои слезы и с удивлением смотрели на Ленина, которого не мог победить шайтан.

Когда Ленин сверг шайтана, он по белой лестнице ушел наверх, покинув на земле свое тело.

Записано в киргизском кочевье, в мае 1925 г., в Канибадамском районе, со слов Ахун Алиева.

Ленин.

(Узбекский сказ).

Было время. Счастливо жили люди...
Было время....
Жили все, не спрашивали друг у друга:
— А почему нам хорошо жить?
И думали, что так положено Аллахом.
Был тогда на земле один человек. Звали его Катта-Баш [2]).
Был он человек — мудрый и ученый.
До того ученый, что знал наизусть весь коран, весь закон.
И за такую ученость его чуть-чуть побаивался даже сам Аллах.
Закон так велик, что сам Аллах нетвердо знает его
И повторяет два раза в неделю.
А Катта-Баш знал.
Однажды мудрый Катта-Баш спал.
Когда он проснулся, то увидел около себя палочку и записочку.

---

[1]) Черная гора.

[2]) Катта — большой, великий. Баш — голова.

Он стал читать и узнал
Прекрасный почерк Иссы — Аллахова писаря.
— Тебе передаю палочку,
— В ней — счастье людей.
— Береги ее, Катта-Баш, от сатаны.
— Люди пропали, если эта палочка попадет в руки сатане.
Катта-Баш думал, и, пока он подумал, шайтан увидел палочку и украл ее.
И понес в горы.
Катта-Баш закричал.
Но Аллах спал, и когда он проснулся,
То палочка была уже в горах,
И два громадных шайтана заваливали ее каменными глыбами.
И в этот миг на земле Каин убил Авеля.
В этот миг — хотя этот миг был мигом только для бессмертного
Катта-Баша, Аллаха и шайтана,
А для остальных этот миг был тысячелетним, —
В этот миг один из других людей сказал:
— Я сильнее вас всех.
И стал царем.
В этот миг погнал таксырь [1]) тащишку за 10-пудовым мешком.
Миг был тысячелетним.
Полилась кровь.
Ужаснулся Аллах. Было поздно.
Шайтаны спрятали палочку.
Плакал Аллах, и слезы лились из его глаз сорок дней и сорок ночей.
Этот плач Аллаха зовут люди потопом.
Так погибло счастье людей.

За этим мигом, настал второй миг.
И страшен был второй миг.
Длился он 2.000 лет для нас.
Прошел по земле Тамерлан.
Сжег... Убил...
И много прошло по лицу земли кровавых людей.
И много крови росой поднялось кверху и осело на белые одежды Аллаха.
Опомнился Аллах.

Настал третий миг.
— Иди искать, — сказал Аллах Катта-Башу.
Катта-Баш сказал:
— Я умру. А искать пошлю моего ученика.
Катта-Баш умер.

1) Господин.

Его ученик пошел искать счастье.
И звали ученика — ЛЕНИН.
И настал конец мгновенья.
Ленин свергнул насильников... исчез.
Вы думаете, он умер?
Нет... Он помнит завет Катта-Баша:
Он ищет в горах людское счастье.
Когда трясется земля, вы говорите — землетрясенье.
Нет. Это Ленин раскидывает каменные глыбы,
Ищет счастье и правду,
И когда он найдет их, настанет четвертый миг счастья.

Записано в Старом Маргелане.

Огненный Ленин.

(Из песен о Ленине).

Подняв голову выше звезд,
Ленин сразу увидел весь мир
И умел сразу руководить всем миром.
Его ум был велик и необ'ятен.
В этом уме находили место и жалобы декхана [1]),
И руководство войной.
Ленин правил недолго, и его правление было подобно костру,
Дающему одним свет и тепло,
А другим — пламя, огонь.
И в этом костре сгорела его жизнь,
Которую сам он сжег на огне любви.
На великом пламени любви к людям,
Сжег Ленин свою драгоценную жизнь.
И нет слов у людей,
Чтобы выразить свои чувства к нему.
Он забыл себя, охваченный любовью,
И из всего своего тела он любил только голову,
Потому что голова давала ему пути
Любить и делать счастливыми...

Не забудем мы имя «Ленин».

Тополь только тогда может вознести вершину свою выше гор,
Когда корням его будет достаточно влаги.
Бархан только тогда может наполнить собой море,
Когда он будет величиною со все горы Памира.
Один человек только тогда может заставить говорить о себе мир,
Когда он совершит или неслыханное злодейство,
Или окажет доброе дело для всего мира.

[1]) Земледелец, крестьянин.

От многих злодейств содрогалась земля,
И о многих, поэтому, говорил мир.
Добрые же дела творили немногие, —
Самое большое доброе дело сотворил Ленин —
Освободитель земной, сосуд добродетелей.
Пусть сравняются с землей вершины Памира,
Пусть океан зальет это место,
Пусть на этом месте вырастут новые горы,
Величиной превосходящие первые в десять раз.
За это время железной стопой пройдут века по земле,
И люди забудут названия стран, где жили раньше их предки,
Люди забудут язык предков,
Но имя Ленина не забудут они.

Записано в кишлаке Ак-Мечеть, Ферганской обл., в феврале 1925 г.

О чем поют хафизы.

Мы, таджики, поем о том, что видим и что внушает нам мысль о пении...
Если мы видим красивую лошадь, мы поем о ней песню.
Эту песню будут знать только певшие ее, а остальные никогда этой песни не узнают.
И это произойдет потому, что лошадей, достойных песен, очень много и каждый будет петь про ту, которую видел он.
Но есть у нас песни, которые слагаются сладкозвучными хафизами [1]).
И эти песни предназначены для путешествия по рубежам годов и, иногда, веков.
Такие песни, прошедшие три века, слагал Фиркат, а позднее Нахани.
Они пели о красавицах и о цветах.
Сейчас есть много хафизов, немногим уступающих Фиркату и Нахани.
Но поют хафизы не о красавицах и не о цветах.
Они поют о новой свободе.
Они поют об аэроплане.
Они поют о благоденственной будущей жизни.
Но больше всего они слагают песен о Ленине.
И это они делают потому, что без Ленина не родилось бы никаких песен,
Кроме тех, которые похожи на визг собак, т.-е. таких, которые восхваляли царя Николая
И его генералов, полковников и солдат.
Ленин дал хафизам право петь о чем угодно.
И они сразу все запели о нем.

Записано в кишлаке Хата, Ферганской обл., со слов маддаха Кушкарбая, в сентябре 1925 г.

---

1) Певцами.

Эпиграммы.

В. Маяковский.

Он всем кричит, на всех углах:
«Я — гений, а другие прах!»
Но муза — женщина в летах:
Не проведешь — и мнит иначе:
Ну, много ль этот парень значит,
Когда лишь облако в штанах
Давненько у него маячит!

А. Безыменский.

Да! Кто о чем, а светик сей
Поет о шапке, о своей.
Хоть он в поэзии хитрей,
Чем дипломаты наших дней, —
Но здесь не пахнет вероломством:
Ведь он и вправду связан с ней
Лишь только шапочным знакомством.

И. Уткин.

Не отличишь от правды утки —
Талант иль нет? Но ясно: Уткин.

В. Львов-Рогачевский.

Что наши критики? Готов,
Припомня прежних Скабичевских,
Сказать и вновь без громких слов:
Как мало настоящих львов,
Как много львов, но... рогачевских!

Василий Казин.

В. Казин.

У Казина не дура губа
И сам он тоже не дурак:
Хотел он сделать лисью шубу,
А вышел только дамский сак.

С. Клычков.

———

Ответ.

Лишь одно скажу на память:
Ну, тебе ли эпиграммить, —
Если ты, мой друг Клычков,
Волей крепких кулачков
Без зубков и без клычков?

Василий Казин.

Как делать стихи [1]).

Вл. Маяковский.

Я должен писать на эту тему.

На различных литературных диспутах, в разговоре с молодыми работниками различных производственных словесных ассоциаций (рап, тап, пап и др.), в расправе с критиками — мне часто приходилось если не разбить, то хотя бы дискредитировать старую поэтику. Саму ни в чем не повинную старую поэзию, конечно, трогали мало. Ей попадало, если только ретивые защитники старья прятались от нового искусства за памятниковые зады.

Наоборот — снимая, громя и ворочая памятниками, мы показывали читателям великих с совершенно неизвестной, неизученной стороны.

Детей (молодые литературные школы также) всегда интересует, что внутри картонной лошади. После работы формалистов ясны внутренности бумажных коней и слонов. Если лошади при этом немного попортились — простите! С поэзией прошлого ругаться не приходится — это наш учебный материал.

Наша постоянная и главная ненависть обрушивается на романсово-критическую обывательщину. На тех, кто все величие старой поэзии видит в том, что и они любили как Онегин Татьяну (созвучие душе!) в том, что и им поэты понятны (выучились в гимназии!), что ямбы ласкают и ихнее ухо. Нам ненавистна эта нетрудная свистопляска потому, что она создает вокруг трудного и важного поэтического дела атмосферу полового содрогания и замирания, веры в то, что только вечную поэзию не берет никакая диалектика, что единственным производственным процессом является вдохновенное задирание головы в ожидании, пока небесная поэзия-дух сойдет на лысину в виде голубя, павлина или страуса.

Разоблачить этих господ не трудно.

Достаточно сравнить татьянинскую любовь и «науку, которую воспел Назон» с проектом закона о браке, прочесть про Пушкинский «разочарованный лорнет» донецким шахтерам или бежать перед первомайскими колоннами и голосить «Мой дядя самых честных правил!».

---

[1]) В порядке постановки и обсуждения вопроса.

Едва ли после такого опыта у кого-нибудь молодого, горящего отдать свою силу революции, появится серьезное желание заниматься древне-поэтическим ремеслом! [1]).

Об этом много писалось и говорилось. Шумное одобрение аудитории всегда бывало на нашей стороне. Но вслед за одобрением подымаются скептические голоса.

— Вы только разрушаете и ничего не создаете! Старые учебники плохи — а где новые? Дайте нам правила вашей поэтики! Дайте учебники!

Ссылка на то, что старая поэтика существует полторы тысячи лет, а наша лет тридцать — мало помогающая отговорка.

Вы хотите писать и хотите знать, как это делается? Почему вещь, написанную по всем шенгелевским правилам с полными рифмами, ямбами и хореями, отказываются принимать за поэзию. Вы вправе требовать от поэтов, чтобы они не уносили с собой в гроб секреты своего ремесла.

Я хочу написать о своем деле не как начетчик, а как практик. Никакого научного значения моя статья не имеет. Я пишу о своей работе, которая по моим наблюдениям и по убеждению в основном мало чем отличается от работы других профессионалов поэтов.

Еще раз очень решительно оговариваюсь: я не даю никаких правил для того, чтоб человек стал поэтом, чтобы он писал стихи. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек, который именно и создает эти самые поэтические правила.

В сотый раз привожу мой надоевший пример-аналогию:

Математик — это человек, который создает, дополняет, развивает математические правила, человек, который вносит новое в математическое знание. Человек, впервые формулировавший, что «два и два четыре» — великий математик, если даже он получил эту истину из складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо большие вещи, например, паровоз с паровозом,—все эти люди— не математики. Это утверждение отнюдь не умаляет труда человека, складывающего паровозы. Его работа в дни транспортной разрухи может быть в сотни раз ценнее голой арифметической истины. Но не надо отчетность по ремонту паровозов посылать в математическое общество и требовать, чтоб она рассматривалась на ряду с геометрией Лобачевского. Это взбесит плановую комиссию, озадачит математиков и поставит втупик тарификаторов.

Мне скажут, что я ломлюсь в открытые двери, что это ясно и так. Ничего подобного.

80% рифмованного вздора печатается нашими редакциями только потому, что редактора или не имеют никакого представления о предыдущей поэзии, или не знают, для чего поэзия нужна.

Редактора знают только «мне нравится» или «не нравится», забывая, что и вкус можно и надо развивать. Почти все редактора жаловались мне,

[1]) Редакция решительно не согласна с выпадами В. Маяковского против классического искусства. Разоблачить их тоже не трудно.

что они не умеют возвращать стихотворные рукописи, не знают, что сказать при этом.

Грамотный редактор должен был бы сказать поэту: «Ваши стихи очень правильны, они составлены по третьему изданию руководства к стихотворению М. Бродовского (Шенгели, Греча и т. д. и т. д.), все ваши рифмы — испытанные рифмы, давно имеющиеся в полном словаре русских рифм Н. Абрамова. Так как хороших новых стихов у меня сейчас нет, я охотно возьму ваши, оплатив их, как труд квалифицированного переписчика, по 3 р. за лист, при условии представления трех копий».

Поэту нечем будет крыть. Поэт или бросит писать, или подойдет к стихам, как к делу, требующему большего труда. Во всяком случае, поэт бросит заноситься перед работающим хроникером, у которого хотя бы новые происшествия имеются на его три рубля за заметку. Ведь хроникер штаны рвет по скандалам и пожарам, а такой поэт только слюни расходует на перелистывания страниц.

Во имя поднятия поэтической квалификации, во имя расцвета поэзии в будущем, надо бросить выделение этого, самого легкого дела, из остальных видов человеческого труда.

Оговариваюсь: создание правил это не есть сама по себе цель поэзии — иначе поэт выродится в схоласта, упражняющегося в составлении правил для несуществующих или ненужных вещей и положений. Например, не к чему было бы придумывать правила для считания звезд на полном велосипедном ходу.

Положения, требующие формулирования, требующие «правил» — выдвигает жизнь. Способы формулировки, цель «правил» определяется классом, требованиями нашей борьбы.

Например: революция выбросила на улицу корявый говор миллионов. Жаргон окраин полился через центральные проспекты. Расслабленный интеллигентский язычишко с его выхолощенными словами: «идеал», «принципы справедливости», «божественное начало», «трансцендентальный лик Христа и Антихриста» — все эти речи, шепотком произносимые в ресторанах, смяты. Это язык новой стихии. Как его сделать поэтическим? Старые правила с «грезами-розами» и александрийским стихом не годятся. Как ввести разговорный язык в поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров?

Плюнуть на революцию во имя ямбов?

Мы стали злыми и покорными —
Нам не уйти.
Уже развел руками черными
Викжель пути. (Зинаида Гиппиус.)

Нет!

Безнадежно складывать в 4-стопные амфибрахии, придуманные для шепотка, — распирающий грохот революции.

Герои, скитальцы морей, альбатросы
Застольные гости громовых пиров!
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песнь огневая рубиновых слов! (Кириллов.)

Нет!

Сразу дать все права гражданства новому языку, — выкрику вместо напева, грохоту барабана вместо колыбельной песни!

Революционный держите шаг! (Блок.)

Мало того, чтоб давались образцы нового стиха, правила действия словом на толпы, революции, надо, чтобы расчет этого действия строился на максимальную помощь своему классу.

Мало сказать, что «неугомонный не дремлет враг» (Блок). Надо точно указать или хотя бы дать безошибочно представить фигуру этого врага.

Мало, чтоб разворачивались в марше. Надо, чтоб разворачивались по всем правилам уличного боя, отбирая телеграф, банки, арсеналы руками встающих рабочих.

Отсюда:

Ешь ананасы,
Рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй!!! (Маяковский.)

Отсюда и «Яблочко».

Едва ли такой стих узаконила бы классическая поэзия. Греч в 1820 г. не знал частушек, но, если бы он их знал, он написал бы о них наверное так же, как о народном стихосложении, презрительно:

«Сии стихи не знают ни стоп, ни созвучий»...

Но эти строки усыновила Петербургская улица. На досуге критики могут поразбираться, на основании каких правил все это сделано.

Новизна в поэтическом произведении — обязательна. Материал слов, словесных сочетаний, попадающийся поэту, должен быть переработан. Если для делания стиха пошел старый словесный лом, он должен быть в строгом соответствии с количеством нового материала. От количества и качества этого нового будет зависеть, годен ли будет такой сплав в употреблении.

Новизна, конечно, не предполагает постоянного изречения небывалых истин. Ямб, свободный стих, алитерация, ассонанс создаются не каждый день. Можно работать и над их продолжением, внедрением, распространением.

«Дважды два четыре» — само по себе не живет и жить не может. Надо уметь применять эту истину (правила приложения), надо сделать эту истину запоминаемой (опять правила), надо показать её непоколебимость на ряде фактов (пример, содержание, тема).

Отсюда ясно, что описанию, отображению действительности в поэзии нет самостоятельного места. Работа такая нужна, но она должна быть расцениваема, как работа секретаря большого человеческого собрания. Это простое «слушали — постановили». В этом трагедия попутничества: и услышали пять лет спустя, и постановили поздновато, — когда уже остальные выполнили!

Поэзия начинается там, где есть тенденция.

По-моему стихи:

Выхожу один я на дорогу...

это агитация за то, чтобы девушки гуляли с поэтами. Одному, видите ли, скушно! Эх, дать бы такой силы стих, зовущий об'единяться в кооперативы!

Старые руководства к писанию стихов таковыми безусловно не являлись. Это только описание исторических, вошедших в обычай, способов писания. Правильно эти книги называть не «Как писать», а «Как писали».

Говорю честно. Я не знаю ни ямбов, ни хореев, никогда не различал их и различать не буду. Не потому, что это трудное дело, а потому, что мне в моей поэтической работе никогда с этими штуками не приходилось иметь дело. А если отрывки таковых метров и встречались, то это просто записанное по слуху, так как эти надоевшие мотивы чересчур часто встречаются — вроде «Вниз по матушке по Волге».

Я много раз брался за это изучение, понимал эту механику, а потом забывал опять. Эти вещи, занимающие в поэтических учебниках 90%, в практической работе моей не встречаются и в трех!

В поэтической работе есть только несколько общих правил для начала поэтической работы. И то эти правила — чистая условность. Как в шахматы. Первые ходы почти однообразны. Но уже со следующего хода вы начинаете придумывать новую атаку. Самый гениальный ход не может быть повторен при данной ситуации в следующую партию. Сбивает противника только неожиданность хода.

Совсем как неожиданные рифмы в стихе.

Какие данные необходимы для начала поэтической работы?

Первое. Наличие задачи в обществе, — разрешения, разряжение которой мыслимо только поэтическим произведением — социальный заказ (интересная тема: о несоответствиях социального заказа с заказом фактическим).

Второе. Точное знание, или, вернее, ощущение желаний вашего класса (или группы, которую вы представляете) в этом вопросе, т.-е. целевая установка.

Третье. Материал. Слова́. Постоянное пополнение хранилищ, сараев вашего черепа, нужными, выразительными, редкими, изобретенными, обновленными и произведенными словами.

Четвертое. Оборудование предприятия и орудия производства. Перо, карандаш, пишущая машинка, телефон, костюм для посещения ночлежки, велосипед для езды в редакции, организованный стол, жилплощадь для определенного количества шагов, которые нужно делать для работы, связь с бюро вырезок для присылки материала по вопросам, волнующим провинции и т. д. и т. п., и даже трубка и папиросы.

Пятое. Навыки и приемы обработки слов бесконечно индивидуальные, приходящие лишь с годами ежедневной работы: рифмы, размеры, аллитерации, образы, снижения стиля, пафос, концовка, заглавие, начертание и т. д. и т. д.

Например: социальное задание — дать слова для песен идущим на питерский фронт красноармейцам. Целевая установка — разбить Юденича. Материал — слова солдатского лексикона. Орудия производства — огрызок карандаша. Прием: рифмованная частушка.

Результат:

Милкой мне в подарок бурка
И носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга
Как наскипидаренный.

Новизна четверостишья, оправдывающая производство этой частушки в рифме «Носки подарены» и «наскипидаренный». Эта новизна делает вещь нужной, поэтической, типовой.

Для действия частушки необходим прием неожиданной рифмовки при полном несоответствии первого двухстрочья со вторым. При чем первое двухстрочье может быть названо вспомогательным.

Смысл настоящей статьи отнюдь не в рассуждении о готовых образцах или приемах, а в попытке раскрытия самого процесса поэтического производства.

Как же делается стих?

Работа начинается задолго до получения, до осознания социального заказа.

Предшествующая поэтическая работа ведется непрерывно.

Хорошую поэтическую вещь можно сделать к сроку, только имея большой запас предварительных поэтических заготовок.

Например, сейчас (пишу только о том, что моментально пришло в голову) мне сверлит мозг хорошая фамилия «Господин Глицерон», пришедшая случайно при каком-то разговоре о глицерине.

Есть и хорошая рифма:

(И в небе цвета) к р е м
(вставал суровый) К р е м л ь.

Есть нравящийся мне размер какой-то американской песенки, еще требующий изменения и русифицирования

Хат Хартед хена
Ди вемп оф совена
Ди вемп оф совена.
Джи эй.

Есть крепко скроенные алитерации по поводу увиденной мельком афиши с фамилией «Нита Жо».

Где живет Нита Жо?
Нита? ниже этажом.

Или по поводу красильни Ляминой.

Краска дело мамино
Моя мама Лямина.

Все эти заготовки сложены в голове, особенно трудные записаны. Способ грядущего их применения мне неведом, но я знаю, что применено будет все.

На эти заготовки у меня уходит все мое время. Я трачу на них от 10 до 18 часов в сутки и почти всегда что-нибудь бормочу. Сосредоточением на этом об'ясняется пресловутая поэтическая рассеянность.

Работа над этими заготовками проходит у меня с таким напряжением, что я в девяносто из ста случаев знаю даже место, где, на протяжении моей пятнадцатилетней работы, пришли и получили окончательное оформление те или иные рифмы, алитерации, образы и т. д.

Улица.

Лица У... (Трамвай от Сухаревой башни до Срет. ворот—13 г.).

Угрюмый дождь скосил глаза, —

А за... (Страстной монастырь—12 г.).

Гладьте сухих и черных кошек... (Дуб в Кунцеве — 14 г.).

Леевой.

Левой (Извозчик на набережной — 17 г.).

Сукин сын Дантес (в поезде около Мытищ—24 г.).

И т. д. и т. д.

Эта «записная книжка» — одно из главных условий делания настоящей вещи.

У начинающих поэтов «эта книжка» естественно отсутствует, отсутствует практика и опыт. Сделанные строки редки, и поэтому вся поэма водяниста, длинна.

Начинающий ни при каких способностях не напишет сразу крепкой вещи.

Только присутствие тщательно обдуманных заготовок дает мне возможность поспевать с вещью, так как норма моей выработки при настоящей работе это — 8—10 строк в день.

Поэт каждую встречу, каждую вывеску, каждое событие при всех условиях расценивает только как материал для словесного оформления.

Раньше я так влезал в эту работу, что даже боялся высказывать слова и выражения, казавшиеся мне нужными для будущих стихов — становился мрачным, скучным и неразговорчивым.

Году в тринадцатом возвращаясь из Саратова в Москву, я, в целях доказательства какой-то вагонной спутнице своей полной лойяльности, сказал ей, что я «не мужчина, а облако в штанах». Сказав я сейчас же сообразил, что это может пригодиться для стиха, а вдруг это разойдется изустно и будет разбазарена зря? Страшно обеспокоенный, я с полчаса допрашивал девушку наводящими вопросами и успокоился, только убедившись, что мои слова уже вылетели у нее из следующего уха.

Через два года «облако в штанах» понадобилось мне для названия целой поэмы.

Я два дня думал над словами о нежности одинокого человека к единственной любимой.

Как он будет беречь и любить ее?

Я лег на третью ночь спать с головной болью, ничего не придумав. Ночью определение пришло.

Тело твое
  Я буду беречь и любить,
 Как солдат, обрубленный войною,
Ненужный, ничей, —
  Бережет
   Свою единственную ногу.

Я вскочил полупроснувшись. В темноте обугленной спички записывал на крышке папиросной коробки — «единственную ногу» и заснул. Утром я часа два думал, что это за единственная нога записана на коробке и как она сюда попала.

Улавливаемая, но еще не уловленная за хвост рифма отравляет существование, разговариваешь не понимая, ешь не разбирая и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму.

С легкой руки Шенгели у нас стали относиться к поэтической работе, как к легкому пустяку. Есть даже молодцы, превзошедшие профессора. Вот, например, из об'явления Харьковского «Пролетария» (№ 256).

«Как стать писателем?

Подробности за 50 коп. марками. Ст. Славянск, Донецкой железной дороги, почт. ящик № 11».

Не угодно ли?!

Я думаю, что даже мои небольшие примеры ставят поэзию в ряд труднейших дел, каковым она и является в действительности.

Отношение к строке должно быть равным отношению к женщине в гениальном четверостишьи Пастернака:

В тот день тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Таскал за собой и знал на зубок,
Шатался по городу и репетировал.

В следующем очерке я попробую показать дальнейшее развитие предварительных условий делания стиха на конкретном примере писания одного из стихотворений.

Поэты-декабристы.

Кюхельбекер-Ленский.

Ив. Розанов.

О Кюхельбекере часто вспоминают по соседству с Пушкиным, и надо сказать, что соседство это гораздо ближе, чем обыкновенно думают. Плетнев, когда его спрашивали, почему Пушкин в 1825 г., за 2 месяца до восстания, назвал Кюхельбекера своим «братом родным по музе и судьбам», об'яснял: «по музе» — потому, что оба они писали стихи несколько в одном роде: элегии, а «по судьбам» — так как за свое свободомыслие Кюхельбекер принужден был по настоянию друзей «убраться подальше» от центров администрации и попал на Кавказ, к Ермолову. Отсюда и приглашение «поговорим о бурных днях Кавказа». Ни с кем другим из лицейских товарищей Пушкин не мог бы указать такого совпадения. Правда, в одном из стихотворений, оставшемся в черновике и недоконченном, он начал было сближать свою судьбу с судьбой Дельвига. «Мы родились, мой брат названный, под одинаковой звездой». Одинаковость эта, очевидно, ограничивается тем, что они служили Киприде, Фебу и Вакху и одновременно с успехом выступали на поэтическом поприще, но «гонимый судьбой» Дельвига признать было нельзя. Как человека и как поэта, Пушкин любил его несравненно больше, чем Кюхельбекера, и, тем не менее, рождены они не под «одной» звездой, а только под «одинаковой», и называет он Дельвига не «родным» братом, как Кюхельбекера, а только «названным». Да и по натуре он, «искра», гораздо ближе был к пылкому и легковоспламеняющемуся Кюхельбекеру, «ракете», чем к вялому и ленивому Дельвигу.

Тот же Плетнев был искренно убежден, что во второй главе «Онегина» Пушкин в Ленском мастерски обрисовал своего лицейского приятеля Кюхельбекера.

Сходства, действительно, много: связь с Германией, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, наконец возвышенный характер творчества — можно легко допустить, что из всех современных Пушкину поэтов Кюхельбекер больше всего подходил к типу Ленского. Попытку Саводника сближать Ленского с Василием Туманским, человеком довольно рассудительным, надо признать совершенно неудачной. С другой стороны, несправедливо

думать, что Пушкина можно сближать только с Онегиным, а с Ленским будто бы так-таки ничего общего у него нет. Биография сохранила нам много примеров его «духа пылкого», его неразумия в житейских делах, а подчас и моменты энтузиазма. Керн рассказывает, как трогало его проявление всякого сердечного порыва, а Гоголь — как на глазах у Пушкина появились слезы восторга при чтении одного из стихотворений Языкова. Все это не Онегинские черты. Любопытно сопоставить отзывы за первый год пребывания их в лицее. В характеристике Кюхельбекера читаем: «Гневен, вспыльчив и легкомысленен»; в характеристике Пушкина «Вспыльчив, с гневом и легкомыслен», т.-е. полное совпадение. При чем такого сочетания этих трех качеств мы не найдем ни у кого другого из тридцати лицеистов первого выпуска. Указание на вспыльчивость встречаем еще в характеристике двух других лицеистов, указание на гневность у четырех, легкомыслие же отмечено только у двух мальчиков в целом классе: у Пушкина и Кюхельбекера. При чем «легкомыслие» Пушкина усугубляется еще другим указанием, что у него «мало постоянства и твердости». Учебное заведение, которое своим назначением имело, по выражению Щедрина, готовить «государственных младенцев» во славу и для поддержания существующего бюрократического строя, конечно, должно было разделять точку зрения одного из усердных службистов того времени, что поэты — это самые пустые люди. Другая часть характеристики — положительная. Про Кюхельбекера сказано, что он «благонравен, довольно искренен и добродушен», про Пушкина — «словоохотен, остроумен, приметно и добродушие».

Знаменательно, что величайший мастер слова, какой только был в русской литературе, уже двенадцатилетним мальчиком обращал на себя внимание прежде всего своими словесными талантами: он словоохотлив и остроумен. Кюхельбекеру же с его «искренностью» и «благонравием» так и пришлось остаться поэтом больше по душе, по намерениям и по устремлениям, а не по достижениям.

Еще заметнее сходство и различие в более подробных характеристиках, данных воспитателем Мартыном Пилецким и относящимся к тому же времени. Им нельзя отказать в проницательности. Несмотря на то, что Пушкин считался в последнем десятке, был двадцать третьим из тридцати, это отнесено к тому, что «трудолюбие еще не стало его добродетелью», но только о нем одном из целого класса сказано: «блистательные дарования». Верно указаны и его большая, но бессистемная начитанность и его память, особенно в области «стишков». Из других указаний любопытны: «жаркие вспышки вспыльчивости» и «самолюбие с честолюбием». Еще любопытнее характеристика Кюхельбекера. Здесь каждое слово приложимо и к взрослому Кюхельбекеру. «Не плавно выражается и странен в обращении. Во всех словах и поступках, особенно в сочинениях его приметны напряжение и высокопарность, часто без приличия». Указан и физический недостаток, являющийся одной из причин его странностей: «неуместное внимание происходит, может быть, от глухоты на одно ухо». Под «неуместным вниманием» имеется в виду, вероятно, то напряженное вслушивание в речь собеседника при застывшем выраже-

нии лица, мало отражающем понимание, что так характерно для людей плохо слышащих. Впоследствии к этому недостатку присоединилась и близорукость, особенно усилившаяся в Сибири. Последний год своей жизни, т.-е. в возрасте сорока семи лет, он совершенно ослеп. Этими физическими недостатками, думается нам, об'ясняется многое в личности и творчестве Кюхельбекера. Затрудненность восприятия впечатлений внешнего мира ведет обычно к известной сосредоточенности интересов в сторону своего внутреннего мира. Книги, заменяющие нормальный приток жизненных впечатлений, приобретают особое значение. Развивается или склонность к отвлеченному мышлению, или фантазирование. Наоборот, наблюдательность очень понижается. А недостаток этой последней не дает необходимого корректива к единоличным мечтам, выводам и намерениям; отсюда ряд несообразностей и странностей в мнениях и поступках.

Все это есть у Кюхельбекера. К этому надо прибавить еще плохую мускулатуру — радости мускульных ощущений и физического труда были ему недоступны — и необычайную нервность, граничащую с ненормальностью.

Но вернемся к его лицейской характеристике. В ней он, пятнадцатилетний юноша, изображается каким-то литературным маньяком. «Весьма прилежен; беспрестанно занимаясь чтением и сочинениями, он не радеет о прочем; оттого мало в вещах его порядка и опрятности». Ниже читаем: «Склонен ко всегдашнему упражнению, избирает себе предметы важные, героические и чрезвычайные». И, наконец, вывод: «раздраженность нервов его требует, чтобы он не слишком занимался, особенно сочинениями».

Обращает на себя внимание, что и педагоги и лицейские товарищи одинаково иронически относились к литературным упражнениям Кюхельбекера. Известно, что и стихи его и он сам были неистощимым предметом шуток и издевательств и в товарищеском обиходе и в лицейских журналах. Только еще один лицеист подвергался всеобщим насмешкам — Мясоедов. Но то был человек с очень ограниченными способностями и с большим сомнением. Это противоречие было источником комизма. В лицейских карикатурах он изображался с ослиной головой. Не то Кюхельбекер. Он был несомненно умен и один из самых развитых в классе. Он хорошо учился и кончил курс в числе лучших, с серебряной медалью. Но ум у него какой-то отвлеченный и книжный. У него совершенно отсутствовал здравый смысл. Он никогда не считался с тем, какое впечатление производит на окружающих, а между тем самая наружность его: долговязая фигура, извивающаяся походка — «глиста», по определению Корфа — наконец, несообразная и безвкусная манера одеваться, смешили. Комизм всегда основан на несоответствии. К такой фигуре особенно не шла высокопарность тона и содержания в его литературных упражнениях. Самая фамилия его стала казаться комической. От нее был образован целый ряд производных слов. Сокращенно его звали «Кюхля». Всем известен стих Пушкинской эпиграммы: «И кюхельбекерно и тошно». «Кюхельбекериада» стала синонимом галиматьи. Анаграммой от этого слова «Бехелькюкериада» обозначена была в лицейском журнале «длинная полоса земли, производящая великий торг мерзейскими

стихами», т. е. сам Кюхельбекер. Справедливо следует заметить, что лицейские стихи Кюхельбекера вовсе не так плохи, чтоб над ними можно было глумиться. Иногда, без подписи бывает трудно отличить, кому принадлежат — ему или Дельвигу. Но у него есть несколько попыток, ложных по существу. Один раз он захотел дать совершенно точный перевод одного стихотворения, но с точки зрения русского языка получилось так дико, что приятели подняли его на смех и через десять лет припомнили и корили его этим переводом. Очевидно, дело было не в самих стихах, а в той исключительности, с которой относился к своему стихотворчеству Кюхельбекер. Он был несоразмерно более высокого мнения о достоинствах своих стихов, чем все его читатели или слушатели. Это замечалось и вызывало излишнюю резкость оценки. Убеждение, что Кюхельбекер, как Хвостов, способен зачитывать своими стихами посетителя, обратилось в прочную лицейскую традицию. Когда, через много лет, в Сибири лицеист Пущин посетил своего лицейского товарища, он потом жаловался, что тот совсем зачитал его своими стихами, а он из вежливости все это должен был слушать. Все эти насмешки нисколько не мешали окружающим Кюхельбекера, как в то время, так и потом, любить его за незлобивость, незлопамятство, за чистоту и благородство намерений. Представим себе Ленского не красавцем с кудрями черными до плеч, как его изобразил Пушкин, а близоруким, на одно ухо глухим, с нескладной фигурой и нескладными движениями, человеком, появление которого всюду, как и его стихи, вызывают прежде всего насмешку, представим себе такого Ленского — и перед нами будет Кюхельбекер. Но в одном отношении Кюхельбекер, как человек, бесконечно выше Пушкинского Ленского. Относительно последнего очень вероятно предположение автора, что позднее, женившись и облекшись в халат, он нашел бы себе счастье в мирном прозябании. С Кюхельбекером этого никогда не могло бы случиться. Обыденная жизнь, с ее житейскими заботами, была совершенно не по нем. Он просидел десять лет в крепости, в одиночном заключении и потом, когда очутился в ссылке, обзавелся семьей, принужден был думать о заботах дня, — предыдущие десять лет в крепости стали казаться ему счастливым временем. Действительно, в одиночном заключении он подвергался только одному серьезному лишению: возможности личного общения с приятелями. Все остальное вполне соответствовало его природным склонностям. Некоторые биографы удивляются, что в одиночестве он не сошел с ума, что в нем нашлось достаточно нравственной силы, чтобы заняться пополнением своего образования, что он стал больше писать, чем раньше. Это все равно, что удивляться рыбе, брошенной в реку и не утонувшей там. Ему позволено было читать и писать — это главное. Книги в обильном количестве присылала ему сестра, недостатка в бумаге также не было. Чего же больше? Он мог продолжать удовлетворять двум своим основным страстям: писанию и чтению. Внешняя жизнь всегда имела для него мало цены, а смысл своего существования он всегда видел в том, чтобы мыслить и творить. Притом у него оказался небывалый раньше досуг, и он был освобожден от докучных забот, как поддерживать свое бренное тело. Немудрено, что он в тюрьме научился английскому и греческому языкам и зна-

чительно усовершенствовал свой стихотворный талант. Наоборот, ссылка только на первых порах обрадовала Кюхельбекера. Он попал в среду людей, чуждых его умственным интересам, в обстановку забот о куске хлеба и мелочных дрязг. Настроение его в это время прекрасно выражено в стихотворениях «Разочарование» и «Лицейская годовщина 19 октября 1838 года». В первом он говорит, как воображение бывало переносило его в широкий вольный мир, он забывал свое положение и глаза его загорались восторгом. Теперь в ссылке не то:

Я волен. Что же? Бледные заботы
И грязный труд, и вопль глухой нужды,
И визг детей, и стук тупой работы
Перекричали песнь златой мечты,
Смели, как прах, с души моей виденья,
Отняли время и досуг творить —
И вялых дней безжизненная нить
Прядется мне из мук и утомленья.

В «Лицейской годовщине», написанной спустя год после смерти Пушкина и являющейся одним из лучших стихотворений Кюхельбекера, сначала речь идет о смерти Пушкина:

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
В средине поприща побед и славы,
Исполненный несокрушимых сил.

Затем автор говорит о других своих друзьях, умерших раньше — о Дельвиге и Грибоедове, и, наконец, о самом себе: в годы заточения вдохновение не оставляло его, но вот теперь судьба лишает его того дара, с которым «дух его... неразлучно слит», т.-е. песнопенья. Значит пора умирать.

Теперь пора! Не пламень, не перун
Меня убил, нет. Вязну средь болота!
Горою давят нужды и забота,
И я отвык от позабытых струн!

Еще ярче выражена та же мысль в стихотворении «Они моих страданий не поймут». Ему прежде всего досадно погибать от мелочей. «Добро бы с неба камень мне череп раздвоил, или Перун меня сжег», тогда бы «последний трепет разорванных струн вздохнул при дивных звуках». И поэт умер бы, «как грома дальний гул». Он скорее бы предпочел огромное несчастье»: оно не раздавило бы его души; но ужасно увязать в ничтожных, мелких муках, тонуть в грязных заботах:

Но погибать от кумушек, от сватей,
От лепета соседей и друзей!
Не говорите мне: «ты Прометей».
Тот был к скале заоблачной прикован,
Его терзал не глупый воробей,
А мощный коршун...

Вот трагедия романтика, который вычитал из книг ряд грандиозных образов, ко всему привык подходить с огромным масштабом и не заметил, что в действительной жизни эти масштабы имеют редко применение,—романтика, совершенно беспомощного в практической жизни, который «мыслью миры измерил, а жизнь прожить не сумел». Сам Кюхельбекер писал: «Поэзия создает мне мир мечтательный. Если бы я не был поэтом, я бы едва мог перенесть мое бедное, отравленное всякого рода горестями бытие». Он заявлял, что поэтом надеется остаться до самой минуты смерти и что, если бы ему было предложено отказаться от поэзии и этим отречением купить знатность, богатство и что гораздо важнее — свободу, он ни минуты бы не поколебался: горесть, неволя, нужда, болезни душевные и телесные с поэзией лучше, чем счастье без нее. Культ поэта был для него и источником самоутверждения, потому что представление его о том, каким должен быть поэт, совпадало с представлением о самом себе. Сюда непременно входили «дух пылкий и довольно странный» и восторженный. Выраженье Пушкина «холод вдохновенья» было ему совершенно непонятно. Он находил, что Пушкин «лжет», когда в 8 главе Онегина пишет, что музе нравился «порядок стройный олигархических бесед и холод гордости спокойной». Где поэзия, там всегда пламенный порыв и беспорядок. Толпе поэт должен казаться «странным», иначе какой же он поэт? Характерно, что из мелких произведений Пушкина он выше всего ставил стихотворение «Поэт и чернь». Но если Пушкинский поэт вступал с чернью в спор, Кюхельбекер мечтал просто как-нибудь оградиться от нее и создавал себе нелепо-фантастические картины. Например, он «верил», что где-то есть страна, где поэты не страдают, где они «в плоть некоторую одеты». «Там ни зол, ни гроз, ни ночи их божественные очи» не видят, а самое главное «вход туда загражден для черни шумной». Сам Кюхельбекер очень, повидимому, дорожил своими «странностями», тем, что он ни на кого не похож, за что и получил упреки от искренне расположенного к нему Энгельгардта: «тебе нравятся твои, так называемые, «странности», но «быть отличным от всех еще не значит быть лучше всех». Одною из «странностей» Кюхельбекера было желание всегда и во что бы то ни стало «говорить правду». Энгельгардт убеждает, что это не всегда уместно. Например, безрассудно и жестоко рассказывает слепому о счастьи зрячих и о несчастьи лишенного зрения, ибо этим только усугубляется его горесть, а несчастье его не уменьшается.

Кюхельбекер, как находил его корреспондент, говорил всегда от искреннего сердца и с желанием добра, но обыкновенно неуместно и «без расчета цели и пользы» — и поэтому во вред себе и другим.

Так как поэзия для Кюхельбекера была «все», то понятно, почему он явился таким плодовитым отражением своей поэтической натуры во всей ее прихотливости, но тайной гармонией не овладел и не был самобытным мыслителем, а только человеком начитанным и много размышлявшим, то громадное большинство написанного им не представляет интереса для читателей. К нему можно применить то, что Пушкин советовал сделать по отношению к Державину: оставить немногое действительно прекрасное, а все остальное сжечь.

Беда только в том, что каждое поколение имеет право сделать свою переоценку и кое-что из сожженного может быть предпочтено уцелевшему. Искренно и выразительно говорит Кюхельбекер порою на тему о мимолетности жизни и о смерти:

Не опирайся в бурях века
На ломкую сухую трость,
На сына праха — человека;
Он на земле мгновенный гость;
И пусть тебя и не обманет,
Пусть ложь не обретется в нем,
Но он скорее злака вянет,
Сожженного дневным лучом.

Или, например, «Надгробие».

Сажень земли мое стяжанье,
Мне отведен смиренный дом,
Здесь спят надежда и желанье,
Окован страх железным сном... И т. д.

Много стихов на религиозные темы, много о поэте и творчестве, о снах и воспоминаниях. Есть ряд баллад и посланий.

Из больших его произведений лучшее — поэма «Вечный жид», из мелких — те, которые наиболее автобиографичны и связаны с окружающей его обстановкой в тюрьме или ссылке. Здесь исчезают присущие ему иногда недостатки: напряженность, надуманность, многословие. А где он искреннее, проще, там он становится не только «поэтом в душе», но и на бумаге. Таково, например, его стихотворение «Клен», обращение к дереву, росшему перед окном его тюремной камеры.

Из размеров ему больше удается пятистопный ямб, чем излюбленный Пушкиным четырехстопный. Наконец, есть у него несколько поистине прекрасных стихотворений: обе «Лицейские годовщины» 1836 и 1838 годов, «Жребий поэта», «Разочарование». Читая эти стихотворения, начинаешь понимать его лицейского товарища Корфа, который утверждал, что, как поэта, Кюхельбекера надо ставить выше Дельвига (речь идет о поэтах первого выпуска лицея) и непосредственно после Пушкина.

В поэме «Вечный жид» наиболее интересна глава шестая, где ярко изображена Франция перед Великой революцией и, наконец, самая революция.

Безверье, легкомыслие, разврат
Избрали Францию любимицей своею,
Маркиз и откупщик, философ и аббат
Равно готовили для гильотины шею.

А между тем положенье народа было ужасно:

...Придавлен тяжкой дланью
Откупщика к земле, обремененный данью
Правительству, дворянству, алтарю,
Крестьянин раннюю встречал в трудах зарю

А отдыха не знал до самой поздней ночи,
А дома — дети, голод, плач и стон.
Когда ему терпеть не станет мочи,
Не в тигра ли переродится он?

Высшее духовенство, предчувствуя погром, только тем, казалось, и было занято, чтобы спасти свои доходы и поместья, аббаты стали сплошь будуарными шутами и «волокитами».

Эпоха террора передана прекрасными по своей силе стихами:

В то время палачу тяжка была работа:
Он чистил Францию, как чистит рощу пал.

Ярки и талантливы характеристики Робеспьера, Дантона, Демулена.

Поэт крайне неровный, Кюхельбекер в лучших своих вещах интереснее и менее устарел, чем, например, Рылеев, хотя их историко-литературное значение — не говорим уже о революционном — несоизмеримо.

Из литературы о Есенине.

Валентина Дынник.

(«Памятка о Сергее Есенине». Изд «Сегодня». М. 1926 г. Цена 60 коп.; Иван Розанов. «Есенин о себе и других». Кооперативное изд. «Никитские Субботники». М. 1926. Цена 25 коп.; А. Крученых. «Гибель Есенина». Изд. автора. М. 1926. Цена 20 коп.; А. Крученых. «Есенин и Москва кабацкая». Изд. автора. М. 1926. Цена 30 коп.; А. Крученых. «Чорная тайна Есенина». Изд. автора. М. 1926. Ц. 25 коп.; А. Крученых. «Лики Есенина от херувима до хулигана». Изд. автора. М. 1926. Ц. 25 к.; А. Ревякин. «Чей поэт Есенин?». Изд. автора. М. 1926. Ц. 48 к.; «Есенин: Жизнь. Личность. Творчество». Сборник литературно-художественной секции «Центрального Дома Работников Просвещения», под ред. Е. Ф. Никитиной. Изд. «Работник Просвещения». М. 1926. Ц. 2 руб. 50 к.)

Есенин — не просто большой поэт: он — жизнетрепещущая и острая литературно-общественная проблема. Проблема эта, вот уже несколько лет вставшая перед критикой, перед всею читательской массой, перед нашей общественностью, — особенно заострена была трагической его смертью. Как-то сразу спохватились, что смерть эта, при всей своей нелепости, не так уж неожиданна, что, прежде чем стать страшной действительностью, она уже много лет была настойчивой, навязчивой лирической темой Есенина, и чем ближе к концу, тем настойчивей, тем навязчивей. Всякая смерть служит естественной чертой, под которой подводится итог прерванному существованию. Тем более это относится к Есенину, который провел черту собственной рукой. Перед всеми, кто его знал, хотя бы только по стихам, возникли беспокойные вопросы: кто же такой, в конце концов, этот поэт? чем он был для нас? в чем тайна его власти над нашими сердцами? как этот человек, не нашедший себе места в современности, по собственной воле от нее ушедший, — мог быть самым любимым нашим поэтом вот уже сколько лет? Отсюда желание заново, пристально проследить его творческий путь, заново, пристально пересмотреть свое отношение к поэту, отсюда же и повышенный интерес со стороны читателя к человеческой личности Есенина, к его биографии.

В книжных витринах, друг за другом, появляются работы, посвященные Есенину. Одной из первых вышла «Памятка» — небольшая брошюра (64 стр.), составленная внимательно и любовно, без той скверной сенсационности, от которой так часто коробило при чтении газетных статей о Есенине в пер-

вые, траурные дни. В «Памятку» вошли: три варианта есенинской автобиографии; составленная, главным образом, по ленинградским и московским газетным материалам «хроника событий» (смерть Есенина); несколько посмертных стихотворений Есенина; его факсимиле; несколько репродукций. Идея собрать и закрепить отдельные, даже мелкие детали есенинской страшной кончины, его похорон, уже достаточно оправдывает появление этой брошюры: брошюра понадобится всякому исследователю и для составления биографии, и хотя бы для того, чтобы честно и непредвзято судить, как должны были читать стихи умершего поэта все эти люди, которые его так хоронили. Впервые воспроизводимый третий вариант автобиографии («О себе») содержит несколько новых (в сравнении с предшествующими вариантами), интересных в историко-литературном отношении признаний — о характере влияния, оказанного на Есенина Блоком, Белым и Клюевым, об отношении Есенина к имажинизму после разрыва с этой группой, о тяготении к пушкинской форме.

Книжечка И. Н. Розанова «Есенин о себе и других» отличается обычными достоинствами автора «Русской лирики»: конкретностью сообщаемых сведений, вкусом ко многозначительной, не мелкой, мелочи и — просто литературным вкусом. И. Н. Розанов — один из немногих у нас историков литературы, не притупивших в себе непосредственного читательского восприятия. «Есенин о себе и других» и представляет, прежде всего, выбранные места из «дневника читателя», дневника в буквальном смысле слова, потому что основной материал, повествующий о встречах с Есениным, передающий беседы с ним, восстановлен здесь не по памяти, всегда несколько ненадежной, а по старым, тогдашним записям. Из этих отдельных записей, охватывающих большой промежуток от первых выступлений Есенина в печати до 1924 года, складывается немногословное, но интересное повествование, передающее основные моменты в истории есенинской славы: выход «Радуницы», когда Есениным заинтересовались, «главным образом, как новым социальным явлением, как поэтом из народа, не перепевающим Сурикова и Дрожжина, а с новыми мотивами и настроением», когда казалось, что «из глубины народной гущи на смену поэтам из интеллигенции идет уверенно и смело новая рать певцов. Сначала Клюев, потом Есенин»; чтение Есениным «Сорокоуста» перед дезорганизованной, на скандалах воспитанной аудиторией Политехнического музея, под председательством «сдержанного, иногда только криво улыбающегося Валерия Брюсова», свист раз'яренной публики при первых же грубых мужицких словах, с которых начинается есенинская поэма, и полное, как всегда, сознания своей авторитетности заявление Брюсова: «Надеюсь, что присутствующие поверят мне, что в деле поэзии я кое-что понимаю. И вот я утверждаю, что данное стихотворение Есенина — самое лучшее из всего, что появилось в русской поэзии за последние два или три года», — и рожденный среди скандалов, среди негодования, пышный рассвет уже несомненной, уже неоспоримой славы; а дальше — то, что еще так свежо в нашей памяти: выход в свет «Москвы кабацкой», особенно же «Стихов» в издании «Круга» — новые вершины поэзии, откуда «уже не-

далеко и до обеспечения себе места в тесном и немногочисленном кругу классиков русской литературы». Много говорится за последнее время об эволюции есенинского творчества, — книжечка И. Н. Розанова (и его статья, упоминаемая ниже) дает ряд фактов, позволяющих судить об эволюции читательского отношения к поэту, а это вопрос не менее существенный. Записанные И. Н. Розановым беседы с Есениным подтверждают многое, к чему приходишь при чтении есенинских стихов: «Обратите внимание, — сказал он мне, — что у меня почти совсем нет любовных мотивов... Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины — основное в моем творчестве». Правда, запись относится к 1921 году, но такое отчетливое признание еще более убеждает в том, что и последние книжки поэта, в которых так часты любовные мотивы, по существу — лишь один большой роман о себе, о родине и о революции, роман, где женщине принадлежит только эпизодическая роль. Интересны суждения Есенина о своих преимуществах перед Блоком и перед Клюевым: «Блок много говорит о родине, но настоящего ощущения родины у него нет», «у Клюева в стихах есть только отображение жизни, а нужно давать самую жизнь» (вспомним, в связи с последним: «Ты сердце выпеснил избе, но в сердце дома не построил»). Приводимая в книжке автобиография Есенина, записанная с его слов в феврале 1921 года, значительно дополняет другие, ранее известные его автобиографии: так, мы находим здесь прямое указание на связь со средой старобрядцев, бо̀льшее, чем обычно, значение придается влиянию деда, есть важное сообщение поэта о двойственности своих настроений: «Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульствовать. И потом и в творчестве моем были такие же полосы: сравните настроение первой книги хотя бы с «Преображением».

После розановской книжки, написанной с таким уважением к поэтическому дару Есенина, с таким вниманием к этому большому поэту, образ которого не могли затемнить никакие его «милые забавы», — как-то даже неловко говорить о четырех — одна за другой — брошюрах А. Крученых, написанных до-нельзя развязным, разухабистым языком. — Взять хотя бы такие мотто: «У Есенина был некоторый талант. Если бы он умел управлять им, он мог бы стать одним из поэтов современья», или вот: «Его произведения, думается, можно печатать только в сопровождении литературно-раз'яснительных статей (а может, даже медицинских)». Обо всех этих скверных книжонках не стоило бы и говорить, если б не так умело был организован их сбыт, если бы их не протягивал услужливым жестом чуть ли не каждый газетчик всем желающим купить «что-нибудь о Есенине» и если бы автор (он же издатель!), окрыленный успехом, не готовил к печати новых образцов литературной смердяковщины, спекулируя на славе обруганного им поэта.

Работа Ревякина «Чей поэт Есенин?» целиком построена на допущении, что для нашей эпохи нужна «только идеологически стопроцентно выдержанная лирика». Автор доводит это утверждение ad absurdum. Так, например,

оказывается, что «по содержанию и по психо-идеологии «Радуница» — творчество религиозного кулака на отдыхе», что стихи Есенина — это, прежде всего, стихи собственника, ибо строчка «Молясь на копна и стога» обозначает не что иное, как «не действуя, не участвуя в производстве, а молясь на созданное, на приобретенное», что Есенин был врагом революции, принадлежал «к стану реакционеров и злопыхателей». Конечно, детская резвость Ревякина не поколеблет треножника поэта — боишься не за Есенина, но боязно делается при мысли, что, очевидно, начинает уже складываться целая «научная школа» вокруг иных литературоведов, так быстро ставших «стопроцентнее» любого старого революционера и посильно применяющих свои навыки в формальном и биографическом методе — для выискивания улик в неблагонадежности. Там же, где Ревякин остается самим собою, он обнаруживает и наблюдательность, и живое отношение к искусству, — тем более досадно за него.

Недавно вышедший под редакцией Е. Ф. Никитиной есенинский сборник «Центрального Дома Работников Просвещения» — очень пестрая, разбухшая, рыхлая книга, не об'единенная ни сколько-нибудь отчетливой точкой зрения, ни, хотя бы, каким-либо планом в подборе материала. Редактор, в своей вступительной статье, отказывается дать литературный портрет Есенина, на том основании, что «поэт еще недостаточно изучен», и ограничивается лишь повторением нескольких суждений о нем, уже ставших общими местами, да пересказом его автобиографии. Думается, что, если бы во введении была намечена хотя бы проблематика, связанная с именем Есенина, и то автор имел бы больше оснований предполагать, что его статья поможет «плодотворнее продолжать изучение творчества С. Есенина». Все же с некоторым ожиданием открываешь отдел статей, посвященных конкретному анализу художественного наследия поэта, — но встречаешься там, большей частью, лишь с наивным и неумелым применением формального и социологического методов: слишком уж прямые линии проводятся, в анализе формы, от отдельной стилистической детали к общему «содержанию» творчества, в социологическом анализе — от биографических данных, притом весьма общих и скудных (ведь биография поэта еще не написана!) к социальному смыслу произведений. Непонятно, зачем понадобилось издавать эти статьи, не возвышающиеся над уровнем среднего студенческого реферата, не обнаруживающие ни сколько-нибудь самостоятельного подхода к вопросу, ни достаточно отчетливой методологической подготовки. Исключение, в этом отделе, составляет лишь этюд Б. Розенфельда, выясняющий отношение Есенина к имажинизму, да лирически насыщенная статья Сеферянц, интересная скорей как отклик читательницы, чем как работа исследователя. Библиография, приложенная к книге, составлена несколько на-спех: так, например, две отдельных статьи из журнала «Народный Учитель» за 1925 и 1926 г.г. соединены почему-то в одну; статья П. Н. Сакулина, вышедшая в 1916 г. после появления «Радуницы», помечена 1914 годом; совершенно не упоминается известная книга И. Эренбурга «Портреты русских поэтов», где дана очень злая, но в то же время трезвая и меткая характеристика Есенина. В конце сборника зачем-то пере-

печатаны избранные (по какому принципу?) стихи Есенина, — а книга, по всему, рассчитана на читателя, хорошо знакомого с его творчеством. Жаль, что в массе этого, в большинстве своем, случайного материала бесславно затонули воспоминания С. Городецкого, В. Шершеневича, М. Мурашева, И. Розанова и — впрочем, хорошо известная, хотя бы по газетам — статья Л. Троцкого: не всякий читатель решится заплатить за эту толстую книгу два с полтиной ради каких-нибудь 50—60 страниц нужного для него текста.

На книжку, даже незначительную по об'ему, читатель как-то привык смотреть, как на работу более солидную, более завершенную, более широкооб'емлющую, чем журнальная статья. Ожидания читателя не оправдываются ни одной из вышедших до сих пор книжек о Есенине. В лучшем случае здесь собран, хотя и доброкачественный, но весьма небольшой, и по выдвинутым вопросам и, особенно, по фактической насыщенности, материал, не дающий, в сущности, оснований выпускать каких-нибудь два-три печатных листа в отдельной книжной обложке. Журнальная литература о Есенине, появившаяся еще при жизни и, особенно, после его смерти, — продолжает сохранять главенствующую роль: в ней были отчетливо вычерчены основные углы зрения, под которыми можно рассматривать художнический облик поэта, так настойчиво вставший перед нашими глазами. Задача книги (о Есенине нужно написать именно книгу, а не книжку) — не в такой суммарной, крупными штрихами, характеристике, а в детальном, конкретном, научном исследовании, где факты служат не только иллюстрацией, но доказательством основных выводов, — т.-е. не только помогают читателю понять эти выводы, но и заставляют принять их. По-настоящему убедить читателя можно лишь путем апелляции к непосредственным данным читательского опыта, или, что то же, путем обращения к художественной структуре есенинских стихов, к их стилю. Пускай главные, самые острые, самые настоятельные вопросы возникают в связи с социологическим уразумением Есенина, — разрешение их невозможно вне уразумения художественного. И это относится, в первую очередь, к тому, что̀ главнее, острее, настоятельнее всего — к основной антиномии: Есенин — поэт индивидуалистических настроений, певец уходящего, отодвинутого революцией в сторону, такого несовременного мира, певец своей собственной гибели, и Есенин — любимый писатель современности, неоспоримый властитель наших сердец. Но не оговорками, не ссылками на отдельные формальные достоинства его стихов, на разнообразие ритмов, на очарование мелодики, на мастерство образа — примирить эту антиномию. Путь к примирению — в изучении есенинского стиля, как единого, органически связанного в отдельных частях своих целого, стиля, не служащего лишь подвеском к есенинской тематике, а, наоборот, втягивающего в себя все эти отдельные темы, переплавляющего, деформирующего их, заставляя подчиниться одной, уже не личной, только есенинской, а широкой, жизнетрепещущей теме — теме России, современности, революции.

Художественная проза современной Германии.

Р. Куллэ.

Вся современная немецкая художественная литература еще полна отголосками войны и революции. Старые, признанные имена уступают место новым, которых волна спроса выносит на своем гребне. Но неизменно и у старых мастеров и у молодежи современность преломляется в свете огней войны и революции. Пусть одни, как Г. Манн, Клара Фибих, Г. Гайк, делают большое отступление и ведут своего читателя к современности, начав повествование издалека, чтобы добросовестно мотивировать развертывающееся действие и привести его, наконец, к войне и революции. Пусть другие, как Келлерман, Фриц Унру, Фр. Юнг, вступают непосредственно в самую гущу событий,— все они охвачены одним заданием: угадать трепет жизни последних лет, осмыслить и художественно объективировать ту страницу истории Германии, которая пишется их кровью и дышит их взволнованной эмоцией современников.

Конечно, как тема, насыщенная до краев эмоциональным трепетом, не могло пройти бесследно военное поражение Германии. Насколько высока была волна энтузиазма и патриотического пафоса при объявлении войны, насколько Германия была полна веры в победу и улыбавшуюся издали диктатуру-гегемонию над Европой, настолько же глубоко она переживала свое поражение у подножия рухнувших надежд и расчетов. Революция была только одним из неизбежных выходов по линии д е й с т в и я, необходимой активности в условиях депрессии и отчаянного метания под обломками крушения страны. Революция вовлекла только остатки наиболее сильного и жизнестойкого, что было в Германии, она была для немногих, так как большинство переживало период духовной прострации, смутных ощущений, ненависти и страха перед будущим. Казалось, что рухнул весь мир, по крайней мере, в его духовной сущности. Немцы всегда отождествляли понятия: культура и Германия. Мудрено ли, что в их глазах поражение Германии обусловливало падение культуры, означало конец Европы? Эта идея полнее всего и ярче всего была формулирована Освальдом Шпенглером в его книге «Закат Европы». Своеобразное преломление давно знакомых идей, находивших у нас не однажды блестящее воплощение от славянофилов—Достоевского, Вл. Соловьева—до Блока и дальше. Очевидно, что на краю пропасти, куда должен свергнуться «старый мир», остается лишь молиться и каяться. Приблизительно такое настроение и охватило большую часть немецкого общества сразу после войны. Мистика, экстаз и неохристианство, взоры, устремленные внутрь человека в поисках путей познания и откровения религиозных истин, переплелись с историческими, этическими и эсхатологическими экскурсами и попытками углубленно понять смысл и цель жизни и человека, разгадать тайну смерти и «вечной жизни».

На этой почве смутных чаяний, исканий и проникновений зацвела своеобразная литература, полупророческого, полухудожественного характера. Темы, связанные с ре-

лигиозно-мистическими настроениями, с умиротворяющими добродетелями личного совершенствования, с познанием загробного бытия «душ», с предопределенностью судеб человека — становятся в центре внимания большой части буржуазного немецкого читателя.

Известный баснописец Теодор Этцель выпустил большой роман: «Последующая жизнь»... Роман мистический и мало оригинальный. Гораздо остроумнее рассказано это все у Достоевского в его рассказе «Бобок», или в повести Апухтина «Между смертью и жизнью». Сущность романа сводится к тому, что «душа» убитого рассказывает о своих «хождениях» в течение трех дней после смерти и об оккультических превращениях... Об этом не стоило бы говорить, если бы в романе не была высказана интересная мысль о том, что никто не может считаться мертвым до тех пор, пока хоть один человек помнит о покойном. Через людскую память установлена связь с отошедшими, их воля и их дела владеют живыми, изживающими дела и достижения умерших. Социально эта мысль сама по себе не глупая, но она значительно полнее и талантливее иллюстрирована в «унанимном» романе Жюля Ромэна «Чья-то смерть».

Характерно, что один из самых молодых современных немецких писателей, Ганс Бранденбург, в своем романе «Комната юности» рассказывает историю трех семейств — родителей и детей, — при чем все персонажи, все их действия и проявления поставлены под знак «судьбы», рока, который действует и распределяет их пути. Это произведение стоит на грани трагического реализма и бездн мистики, куда проваливались и продолжают проваливаться весьма многие авторы современной Германии.

В этом отношении весьма показательна Анни Харрар, жена известного мюнхенского ученого Рауля Франсэ. Ее новеллы в сборнике «Танец теней» — сплошная и невразумительная мистика. Бродяга убивает купца, как две капли воды похожего на убийцу. И вот — неизвестно почему — убийца должен играть роль убитого, жить за него, действовать и пр. «Душа» убитого вселилась в убийцу и начинает его мучить, ставя его во всякие тяжкие положения. Доводится бедняга до отчаяния тем, что он начинает сознавать свою роль «скорлупы» для души купца и, таким образом, мертвый изгоняет свою душу из украденного тела. Лучше другая вещь этой писательницы: «Женщина, зеркало и тени». Маленькая новелла — просто и хорошо написанное письмо матери к нерожденному еще ребенку. Мать объясняет своему будущему сыну, которого она еще носит под сердцем, почему она избрала ее теперешнего мужа, а не миллионера из Мексики—дона Гонзалеса — и Вилланова, сватавшегося к ней. Под влиянием рассказов испанца о своих предках, среди которых бабушка была татуированной индианкой, невеста среди ночи вдруг проснулась и взглянула в зеркало, где увидела ряд теней: татуированные и с перьями на голове индейцы, жестокие в шлемах конквистадоры — все тянулись к ней, к ее крови, желая жить через нее в ее потомстве... Она предпочла сохранить чистоту расы и душу будущего ребенка, отказала испанцу и избрала белокурого честного немца, к великому огорчению ее брата, рассчитывавшего на миллионы мексиканца.

Биологическая проблема евгеники, поставленная в свет художественного иллюстрирования. Это не так плохо.

Те, которых не втянула ни революция, ни мистика, оказались на большой дороге традиционного немецкого социального романа. Как бытописатели, они продолжали наблюдать жизнь современника, описывали мир политиков, общественных деятелей, дельцов, спекулянтов, артистов, богемы, публичных женщин, и т. д., и т. д. Большие картины сменяются сценами интимной жизни, салоны, будуары — хижинами и бараками для рабочих и инвалидов войны, этих «отверженных» жизни послевоенного периода. Старик Макс Кретцер, давно начавший свою карьеру романиста с «социалистической» окраской, продолжает выпускать свои социальные романы, отмеченные одним штампом и все более и более отходящие от натурализма и растворяющиеся в безбрежном тумане психологизма. Последние его романы — «Обманутые», «Два товарища», «Бухгалтерша» и пр., хотя и носят на себе печать современности,

го в очень малой мере помогают читателю понять ее через призму художественного изображения. Действие, правда, происходит на фабрике, в конторах больших предприятий, в кабаках и салонах большого города, но оно лишено того особого трепета и напряжения, которыми отмечается подлинное художественное изображение живой жизненной ткани. Гораздо полнокровнее один из последних романов Бернг. Келлермана «Братья Шелленберг». Он во всех отношениях может служить правдивой картиной жизни Германии в эпоху инфляции и падающей валюты, предоставлявшей предприимчивым и ловким людям типа Венцеля Шелленберга все возможности создавать грандиозные планы и осуществлять накопление сказочных богатств в одних руках. Венцелю противопоставлен брат Михаэль, человек также громадного масштаба, но отдавший все силы и знания социальной проблеме — улучшению жизни немцев в тяжелое время государственного и экономического кризиса. Михаэль Шелленберг — утопист, он думает, что решение социального вопроса возможно вне марксизма и, отрицая принцип классовой борьбы, основывает свою практику на весьма неясной теории, покоящейся на шатких основаниях этического порядка. Конечно, он терпит неудачу. Это, разумеется, не столь важно, как самый факт появления такого широкого социального романа. В этом отношении Келлерман близок той небольшой группе пролетарских писателей Германии, которая, правда, немногочисленна еще, но начинает уже играть значительную роль в деле влияния на современного немецкого читателя. Имена мало известных пока у нас Клебера, Иоганна Бехера, Эриха Мюзам, Берты Ласк и Альфонса Пакэ возглавляются знакомыми именами Эрнеста Толлера и Франца Юнга. Последний, по справедливости, может быть назван главой молодой пролетарской литературы современной Германии. Писатель революции и рабочего класса, он резко выступил в литературе послевоенного периода с обличением лживости и нечестности буржуазного общества, рисуя сочными красками, языком шершавым и выходящим за пределы «цензурного», жизнь пролетариата современной Германии. Его «Рабочий поселок», «Пролетарий», «Красная неделя» должны быть известны и русскому читателю, так как переводились в последнее время. Бодрые призывы к борьбе, вера в победоносное шествие социальной революции, беспощадная борьба с уродливыми проявлениями современной жизни в напряженно-ярких изображениях ее в своих произведениях делают эту немногочисленную группу мощной и невольно вызывают в памяти противоположную группу «патриотических» писателей, литературно плачущих и вздыхающих над современным состоянием их родины. Их взгляды лишены отчетливости, они едва ли сами знают, чтò, кроме «реванша», их еще примирило бы с действительностью. Эта патриотическая группа насчитывает, однако, значительное число крупных имен, среди которых Фриц Унру, Эмиль Юлленберг, Ганс Рийтель и др. занимают уже видное место в литературе. Объединяет их всех чувство национального самосознания, раздавленного и оскорбленного исходом войны, и мечты о реванше и лирическое чувство глубокой грусти ушедших в свою печаль писателей, эмоционально не примиренных с действительностью. Не будем останавливаться на разборе произведений этой «патриотической» литературы, охватывающей, преимущественно, события, связанные с войной, революцией и послевоенным периодом, укажем лишь на «Золотой год Ганса Фидлера» («Hanns Fiedlers goldenes Jahr») Оскара Глута, писателя, с которым и посейчас носятся в Германии, как с автором, сумевшим собрать воедино и выразить чувства и настроение целого слоя общества.

Эти разочарованные и недовольные, ушедшие с полей сражения с потухшим взором, без энтузиазма победы, но с повреждениями тела и психики, или грустят вместе с Глутом, сидя у рейнской границы, или бросились в гущу вновь накипающей жизни и стараются всеми способами отогнать назойливые мысли, погасить вспыхивающие языки чувства мести и разочарования...

Характерно, что такой большой и признанный художник, как Гергардт Гауптман, во время войны страдавший припадками острого патриотизма и мракобесного человеконенавистничества, покинул перо драматурга и принялся за прозу,

выпустив фантастический и густо аллегорией замешанный роман — «Остров Великой Матери».

Это произведение смело может быть отнесено к разряду чрезмерно-напряженных мечтаний об обновлении рода человеческого путем смешения рас на необитаемом острове, при благосклонном участии таинственных сил природы, ибо у Гауптмана спаслись во время крушения только женщины, остров был абсолютно необитаем, а размножение происходило явно сверхъестественными средствами.

Не будем расшифровывать всей этой символики, недвусмысленно ставящей женщину в центр обновляющегося мира, ограничимся лишь общим указанием на бесспорную принадлежность этого последнего романа Гауптмана к произведениям итогового характера, хотя и построенного в своеобразном плане романов сатирико-иносказательного, вроде «Острова пингвинов» Франса, или романов старика Раблэ.

Как бы то ни было, но Гауптман, всегда склонный к широким поэтическим обобщениям, и на этот раз остался верен себе, эмоционально выразив полнее и талантливее других общие настроения разочарованности, недовольства и своеобразной резиньяции...

Биржа, театр, кинематограф, религия, философия, мистика, любовь и флирт, личная жизнь и всеоздоровляющий скепсис — вот области, в которые убежало большинство читателей современной Германии. Они предъявляют свой спрос писателям и находят удовлетворение. Не будем говорить о философии и религии — это области исследований, не художественных воплощений, но в художественную прозу и поэзию властно врываются те же мотивы. Ф. Кебнер пишет только из театральной жизни и из жизни кинематографа: «Монахиня и арлекин», «Мария Эверс», «Тысяча и одна... женщина», «Начать бы жизнь сызнова» — романы из жизни актеров кино и сцены, порой с весьма сложной и не лишенной остроумия композицией.

Пауль Геккер, салонный романист, не чуждый юмора, освещает в своих романах — «Белая душа», «Последний флирт», и «Барышня-доктор» и пр. — те круги современной жизни, по которым совершают свое трудное восхождение и нисхождение люди больших городов. Но говорить о пороках и добродетелях, достижениях и разочарованиях привыкли, в сущности, все романисты... Читатель ждет от них не только фабулы и интересного ее разъяснения, но и атмосферы, он ждет указаний и прояснений...

Однако в условиях жизни современной Германии трудно создать атмосферу «высоких идеалов», внести в сознание читателей свет положительных образцов общественной этики. Все скачет и несется в бешеном темпе уродливых условий политико-экономического кризиса, и буржуазные добродетели давно потускнели, как герб «владетельных» фамилий. Мудрено ли, что на первый план вылезает изнанка жизни, гротеск, ее кривое зеркало. Джаз-банд в политике, фокстрот в экономике, гротеск в общественных и семейных отношениях. Какие-то ночные кафэ с их придушенной жизнью в свете газовых рожков и атмосферой табачного дыма и спиртного перегара, выплеснулись на большую дорогу жизни и заняли просторное в ней место. Так, по крайней мере, преломляется современность у большой группы сегодняшних «молодых» немецкой литературы.

В графике Георг Гросс показателен для своего времени так же, как в литературе — плеяда острых сатириков, которых Гросс охотно иллюстрирует. Выходят целые серии произведений под общим заголовком «Гротески», в изд. Курта Вольфа в Мюнхене. Конечно, это — не случайность, это — знамение времени. Жизнь уложилась в гротеск, течет кривыми извилинами через государство, личность и требует выхода в книге, остро и болезненно разящей сознание задергавшегося в противоречиях читателя. Пусть он не только посмеется над книгой, пусть в его сознании будет проведена борозда, больная и порой весьма жгучая. Ганс Рейман, Рихард Гильзенберг, Минона, Иоахим Рингельнетц, Шмиц, Рубинер и др. неутомимо терзают

своими «гротесками» потерявшего покой в современной жизни немца, еще так недавно тучневшего на мирной ниве романтики.

Среди этих молодых и талантливых поэтов и писателей, ставших в совершенно своеобразное отношение к современности, заслуживает более пристального внимания небольшая группа, обещающая вырасти в большое социальное целое.

Они проделали войну, они прошли через очистительные огни революции, они дышат полной грудью атмосферой сегодняшнего дня, но они не ноют, они не занимаются оккультизмом и не зовут в потусторонние убежища религиозной мысли.

Они просто приемлют жизнь такой, какой она им рисуется, пристально к ней присматриваются, видят все ее теневые и кровавые стороны, ее пошлость и самодовольство, разлитые среди буржуазии, ее страдания и тяготы, выпавшие на долю угнетенного пролетариата, и... описывают. Они добросовестно выполняют завет старика Гете: запускают руку в самую гущу жизни, вытаскивают трепещущие ее кусочки, рассматривают их с интересом и вниманием. Опыт войны научил их быть бесстрашными и не отступать ни перед чем, революция обострила их зрение и сообщила им прямолинейность подхода, а личный темперамент заставляет устанавливать «угол зрения» скептически-юмористический.

Видеть в жизни только гротеск, предмет обличения — это одно, а подходить к ее явлениям с улыбкой скептика и со складкой внимательного наблюдателя — другое. В конце концов, сатирик всегда острее воспринимает действительность, чем энтузиаст или ненавистник ее. Но для этого нужен большой дар. Иначе можно погибнуть в болоте пошлости и тривиальности.

Но наших авторов спасает от этой опасности их действительно большое дарование и проделанный опыт жизни.

Из этой небольшой группы мы привлечем к рассмотрению троих: Манфреда Кибера, Ганса Райзера и Рихарда Эйрингера; последний — наиболее талантливый изо всей группы.

Кибер работал во всех видах творчества. Выступив, как поэт, со сборником стихов, он писал драмы «Береговой огонь» и «Три мистерии», писал сказки — «Среди животных», новеллы — «Флаги на мачте» и «Гротески». Эта последняя книга заслуживает наибольшего внимания. Юмор и сатира переплетены с глубоким размышлением и умением видеть социальные уродства в современной жизни, а меткий и острый язык позволяет автору запечатлевать их в ярких и отчетливых образах. Конечно, мы не должны предъявлять слишком высоких требований: слишком определенно окрашена окружающая писателя среда, слишком выразительны требования германской буржуазной цензуры, чтобы мы ждали общественных откровений и политически отчетливо выраженной идеологии.

Но на скрестившихся дорогах мистицизма, оккультизма, безыдейности и оппортунизма, столь характерных для послевоенных настроений пораженной Германии, потерявшей революцию — творчество Кибера, с его взглядом сатирика-наблюдателя — явление отрадное и нужное.

Другой писатель, могущий занять наше внимание, более талантливый и глубокий — Ганс Райзер, — известен в Германии своим авантюрным романом «Черпенс Бингам — бродяга».

Своеобразный отклик Руссо через века. Удивительно, до чего одинаковые или весьма сходные общественные условия сходно формируют психику и намечают выходы из замкнувшегося круга классовых противоречий.

Когда-то на вопрос дижонской академии о том, «способствовали ли науки и искусства улучшению нравов человека», Руссо тысячекратно прокричал протестующее «нет»... Изолгавшееся аристократическое общество претило этому «гражданину вселенной», этому буржуа — представителю нового тогда класса, он звал «назад к природе», лишь бы уйти от лжи жизни. В своей книге Райзер тоже кричит, вопит о лжи. «Ложь, ложь! Кругом ложь!» Бингам потому бродяга, бездомник, что искренность, «настоящесть» не имеют места, локально не определены. Приходится

бродяжить, чтобы чувствовать себя человеком. Но и без людей жить нельзя. «Кто себя делает врагом общества, пусть попытается обойтись без него. Несправедливо, если он этого не вынесет... Не стану отрицать, что мне по-сердцу, если кто-нибудь из враждебного лагеря имеет мужество заняться моим ничтожеством, — по этому я узнаю, что я тоже человек. Но это удовольствие никогда не длится долго и из этого видно, что я — только бродяга, был и останусь таковым».

Этот Черпенс Биншам большой оригинал. Здоровая, крепкая натура, почвенно связанная с землей, он и уходит от людей, их лжи, лицемерия, фальши, и условностей, в природу, культивируя только природные инстинкты... С точки зрения зараженного пуризмом читателя, книга эта может показаться эротической. Да, в ней много здоровой и невинной, по существу своей наивности и непосредственности, эротики. Биншам — дитя природы, красивый парень, имеющий успех у женщин, которым он импонирует не только внешностью, но и всем оригинальным складом психики и жизни бродяги. Он берет от жизни ее дары. Кусочек Уленшпигеля, того здорового, ядреного духа, который так нужен раздавленной Германии. Такой крепкий настой почвенного органического оптимизма всегда действует хорошо и успокоительно, а протест против общественной лжи, опутавшей буржуазное общество, делает Биншама фигурой символической, перерастающей рамки простого авантюрного романа, каким он задуман и выполнен был автором.

Еще сильнее протестует Райзер против лжи в своей мрачной новелле «Ночь». Она так и названа «книгой гнева против лжи». Разумея, очевидно, условия буржуазного общества, Райзер мечет молнии против его уклада. «Все, что называется государством и обществом — ограничено, средне, посредственно, недостаточно и неизменимо, ибо всякие улучшения, изменения и справедливости, совершающиеся в нем, должны производиться за счет и к невыгоде другого, всякий прогресс порождает новый вид недовольства. Сегодня уничтоженный и раздавленный, назавтра уклад мира поднимет голову с прежней отталкивающей гримасой».

В условиях буржуазного, капиталистического общества выхода из противоречий, действительно, нет. И Райзер прав, когда видит своих современников и свою страну под темным покровом черной безысходной ночи. Но ведь заря всегда занимается, неизбежно, и только при первых ее золотых и розовых проблесках он обернется лицом к востоку. Пока же он видит спасенье в том, чтобы победить ложь... поэзией, выдумкой, т.-е. другим видом лжи, иным, но все же лжи...

Самый талантливый и самый очаровательный наш современник в Германии — Рихард Эйрингер. Анкета, устанавливающая прошлое, типична: проделал войну, был летчиком, писал стихи, басни, прозу, понимает музыку и носит ее в себе... С какофонией современности помириться не может и «горьким смехом своим смеется», а кто раз летал, тому тесно в условиях трех измерений земли... Эйрингер много летал, летал над фронтами, летал и над своей родиной... Мудрено ли, что ему очень тесно в современной Германии. Теперь он больше не летает на аэроплане, но довольно высоко поднимается на крыльях своего смеха. Целый ряд небольших книг стихов и рассказов, анекдотов и забавных историй выпустил он в свет. И много курьезного рассказывает он в них о своих соотечественниках и современниках. Эйрингер привык уже смотреть на себя, как на присяжного юмориста. Поэтому и большой свой роман он назвал «юмористическим». «Пинкепоттель и его друзья» — авантюрный роман, описывающий бесчисленные приключения миллионера Пинкепоттеля, американского «газетного короля», богача, филантропа, «наиболее остроумного джентльмена Соединенных Штатов», политика, мецената, «философа и холостяка». Вот рекомендация читателям, какую делает автор своему герою. Этот нью-иоркский чудак затевает путешествие на Северный полюс. Он ищет 10 компаньонов. Условия: никаких специальных знаний, технической подготовки, выбираются товарищи по другому признаку: быть представителем какой-нибудь расы, страны и быть веселым... Набираются по одному: немец, француз, итальянец и т. д. «Веселостью и юмором можно покорить весь мир, не только добраться до Северного

полюса» — рассуждает Пинкепоттель. Поэтому, вернувшись, после бесчисленных приключений, из путешествия, он основывает новый, «четвертый и последний», интернационал юмора и смеха... Но это — заключительный аккорд. Центр тяжести — не столько в приключениях, сколько в отношении к ним участников экспедиции, их рассуждениях, непринужденных и остроумных, и в амальгаме пестрых сочетаний национальных и расовых особенностей этой полярной экспедиции.

Рихард Эйрингер, бесспорно, заслуживает внимания и его можно рекомендовать нашим переводчикам и нашим читателям. Мы видели на таком, в сущности, небольшом материале, умышленно взятом из самой гущи типичной литературы современной Германии, как рассучились в разные стороны линии литературных традиций немецкой литературы после войны.

Резко в классовом антагонизме встали друг против друга две враждебные группы, разделенные революцией. Одни ищут своих путей, мучительно пробиваясь через «9-е ноября» к утверждению видовых особенностей пролетарской литературы, другие обернулись лицом внутрь, застыли в мистическом самосозерцании, ищут разрешения для «извечных вопросов духа» в религии и жизни; большие мастера скупо отцеживают от своих дарований нектар психологических романов в поучение жадной массы читателей; третьи — буйно зацвели цветами хмельной жизни «сегодня» на засыпанных могилах «вчера»...

Они, вероятно, тоже найдут дорогу в «завтра».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Сергей Есенин. Собрание стихотворений. Том второй. Стр. 200. Гозидат. 1926.

В эту книгу вошли тридцать шесть поэм С. Есенина. Тридцать шесть революций есенинского творчества и его личной жизни. Мятеж есенинской лирики, искание новых путей творчества, новых дорог личной жизни, нового подхода и приема отображения личных переживаний в окружении современности.

Книга распадается по своему внутреннему содержанию на четыре основных периода жизни Есенина, на четыре главнейших и существеннейших русла его поэтической деятельности, его собственной революции. Первый период: 1917 г., разыгравшийся в душе Есенина коренной ломкой его религиозных настроений. Это первая трещина его собственной психики, где вдруг:

... огни сверкнули,
залаял медный груз.
И пал, сраженный пулей,
Младенец Иисус!

Где —

... спокойно звенит
За окном,
То погаснув, то вспыхнув
Снова,
Железное
Слово:
«Рре-эс-пу-у-ублика»!

С этого момента поэмы и стихи Есенина начинают звенеть новыми ритмами и новыми образами. От старой клюевской «избяной» Руси Есенин начинает торопливыми шагами отходить в сторону семнадцатого года, ближе к преддверию доподлинной современности, к новым мотивам и к новому настроению. Стихотворные строчки и образы начинают быть более звонкими и упругими. Нет уж того спокойствия, тех накатанных троп и дорог, по которым он шел до февральской революции. И «милостник-Никола», как поэтический образ, теряет свою силу над восставшим поэтом. Вместо примирительных нот:

Кто-то учит нас и просит
Постигать и мерить.
Не губить пришли мы в мире,
А любить и верить...

зазвучала другая струна, другой голос, более твердый и уверенный:

Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера — в силе,
Наша правда — в нас!

Тут начинается «озорство» Есенина:

Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта!

Тут решительный отпор старому «миру»:

Не хочу восприять спасенья
Через муки его и крест!

Другая полоса творчества С. Есенина начинается с поэмы «Иорданская голубица», в которой:

Небо — как колокол,
Месяц — язык.
Мать моя — родина,
Я — большевик!

И уже совершенно твердо и откровенно звучит потом:

Да здравствует революция
На земле и на небесах!

Третий период творчества Есенина, разлившегося широким «половодьем чувств»,

начинается с того момента, когда он впервые заметил наступление машины. В это время он пишет поэму «Сорокоуст», в которой раскрывается его глубокая подпочвенная любовь к «красногривому жеребенку», к той самой природе, которую он боготворил и защищал от «скверного гостя», то-есть от машины.

О, электрический восход,
Ремней и труб глухая хватка.
Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

О себе же сказано:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну, куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

И затем уж:

Чорт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.

Тут, по русскому обычаю, с горя «красногривый жеребенок» попадает в «Москву кабацкую», и тут мы видим третий период есенинских настроений: его жестокую пьянку и, так называемое, хулиганство. Появляется поэма «Исповедь хулигана».

Я нарочно хожу нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах!

Конечно, вместо электричества. Но это не было все-таки хулиганством, это не было даже озорством, ибо нельзя упрощать сложных явлений и переживаний в душе такого огромного поэта, каким был Есенин. Эта тяжелая и беспросветная полоса жизни Есенина была, конечно, его глубочайшей трагедией, годами его бунта против «скверного гостя», годами всяческих внутренних противоречий. В этот момент он хорошо помнил, что

... за тысячи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

А поэтому:

Каждой корове с вывески мясной лавки
Он кланяется издалека!

Поэтому —

Он готов нести хвост каждой лошади,
Как венчального платья шлейф.

Поэтому:

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.

Но вот наступает четвертый и последний период жизни Есенина, и он пишет свою замечательную поэму «Русь Советская».

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

После своего «возвращения на родину», поэт увидел, что «сестры стали комсомолки», «на стенке календарный Ленин», шустрая девченка читает «пузатый «Капитал», «крестьяне обсуживают жисть», «с горы идет крестьянский комсомол», под гармошку «поют агитки Бедного Демьяна»... От старой, от клюевской и ремизовской жизни, оказывается, не осталось и камня на камне.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен.
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен!

Вот где начинается та самая ужасная и трагическая развязка, к которой Есенин пришел впоследствии.

Моя поэзия здесь больше не нужна!

Он понял, что «стране советской» поэзия нужна другая, что в той другой поэзии его «красногривый жеребенок» играть главную и руководящую роль не будет, — и на этом остановился.

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов итти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам!

Что это значит? Может быть, Есенин не понимал и не мог понять того, что про-

исходило в жизни? Ведь он же сам сказал в поэме «Письмо к женщине»:

С того и мучусь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий!

Но это — его скромность. Есенин отлично понимал, «куда несет нас рок событий». Это он понимал гораздо лучше и яснее многих, которые хвастаются на каждом шагу своим пониманием. Не в этом дело. Есенину важно и в потоке революционных событий остаться *поэтом*, вот что главное, и, осознав это, он пробует *отдать* свою «милую лиру» этим революционным событиям. Пишет балладу о двадцати шести, поэму «Гуляй-поле», «Номах» и др.; и видит, что его «милая лира» начинает ему изменять. Тут он опять переходит к коротким лирическим стихотворениям, но они уже не удовлетворяют его. Он пишет поэму «Анна Снегина» и «Чорный Человек»... Эти поэмы во второй том не входят, но мы упоминаем о них потому, что этими поэмами Есенин изменял своей «милой лире», брал не свойственный ему материал.

Издана книга прекрасно, и тонкие березки на ее обложке как нельзя лучше иллюстрируют все ее содержание. Ждем третью книгу.

Петр Орешин.

Вьюжные дни. Сборник сибирских поэтов революции. Под редакцией В. Итина. Сибкрайиздат. Новониколаевск 1926 г. Стр. 94.

Виссарион Саянов. Фартовые года. Стихотворения. Государств. Изд. М.—Л. 1926 г. Стр. 36.

К. Алтайский. Алое таяние. Стихи. Вятка 1925 г. Стр. 80.

Григорий Ширман. Клинопись молний. Сонеты и рондо. Всер. Союз поэтов. М. 1926 г. Стр. 102.

В. Жак. Крутизна. Стихи. Ростов-на-Дону 1926 г. Стр. 36.

Общность тем объединяет авторов сборника «Вьюжные дни»: гражданская война в Сибири, партизанщина, Колчак, кочевники, расстрелы — варьируется с небольшим разнообразием в стихах М. Скуратова, Л. Мартынова, М. Терентьевой, Оленич-Гнененко, В. Итина и др. Некоторая безличность в тематике усугубляется еще и формой стиха: песнями-частушками о погибших красногвардейцах начинает М. Скуратов, частушками вторит, засыпая поэму «На рельсах» непросеянным бытовизмом, М. Терентьева:

Вейтесь, тезисы мои
Инструктивные,
Про страду и борьбу
Коллективную...

Балладой, очень плохо подражая Тихонову, рубит строфу А. Оленич-Гнененко:

Чехо-эсеры идут на нас,
Троцкий отдал боевой приказ... и т. д.

И тут же тон в тон — Заводчиков:

Красная армия недалека,
Белые тают, идут войска...

Есть наблюдательность у Л. Мартынова в поэме «Адмиральский час»: Омск в дни Колчака; но фотографирование событий без анализа и психологического углубления ведет лишь к поверхностному злободневному фельетону. Такой же легкостью страдают и стихи В. Итина о банках, Госиздате, напостовцах и пр. Иногда автор доходит до давно забытого «пролеткультовского «пафоса»:

Мы гром веков! Мы чрево революций!
У нас под черепами (?) накипь урагана...
и т. д.

Из всего сборника выгодно выделяются стихи И. Уткина: его «Якуты» и «Партизан» композиционно выдержаны и создают цельное настроение.

Почти однородные темы волнуют и поэта Висс. Саянова, но художественное оформление их в сборнике «Фартовые года» стройнее и крепче. У него еще много пустых строк и строф, нуждающихся в хорошей самокритической обжимке; вызывают досаду частые и неуместные иногда патетические восклицания: эх, ох, ах, эй, эгей, ой и т. п.; но рядом с агитационной данью об Октябре, Киме и др. у него намечается своеобразная компановка сюжета в поэме «На подступах Азии»:

Дни проходили,
Локоть об локоть,

Как пехотинцы в строю»... и вот

«Девченка из агитотдела»,

но «дрогнули плечи и сжала рука упрямый приказ командарма». Девушка гибнет на фронте и последняя глава — над могилой Натальи Горбатовой — написана с лирической напряженностью и остротой.

Стих Висс. Саянова энергичен ритмом, фраза проста, а бодрый тон и непосредственность выделяют его к лучшим комсомольским поэтам.

Поэтическое credo К. Алтайского в сборнике «Алое таяние» несложно:

На земле столько слез и жалоб,
Стольких надо в борьбе ободрить,—
Кабы больше зябликов стало б,
Стало б нам потеплее жить...

Известно, что зяблики имеют свое оперение и свой напев. У Алтайского же эта самостоятельность отсутствует: или пересказ прочитанного и рассуждения по поводу смерти Ленина, демонстрации и пр., или примитив и лозунговый штамп:

Братья, не теряйте большевистского духа,
Вперед под стягом ленинских идей!

О любви же конечно: челноки-стрижи, красненький платочек и вечер, отмеченный «жгучим знаком комсомольских (!) алых губ».

«Художественная убедительность» доходит иногда до наивысшей «тонкости»: так — «площадь пахнет потом всех производств», «в ноздрях застрял сеновал», «гудок орет ихтиозавром» (имеются ли в Вятке ихтиозавры и орут ли?) и т. п. Беспомощность в разработке тем, отсутствие костяка в стихе, которым бы крепилось содержание и настроение, бедность словаря автора, дополняется еще и технически корявой фразой: «людей — овец нет столь в степи».

Стихи о провинции К. Алтайскому удаются лучше («Карусель», «Суздальская Русь» и нек. др.); думаем, что при внимательном отношении к слову, ставя в работе конкретные художественные задачи и по-своему разрешая их, автор выберется из рифмованной путаницы и недостатков, которые теперь загромождают его первый торопливый сборник.

Совершенно иное впечатление и содержанием и внешностью производит сборник сонетов и рондо Григория Ширмана «Клинопись молний».

Как и подобает сонетам — белая плотная бумага, изящный шрифт и возвышенный пафос. Но как он далек от взволнованных строк и жизненных тем Уткина, Саянова и даже Алтайского! То, что для них является неотъемлемым творческим стимулом, у Г. Ширмана звучит иначе:

... покорен временам,
Иду на службу, *приказали нам*
Чернилом поливать веков зачаток.

В другом месте (более поэтично):

Не мы ль несем рубиновое знамя
Как *варварский топор на вечный Рим*».
(Курсив везде наш. С. О.)

Но и такие «гражданские раздумья» редки, большей частью — сонеты о священном козле и сардониксовом кубке, о Питекантропе, Брюллове, пирамидах, Одиссее, Изиде, Пегасе, Риме, гареме, величии миров и прочем; иногда скрепляя строки «философией»:

О, мысль, среди твоих огнистых косм,
Ползет, как вошь, незримый микрокосм...

или заканчивая сонет добрым семейным советом: — «купите крепкую себе кровать».

Не увеличивают художественную ценность творчества Г. Ширмана и случайные, выпадающие из стиха, образы: «месяц лысый, словно Ленин»... Выдерживая до конца объективность обзора, отметим сохраняющие некоторую четкость в содержании и стройность формы сонеты на страницах: 34, 37, 45 и 79; а в общем: творчество — питаемое то мистикой, то невнятной космической отвлеченностью, в которой «мрак бродил, а иногда недоставало смысла», то пассивным тоскливым индивидуализмом:

В купе мягчайших и в чуланах жестких
Никто, конечно, не читает нас...

Конечно, не нужно «солдатской выправки от музы, чтоб барабаном тешила народ»,

но нам чужды и красноречивое верхоглядство и напыщенная глухота к необычайной нашей современности.

Заканчивая обзор сборником стихов В. Жака «Крутизна», отмечаем умение поэта остановить внимание на мелочах, которые в его творческом оформлении приобретают художественную значимость («Письмо», «Так бывает, сразу обернешься»). Хотя В. Жак не избежал рассудочности и надуманности («Китоловы», «Точильщик»), и некоторого однообразия тематического и ритмического, все же стихи его подкупают своей искренностью и лиризмом. Эпитеты, образы его ярки и новы: «широкое плечо волны», «задумавшийся снег», «ох, как мятель заламывала руки и белым телом билась о дома».

Пугает же нас сумеречное подавленное настроение поэта: почти многие стихи оканчиваются одним и тем же характерным:

Я тоже так, безумствую и вою,
Как ты, поток, бесчинство возлюбя;
Но и меня просторы успокоят,
Как море успокоило тебя.
(«Поток»).

Сквозь окровавленные годы
Всплывет судьба—сраженный кит.
(«Китоловы»).

Ведь я такой же, как и ты,
Гранит, изрубленный в ущельи.
(«Кавказ»).

Надеемся, что наличие эмоциональной обостренности, искренности и чуткости к слову поможет В. Жаку выйти из элегической ограниченности и в творчестве «распахнуться настежь весенним радостным окном».

С. Обрадович.

Иван Доронин. Тракторный пахарь. Поэма. Предисловие А. В. Луначарского. Изд-ство «Молодая Гвардия». 1926 г. Стр. 203.

У Доронина свое лицо. Он не похож на других крестьянских поэтов. Он не увлекается мифологическими петушками на рушниках, речевыми заставками в суздальском вкусе и нерасчетливой игрой словесных самоцветов. Его язык — прост, образ — реалистичен. Поэт прошел хорошую школу гражданской войны; она застраховала его от кокетничания неуемной удалью русской души и разливной тоской полевых просторов.

Его лирический голос чист и — что не менее важно — обдуман. Видение тракторизованной деревни и полевого завода прошло через его существо и встает перед нами живой правдой пережитой реальности.

Все это дает право на эпос — бесспорно.

Но осуществил ли Доронин это право в новой поэме? Нет. Если только под поэмой надо понимать нечто большее, чем собрание отдельных песен и лирических отрывков, обрамленных, но не спаянных едва намеченной линией сюжета, — «Тракторный Пахарь» — не поэма. Реалистический сюжет в эпосе не может быть разработан в обход психологии действующих лиц. А Доронин пытается двигать сюжет, не касаясь внутреннего мира своих героев, не подвигаясь ни на шаг в его развитии. Комсомолец у Доронина — комсомолец, и только. Кулак — кулаком и живет. Любовь Маши к «тракторному пахарю» из совхоза, как и вся психология этой комсомолки в становлении, остается без изменений от начала до конца произведения. Не подвигается ни в ту, ни в другую сторону и отношение крестьян к трактору. Словом, ничто не движется во внутреннем строе поэмы, имеющей предметом одну из самых динамичных тем современности. От этой внутренней неподвижности произведения проистекает и то, что отдельные его составные части сосуществуют в полнейшей раздельности, не сцепляясь в общее единство. Тема тракторизации деревни, в сущности, только условно увязана с темой о новых формах брака; непосредственно связанные в жизни, темы эти пребывают в поэме Доронина разъятые и лишь искусственно нанизаны на одну и ту же — центральную — фигуру Степки. По той же причине внимание автора идет вширь, а не вглубь: в маленькой по объему поэме слишком много действующих лиц и эпизодов, оставленных автором без разработки.

Все это приводит к тому, что те страницы поэмы, которые направлены к развитию повествования — представляют наименьшую ценность. Очень часто производят они впечатление рифмованной прозы. Развязка (отец Маши, ярый противник ее брака с «тракторным пахарем», попадает под колесо трактора) носит надуманный характер.

Но дело совершенно меняется, если мы взглянем на книжку Доронина с другой стороны: забыв о том, что перед нами поэма, станем читать ее, как сборник стихов, не думая о том, связаны ли между собой отдельные эпизоды. Тогда перед нами развернется ряд свежих, оригинальных, чисто Доронинских песен-стихотворений. Таких сочных по своей образности и увлекательных по ритмам отрывков в книжке — целый ряд: «Посвящение», «Песни Степана», «Речь Акульки», «Песни Маши», начало главы VIII (до «Думы Сеньки», которая мало удачна). Своим обилием они оттесняют еще дальше на задний план повествовательную сторону произведения, а своей яркостью делают ее еще серей. Словом лирик на каждом шагу побивает здесь повествователя.

Нам кажется, что этот разлад для Доронина не обязателен. Трезвый и жизнерадостный реализм его лирики и властвующая над поэтом тема естественно влекут его к эпосу. Верим, что он придет к нему. Но еще не пришел.

Поэме предпослано предисловие А. В. Луначарского. Издана она исключительно изящно.

Д. Горбов.

Вл. Бахметьев. Железная трава. Рассказы. Изд-ство «Земля и Фабрика». М.—Л. 1926 г. Стр. 172.

На титульном листе сказано: «Собрание сочинений в трех томах. Том второй». Очевидно, приходится иметь дело с «полным» собранием сочинений и даже с «полнейшим». Только этим можно объяснить разношерстность второго тома, где на-ряду с вещами совсем зрелыми и волнующими помещены слабые, скучные рассказики, по существу стоящие не выше обычных ученических опытов. Из одиннадцати отдельных вещей сборника хороши только две. Остальное можно бы не печатать вовсе: никто ничего бы не потерял.

Для большинства рассказов наиболее досадна странная особенность их построения: с первых же строк совершенно ясным становится замысел автора, и читатель без труда угадывает, как именно протечет сюжет. В рассказах «У моста» и «Железная трава» предвидишь геройство, с каким рабочие будут бороться против коварных и свирепых белогвардейцев, в «Кандальнике» заранее ждешь встречи отца с революционером-сыном и знаешь, что отец раскается в своих тюремщицких заблуждениях... Остальное в том же духе. Почти сплошь торжествует предварительная схема — ей насильственно покорены и психология героев («Воскресение»), и ввод новых персонажей («Таежное», где среди действия, без всякой мотивировки и логической необходимости введен урядник). Герои резко делятся на добродетельных и порочных, и за ними, лишенными многих человеческих качеств, не видно живого человека — вместо него трафарет или, в лучшем случае, явное заимствование. В «Железной траве», например, генерал представляет собою слабую копию с толстовского Кутузова. Там же солдат-белогвардеец коротко и ясно именуется «Сидорчуком»:

« — Сидорчук, обыскать!»

Бедняга ты, Сидорчук!.. Добрая половина нижних чинов Брешко-Брешковского и городовых Аверченко — тезки тебе и однофамильцы...

Язык книжки еще пестрее содержания. Нередко можно встретить удачное место, яркий и выразительный образ, меткий эпитет... Но еще чаще попадаются шероховатости и провалы. Особенно много невыдержанных и потому неприемлемых оборотов, — «загривок — замша в складках — алел вишневым соком», «березы — лапы степи, курганы — ее бородавки (!), озера — глаза»... Есть сравнения надуманные, искусственные — «арбузы, похожие на выкрашенные (!) ядра», или «водокачка, похожая на верблюда с гусиной шеей»... И, наконец, попадаются места окончательно безвкусные —

«почтенная эта холостяга» (про женщину), «дрожали в выси небесные мигуны» и т. д.

Недостаточно серьезная работа над композицией, над языком сильно чувствуются во всей книге. Эти качества могли бы оттолкнуть от нее читателя. Но рассказы «Фроська» и «Одна ночь» спасают положение и примиряют нас с Бахметьевым. Эти рассказы настолько хороши и разница между ними и остальными настолько велика, что просто трудно приписать их одному и тому же автору. И «Фроська» и «Одна ночь» доказывают, что Бахметьев настоящий писатель, умеющий при желании серьезно работать над темой и способный показать ее вне схемы и трафарета, по-своему.

Фроська, красноармеец-женщина, отставшая от своей части, встречается ночью с таким же заблудившимся белогвардейским офицером. Покорная долго сдерживаемому желанию, она уступает его ласкам. Утром недавние любовники узнают друг друга и это приводит к трагической развязке. Вот вкратце сюжет рассказа. Построен он — в противовес обычной манере сборника — очень умело, отдельные положения чередуются с такой силой, что читательское напряжение не ослабевает до конца. Контраст между ночью и утром еще более обостряет ситуацию. Все это и свобода, с которой Бахметьев показывает психологическую основу действия, придают рассказу законченность и большую художественную убедительность.

Содержание «Одной ночи» пересказывать не станем — да и не перескажешь его, пожалуй. Эта вещь, в числе немногих произведений революционной литературы, на мелочах, с которыми встречаются в своей работе губисполкомцы, показывает и пафос работы «с мелочами» и подлинный, а не лубочный героизм людей, до конца отдавших себя ему. Нетрудно показать героем машиниста, намеренно идущего на крушение, чтобы погубить вражеский эшелон, или «комиссара» в кожаной куртке, с наганом в руке. Показать же комиссара без кавычек, показать рядового провинциального работника, погруженного в неимоверные трудности разверстки, и так показать, чтобы видна была вся тяжесть подобной работы,— эта задача не только трудна, но и достойна настоящего художника. Все персонажи рассказа — опять-таки в противовес обычной манере — показаны без помощи трафарета и штампа. Быть может, поэтому только герои «Одной ночи» и оправдывают замысел всей книги, именно они, а не лубочные герои прочих рассказов, похожи на ту железную траву, которой восхищается автор вместе с одним из своих героев.

— Живуча ты, матушка... Уж и впрямь железная!..

В заключение необходимо отметить, что «Одна ночь» кое в чем имеет сходство с «Неделей» Ю. Либединского. Этим мы меньше всего хотим обвинить Бахметьева в подражании — тем более, что «Одна ночь» превосходит «Неделю» и степенью авторского мастерства, и силой воздействия на читателя.

Теперь подведем итог.

... Конечно, против издания «собраний сочинений» возражать не приходится. Но на опыте рецензируемой книги мы видим, что валить в «собрание» все, написанное данным автором, не следует. Необходима более тщательная работа — и автора и редактора — над отбором произведений.

Борис Губер.

Семен Шпынарь. Коренной. Роман. Рабочее издательство «Прибой». Ленинград 1926 г. Стр. 164.

> На основании этих брюк и дали ему кличку Клеш.
>
> *Из романа С. Шпынаря.*

Чехов некогда назвал молодого Леонида Андреева искусственным соловьем. Для многих современных авторов, увлеченных индустриализмом, такой иронический отзыв звучал бы, пожалуй, похвалой.

Звучал бы он похвалой и для Шпынаря, но Шпынарь не увлечен индустриализмом. Он увлечен подражанием, он охвачен желанием той птицы, которая столь же похожа на соловья, сколь Шпынарь на Андреева. И в качестве оригинала он выбрал себе авторов, очень родственных той птичьей породе, которую природа

наделила даром подражания и передразнивания.

Несколько сот метров крови, несколько холмов человеческих трупов, несколько белогвардейских ослов, заблудшие, но героические крестьяне, которых на праведную стезю советскую выводит «вылитый из железа» рабочий — вот ткань всего романа. Кто же из рыцарей революционно-квасной халтуры не писал по этому рецепту?

Можно бы обойти роман совершенно молчанием, если бы не разудалая развязность и фамильярность, с какой увлекающийся подражанием автор обращается с русским и украинским языком под эгидой рабочего издательства. «Сериозное выражение лица Коренного, готовое для дачи новой команды, под тугим напором радости не выдержало прежнего выражения и покрылось улыбкой». «Эти слезы старика и радость, которые взъерошили и поля и деревню, не могли без осложнения отразиться на Якушке». «Не согласиться с атаманом означало вызвать в нем дерзкий, четкий, как его шаги, голос». «Хымка упорно вставила голубые глаза в атамана». «Ее голубые глаза бессмысленно ходили из стороны в сторону». «Глаза, ощетинившись, ждали боя». «Сединистый рассвет». «А вот неожиданно слова Коренного препятствием легли на пути текущих мыслей».

Граждане, при профсоюзах существуют отделы охраны труда. Нельзя ли при издательствах завести отделы охраны языка? Никому не возбраняется быть попугаем, хотя бы и безыскусственным, но нельзя же до бесчувствия! И почему рабочее издательство должно поощрять попугаев? Уж лучше соловьев, хотя бы и искусственных. Не то —выражаясь стилем Шпынаря — на основании этих брюк... простите, на основании этого романа и дадут издательству кличку Попка. Поди, докажи потом обратное.

С. Пакентрейгер.

«Деревня в современной русской художественной литературе». Составил Н. А. Столляр. Издание «Современные Проблемы». Москва. 1926 г. 279 стр.

Книга Н. А. Столляра еще раз подтверждает старую истину, что правильно поставить задачу — значит наполовину ее решить. В частности эта истина особенно применима ко всяким сборникам и хрестоматиям, оперирующим с готовым литературным материалом. Здесь четкость и удачная постановка — основное достоинство. Задача настоящего сборника кажется мне недостаточно четко и удачно поставленной, и поэтому он далеко не вполне удовлетворяет, несмотря на безусловную ценность наполняющего его художественного материала. О том, что этот материал художественно ценен, говорят имена Горького, Серафимовича, Вересаева, Бабеля, Сейфуллиной, Пильняка и многих других талантливых авторов, которые представлены здесь большей частью отрывками из своих лучших вещей. Сейфуллина — отрывком из «Виринеи», В. Иванов—из «Бронепоезда», Бабель—изумительным по художественной сжатости и выразительности рассказом «Письмо», Серафимович — главою из «Железного потока» и т. д. Сборник, очевидно, не преследует цели быть учебной хрестоматией. Об этом свидетельствует общий его характер. Не преследует он и утилитарных, клубных агитационных целей. Очевидно, что книга представляет собой попытку построения научных, историко-литературных обобщений, и с этой точки зрения к нему и нужно подходить.

С научной точки зрения сборник построен неудовлетворительно. Примитивно самое его чисто хронологическое деление на три отдела: «Февраль и Октябрь в деревне», «Деревня в гражданской войне», «На переломе — Отцы и дети».

Примитивно и ненаучно, так как тут разрывается живая ткань литературной преемственности. Может быть, благодаря этому, составителям пришлось жаловаться на скудость подлинного художественного материала. Они напомнили здесь людей, сжигающих перед собой мосты на пути к цели. Естественным следствием этого ограничения явилось то, что наиболее

характерные в смысле изображения крестьянства вещи старых писателей, представленных в сборнике, должны были и остались за бортом. Так осталась за бортом вещь Ивана Вольнова—«Повесть о днях моей жизни», характерные повести Вересаева, рисующие отношения между интеллигенцией и крестьянством. У того и у другого были взяты совершенно не характерные в смысле изображения крестьянства отрывки из «В тупике» и «Самары», повестей, центр тяжести которых в изображении трагедии интеллигенции.

Поражает, вероятно, по тем же причинам происшедшее отсутствие в сборнике талантливого крестьянского писателя Семенова, убитого в 1922 году.

Жаль также, что составитель ограничил свою задачу прозой и оставил таким образом за пределами сборника плеяду крестьянских поэтов во главе с Есениным.

Вопросы нового быта разработаны в третьей части. Она в общем менее художественно ценна, чем вторая, хотя тоже художественно выдержана. Уродливые формы деревенского нэпа рисует Подъячев в типичном для него антикулацком рассказе «Открытие чайной». О комических проявлениях власти на местах рассказывает Артем Веселый. Ликвидации неграмотности, новому отношению между полами, распре поколений посвящено остальное. Все это — бытовые картины более или менее удачные, но недостаточно углубленные и значительные. Во всяком случае попытку такого обобщения литературы нужно приветствовать.

М. Полякова.

«Сарынь». Литературно-художественный сборник. Самарская ассоциация Пролетписателей «Слово». Самарский Губиздат. 1926 г. Стр. 120.

Сборник во многом носит местный локальный характер. Это не плохо, но плохо, что кое-какие рассказы, как, например, центральная вещь книжки—«Жухлые дни» Ильина, сбивается на местную хронику. Тема «Жухлых дней»—голод и восстание на Волге.

Рассказ бессюжетен, местами схематичен, шаблонен, например: «Одни шли от заводов, фабрик, окраин поступью гулкой, тяжелой, в сердцах — сталь, железо, бетон, одымленные гарью, копотью, а другие—из центров дворцов и палат, изнеженные, пропитанные запахом вин, духов, а на грани, за далью—жизнь».

Таких общих мест в рассказе много. С другой стороны, он излишне перегружен нарочитыми образами: «лишаем сухим к телу прижухнулся городок», тот же город кажется «животным, серым, костистым и вонючим», «барханы похожи на зверей больших, косматых и бурых, барахтающихся в песках сыпучих». Те же барханы напоминают пьяную, простоволосую бабу. Труба молчала, как «простуженная глотка» и т. д.

Зная теоретически, что образ—основа художественного творчества, неопытный автор забывает, что образы должны быть органически необходимы и спаяны с содержанием, а отнюдь не даваться в виде надуманных и ненужных сравнений.

Второй рассказ сборника — «Сыпняк» Чертовой—тоже бессюжетен. Это довольно правдиво написанный эпизод, рисующий переживания тифозного комсомольца в лазарете.

Совершенно неинтересны и не художественны два примитивно-агитационные рассказа: «Смычка» — агитация за сельскохозяйственный коллектив и огнестойкие постройки и «Семена» — эпизод с семссудой. Первый написан наивно, фальшиво и не совсем грамотно; по содержанию напоминает противопожарные брошюры Госстраха. Второй — просто незначителен.

Особняком стоит, выдержанный в духе восточного сказа, написанный плавным языком «Темир-хан, последний князь».

Наиболее фабульные вещи сборника: «Марина Никитина» и «Последыш» Петелина построены на романической фабуле.

«Марина» — повесть о любви пленного австрийца Яна к русской крестьянке, написана гладко, литературно, с юмором, обнаруживает начитанность автора, но не свободна от книжных приемов и литературщины, вплоть до обращения к музе и эпилогических размышлений. Мопровский конец рассказа кажется совершенно искусственно пристегнутым.

«Последыш» — также романическая история, развертывающаяся на фоне гражданской войны. Он несколько мелодраматичен, написан неровно, то как скучноватый лирический сказ, то чрезмерно отрывистым, невыразительным, штампованным языком.

Оставляя чувство неудовлетворенности, отдел прозы позволяет сказать, что если подлинных художников самарская ассоциация в нем не обнаружила, то рядовые беллетристы в ней есть.

Хуже дело обстоит со стихами. Их много, почти все они очень плохи и более приемлемы для редакционной корзины, чем для литературно-художественного сборника, подводящего итоги.

Банальные ритм и рифма, напоминающие то Надсона, то Игоря Северянина; например: «Июльским солнцем олученный, иду по скошенным лугам» или «Ни буйный ветер, ни игривый не оморщинит водоем». Много рифмованных рассуждений, попадаются просто невразумительные фразы.

М. Полякова.

В. Львов-Рогачевский. И. С. Тургенев. ГИЗ. М.—Л. 1926. Стр. 230. Тираж 5.000.

Выпуская в Критико-биографической серии ГИЗ'а целую книжку о Тургеневе, автор снабдил ее ответственным подзаголовком: «Жизнь и творчество» и поставил себе следующие задачи: воспользовавшись последними работами «академических кругов» по изучению творчества Тургенева, популяризировать их, подвергнуть их марксистскому анализу и подвести итоги в области формальных достижений писателя, что необходимо для современных прозаиков, стоящих на распутьи; поняв творчество Тургенева как продукт окружающей среды, определив его отношение к «идеям века», объяснить его развитие со стороны художественной и формальной. «Здесь социологический метод тесно переплетается с биографическим». Однако приходится констатировать, что подзаголовок обещает больше, чем заключается под ним, и что намеченные задачи остались невыполненными. Никаких итогов формальных достижений автор не дает; творчество писателя рассматривает лишь как основную сторону биографии, по существу им вообще не занимается, если не считать небольшой главы «В мастерской художника», где приведены интересные творческие признания, да перечислены современники, «послужившие основой» для его образов; поэтому нет никакого объяснения развития творчества; последние работы, посвященные его изучению, не использованы, о них лишь изредка упоминается мимоходом или в примечаниях, и в оценке их проявляется большая неразборчивость. Книга заключает изложение биографии Тургенева; правда, в ней уделяется много внимания общественно-политическим событиям и явлениям, которые касались писателя и в которых он участвовал, но в этом не заключается никакого социологического, а тем более марксистского, метода. Марксизм есть сложный и неразработанный метод генетического анализа, а не способ изложения, и швыряться им не приходится. Сказать, что Тургенев был дворянином буржуазной складки, или что он написал «Новь», так как заинтересовался хождением молодежи в народ, далеко еще не значит применять марксистский метод. Иначе марксистами пришлось бы считать всех старых историков литературы, начиная с Максимовича и Шевырева. Таково взаимоотношение обещанного и сделанного.

Однако это совсем не мешает книжке быть уместной в Критико-биографической серии и полезной для тех, кому эта серия предназначается: для рабфаков, школ, клубов и широких масс читателей. Если в книжке не использованы результаты исследования творчества Тургенева и не даны их итоги, то в отношении биографических данных это использование и итоги имеются. Изложение жизни писателя ведется последовательно и довольно подробно; обращено много внимания на его литературную работу, даты выхода его произведений и прием, оказанный им печатью и публикой; на связи и взаимоотношения как с журнальным и писательским миром, так и с правительственной цензурой; попутно охарактеризованы основные течения идеологического порядка (западни-

чество, славянофильство, группа «Вестника Европы» и т. д.), очерчены главные события общественно-политического характера. Во всем этом использованы и старые материалы: письма, воспоминания, журнальные заметки того времени, и новые: изд. «Центрархива», «Литературный Музеум», «Русские Пропилеи», книжка Оксмана и т. д. Немало места уделено и подробностям личной жизни — семье, дружбам, встречам, романам — тоже по письмам и воспоминаниям. Отрицательным моментом внешнего характера является некоторое пристрастие к «старой манере» — выражаться фигурально, метафорично, изысканно: например, автор постоянно называет Тургенева Гамлетом, Дон-Жуаном, Фаустом, а иногда эти имена даже изгоняют собственное имя писателя. Это дешевый, ненужный, затрудняющий чтение эффект.

При всех этих недостатках изложение довольно полно, равномерно, содержательно, и книга является недурным вкладом в серию.

Генн. Поспелов.

Франц Боас. Ум первобытного человека. Перевод с английского А. М. Водена. М.—Л. 1926. Стр. 153.

Настоящая работа, принадлежащая перу известного американского этнографа, вышла впервые в 1911 году и, таким образом, появляется в русском переводе с значительным запозданием.

Заглавие, хотя и представляет собой прямой перевод с английского (The mind of primitive man), не вполне отвечает содержанию этой работы, прежде всего потому, что английское «mind» выражает понятие, гораздо более широкое, чем русское «ум», а «primitive» нельзя в данном случае переводить «первобытный». Но и самое содержание работы Боаса отчасти шире, отчасти вообще иначе конструировано, чем это можно ожидать по названию.

Первая глава «Расовые предрассудки» имеет целью опровергнуть распространенный в наше время расового империализма взгляд, причисляющий белую расу к высшему типу человечества, а цивилизованного человека — к существам высшего порядка. Глава «Влияние окружающей среды на человеческие типы» представляет собой имеющий самостоятельное значение небольшой трактат на эту тему. Автор приходит здесь к выводу, что окружающая среда оказывает важное влияние на анатомическое строение и на физиологические функции человека и что, вследствие этого, нужно ожидать различий в типе и в действиях между первобытными и цивилизованными группами одной и той же расы. Следующая глава рассматривает вопрос о влиянии наследственности на человеческие типы. В главе «Умственные черты первобытного и цивилизованного человека» автор приходит к заключению, что хотя умственные способности у цивилизованного и первобытного человека развиты неодинаково, однако эти «различия недостаточны для того, чтоб мы были в праве отводить одним народам низшие ступени, а другим высшие». Глава «Раса и язык» посвящена вопросу о соответствии между языком и культурным комплексом и приводит к заключению, что «язык не дает искомого средства для того, чтоб установить различия в умственном состоянии разных рас». Под заголовком «Универсальность культурных черт» автор обосновывает положение, по которому уровень культуры представляет собой явление, зависящее от исторических причин и не имеющее отношения к расе. Глава «Эволюционная точка зрения» посвящена критике эволюционной теории в ее чистом виде и приводит к выводу, что «предположение однообразного развития культуры у всех различных человеческих рас и во всех племенных единицах верно лишь в ограниченном смысле». Наконец, глава «Некоторые черты первобытной культуры» представляет собой часть работы, собственно говоря, наиболее отвечающую основной ее теме. Автор задается целью, как он выражается, «точнее формулировать различие между формами мышления первобытного и цивилизованного человека независимо от его расового происхождения». Здесь американский ученый дает ряд ценных замечаний, но далеко не полно освещает этот чрезвычайно сложный вопрос.

Мы видим таким образом, что работа Боаса представляет собой попытку подойти к своей теме с различных сторон, при чем нельзя сказать, чтоб автор был достаточно отчетлив и убедителен во всех своих выводах и заключениях.

Тема, трактуемая Ф. Боасом, разделяется в целом на три отдельных вопроса сравнительного исследования цивилизованного и первобытного человека: об анатомических различиях, различиях физиологических и различиях мыслительных, в частности, логических функций. Научная разработка всех этих вопросов продолжается непрерывно, и надо сказать, что даже за те 15 лет, которые прошли со времени появления книги Боаса, и самые темы, и способ их изложения настолько изменились, что книга Боаса оказывается в известной мере устаревшей. Это же следует сказать не только о содержании работы, но и о тех понятиях и терминах, которыми автор оперирует. К тому же, стиль довольно тяжел, и изложение не так отчетливо, как это мы привыкли сейчас требовать от научной работы. Если не говорить о сравнительно узком круге специалистов, книга Боаса вряд ли способна заинтересовать и, в особенности, удовлетворить более или менее широкий круг читателей.

Если даже считать, что работа почтенного американского этнографа и заслуживала перевода, то появляется она, так сказать, не в очередь. Наша читающая публика, к сожалению, еще недостаточно широко знакома с общими вопросами первобытности. Привлеченный заглавием книжки читатель может оказаться разочарованным и утомленным ее содержанием и манерой изложения.

Было бы гораздо более желательно и полезно, чтоб у нас раньше появились в переводе работы, более широко охватывающие, а также более доступно излагающие вопросы первобытности, напр., новейшие работы Гольденвейзера, Гребнера, Леви - Брюля, Лоуи, Солласа, Турнвальда и проч., о которых наш читатель еще, к сожалению, не имеет понятия.

М. Косвен.

ОПЕЧАТКА.

В кино-повести И. Бабеля «Беня Крик» на стр. 31 строка 13 снизу продолжение телеграммы на имя военкома Собкова надо читать так: «Обезоружьте под любым предлогом самовольно организовавшиеся части Бени Крика».

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.
Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

И. Бабель. Беня Крик — кино-повесть 3
А. Чапыгин. Разин Степан — роман 43
Всеволод Иванов. Ночь — рассказ 72
Иван Евдокимов. Колокола — хроника 900-х годов 82
Ал. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина — роман 112

СТИХИ: *Сергея Есенина, Василия Казина, С. Городецкого, Дм. Семеновского, С. Кирсанова, В. Наседкина, Мих. Голодного, Евс. Эркина, Дм. Петровского* 133

Л. И. Аксельрод (Ортодокс). Вопросы искусства 146
В. Ф. Переверзев. Нигилизм Писарева в социологическом освещении . . . 162

За рубежом:

А. Иоффе (В. Крымский). Япония в наши дни 176

От земли и городов:

Леонид Соловьев. Ленин в эпосе народов Востока 188

Литературные края:

Василий Казин и Сергей Клычков. Эпиграммы 202
Вл. Маяковский. Как делать стихи 204
Ив. Розанов. Кюхельбекер - Ленский 212
Валентина Дынник. Из литературы о Есенине 220
Р. Куллэ. Художественная проза современной Германии 225

Критика и библиография:

Рецензии: *Петра Орешина, С. Обрадовича, Д. Горбова, Б. Губера, С. Пакентрейгера, М. Поляковой, Генн. Поспелова, М. Косвена* 232

Объявления.